М. ГОРЬКИЙ

Валя,
поздравляю тебя
с Новым 1955 годом!
Каждый раз, когда возьмёшь
в руки эту книгу, вспомни
10 „А" и последний год нашей учёбы.
[illegible]

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

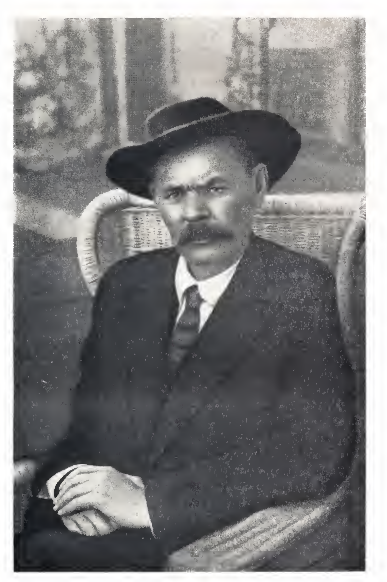
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1951

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ 15

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА ВОСПОМИНАНИЯ

1921 — 1924



А. М. ГОРЬКИЙ
Петроград. 1921 г.

«ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО»

...Вышел я из Царицына в мае, на заре ветреного, тусклого дня, рассчитывая быть в Нижнем к сентябрю.

Часть пути, по ночам, ехал с кондукторами товарных на площадках тормозных вагонов, большую часть шагал пешком, зарабатывая на хлеб по станицам, деревням, по монастырям. Гулял в Донской области, в Тамбовской и Рязанской губерниях, из Рязани, по Оке, свернул на Москву, зашел в Хамовники к Л. Н. Толстому. София Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг, она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу шляется очень много «темных бездельников» и что Россия вообще изобилует бездельниками. Я уже сам видел это и, не кривя душою, вежливо признал наблюдение умной женщины совершенно правильным.

Был конец сентября, землю щедро кропили осенние дожди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, леса были ярко раскрашены; очень красивое время года, но несколько неудобное для путешествия пешком, а особенно — в худых сапогах.

На станции Москва-товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон, в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний, на бойню. Пятеро из них вели

себя вполне солидно, но остальным я почему-то не понравился, и они всю дорогу старались причинять мне различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

А проводник, человечишка на кривых ногах, маленький, пьяный, с обкусанными усами, возложил на меня обязанность кормить спутников моих; на остановках он совал в дверь вагона охапки сена, приказывая мне:

— Угощай!

Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов более грубых, чем эти.

В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах «Песнь старого дуба».

Я никогда не болел самонадеянностью, да еще в то время чувствовал себя малограмотным, но я искренно верил, что мною написана замечательная вещь: я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой, нелегкой жизни. И был убежден, что грамотное человечество, прочитав мою поэму, благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого взыграет честная, чистая, веселая жизнь, — кроме и больше этого я ничего не желал.

В Нижнем жил Н. Е. Каронин; я изредка заходил к нему, но не решался показать мой философический труд. Больной Николай Ельпидифорович вызывал у меня острое чувство сострадания, и я всем существом моим ощущал, что этот человек мучительно, упорно задумался над чем-то.

— Может быть и так, — говорил он, выдувая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы, снова глубоко вдыхал дым и, усмехаясь, оканчивал:

— А может быть и не так...

Речи его вызывали у меня тягостное недоумение, мне казалось, что этот полузамученный человек имел право и должен был говорить как-то иначе, более определенно. Все это — и моя сердечная симпатия к нему — внушали мне некую осторожность в отношении к Петропавловскому, как будто я опасался что-то задеть в нем, сделать ему больно.

Я видел его в Казани, где он остановился на несколько дней, возвращаясь из ссылки. Он вызвал у меня памятное впечатление человека, который всю свою жизнь попадал не туда, куда ему хотелось.

— В сущности, напрасно я сюда приехал!

Эти слова встретили меня, когда я вошел в сумрачную комнату одноэтажного флигеля на грязном дворе трактира ломовых извозчиков. Среди комнаты стоял высокий, сутулый человек, задумчиво глядя на циферблат больших карманных часов. В пальцах другой руки густо дымилась папироса. Потом он начал шагать длинными ногами из угла в угол, кратко отвечая на вопросы хозяина квартиры С. Г. Сомова.

Его близорукие, детски ясные глаза смотрели утомленно и озабоченно. На скулах и подбородке — светлые шерстинки разной длины; на угловатом черепе — прямые, давно не мытые волосы дьякона. Засунув левую руку в карман измятых брюк, он звенел там медью, а в правой руке держал папиросу, помахивая ею, как дирижер палочкою. Дышал дымом. Сухо покашливал и все смотрел на часы, уныло причмокивая. Движения плохо слаженного костлявого тела показывали, что человек этот мучительно устал. Постепенно в комнату влезло десятка полтора мрачных гимназистов, студентов, булочник и стекольщик.

Каронин приглушенным голосом чахоточного рассказывал о жизни в ссылке, о настроении политических ссыльных. Говорил он ни на кого не глядя, словно беседуя с самим собою, часто делал короткие паузы и, сидя на подоконнике, беспомощно оглядывался. Над головою его была открыта форточка, в комнату врывался холодный воздух, насыщенный запахом навоза и лошадиной мочи. Волосы на голове Каронина шевелились, он приглаживал их длинными пальцами сухой костистой руки и отвечал на вопросы:

— Допустимо, но я не уверен, что это именно так! Не знаю. Не умею сказать.

Каронин не понравился юношам. Они уже привыкли слушать людей, которые все знали и все умели сказать. И осторожность его повести вызвала у них ироническую оценку:

— Пуганая ворона.

Но товарищу моему, стекольщику Анатолию, показалось, что честную вдумчивость взгляда детских глаз Каронина и его частое «не знаю» можно объяснить иной боязнью: человек, знающий жизнь, боится ввести в заблуждение мрачных кутят, сказав им больше, чем может искренно сказать. Люди непосредственного опыта, я и Анатолий, отнеслись к людям книг несколько недоверчиво; мы хорошо знали гимназистов и видели, что в этот час они притворяются серьезными больше, чем всегда.

Около полуночи Каронин вдруг замолчал, вышел на середину комнаты и, стоя в облаке дыма, крепко погладил лицо свое ладонями рук, точно умываясь невидимой водой. Потом вытащил часы откуда-то из-за пояса, поднес их к носу и торопливо сказал:

— Так — вот. Я должен идти. У меня дочь больна. Очень. Прощайте!

Крепко пожав горячими пальцами протянутые ему руки, он, покачиваясь, ушел, а мы начали «междоусобную брань» — обязательное и неизбежное последствие всех таких бесед.

В Нижнем Каронин трепетно наблюдал за толстовским движением среди интеллигенции, помогал устраивать колонию в Симбирской губернии; быструю гибель этой затеи он описал в рассказе «Борская колония».

— Попробуйте и вы «сесть на землю», — советовал он мне. — Может быть, это подойдет вам?

Но — убийственные опыты любителей самоистязания не привлекали меня, к тому же в Москве я видел одного из главных основоположников «толстовства» М. Новоселова, организатора тверской и смоленской артелей, а затем — сотрудника «Православного обозрения» и яростного врага Л. Н. Толстого.

Это был человек большого роста, видимо, значительной физической силы, он явно рисовался крайней упрощенностью, даже грубостью мысли и поведения, за этой грубостью я почувствовал плохо скрытую злость честолюбца. Он резко отрицал «культуру»; это мне очень не понравилось; культура — та область, куда я подвигался с великим трудом, сквозь множество препятствий.

Я встретил его в квартире нечаевца Орлова, переводчика Леопарди и Флобера, одного из организаторов прекрасного издания «Пантеон литературы»; умный, широко образованный старик целый вечер сокрушительно высмеивал «толстовство», которым я в ту пору несколько увлекался, видя в нем однако не что иное, как только возможность для меня временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое мною.

...Я знал, конечно, что в Нижнем живет В. Г. Короленко, читал его «Сон Макара»; рассказ этот почему-то не понравился мне.

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел по улице, сказал, скосив глаза в сторону:

— Короленко!

По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто, из-под мокрого зонтика я видел курчавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских прасолов, а у меня были солидные основания относиться враждебно к людям этого племени, и я не ощутил желания познакомиться с Короленко. Не возникло это желание и после совета, данного мне жандармским генералом, — одна из забавных шуток странной русской жизни.

Меня арестовали и посадили в одну из четырех башен нижегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, окованной железом. Надпись гласила:

Все живое — из клетки.

Я долго соображал, что хотел сказать человек этими словами? И, не зная, что это аксиома биологии, решил принять ее как изречение юмориста.

Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому, и вот он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобранным у меня, говорит, всхрапывая:

— Вы тут пишете стихи и вообще... Ну, и пишите! Хорошие стихи — приятно читать...

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет «хорошие» относится именно к моим стихам. Но в то время далеко

не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах.

И. И. Сведенцов, литератор, гвардейский офицер, бывший ссыльный, прекрасно рассказывал о народовольцах, особенно восторженно о Вере Фигнер, печатал мрачные повести в «толстых» журналах, но, когда я прочитал ему стихи Фофанова:

Что ты сказала мне — я не расслышал,
Только сказала ты нежное что-то...

он сердито зафыркал:

— Болтовня! Она, может быть, спросила его: который час? А он, дубина, обрадовался...

Генерал — грузный, в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Его опухшее лицо, в седых волосах, густо расписано багровыми жилками, мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало. Он показался мне заброшенным, жалким, но симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять.

Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму, пережитую этим генералом, знал, что дочь его — талантливая пианистка, а сам он — морфинист. Он был организатором и председателем «Технического общества» в Нижнем, оспаривал на заседаниях этого общества значение кустарных промыслов и — открыл на главной улице города магазин для продажи кустарных изделий губернии; он посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы.

Все вокруг генерала было неряшливо: на кожаном диване, за спиною его, валялось измятое постельное белье, из-под дивана выглядывал грязный сапог и кусок алебастра весом пуда в два. На косяках окон, в клетках, прыгали чижи, щеглята, снегири, большой стол в углу кабинета загроможден физическими аппаратами, предо мной на столе лежала толстая книга на французском языке «Теория электричества» и томик Сеченова «Рефлексы головного мозга».

Старик непрерывно курил коротенькие толстые папиросы, и обильный дым их неприятно тревожил

меня, внушая смешную мысль, что табак напитан морфием.

— Какой вы революционер? — брюзгливо говорил он. — Вы — не еврей, не поляк. Вот — вы пишете, ну, что же? Вот когда я выпущу вас — покажите ваши рукописи Короленко, — знакомы с ним? Нет? Это — серьезный писатель, не хуже Тургенева...

От генерала истекал какой-то тяжелый, душный запах. Говорить ему не хотелось, он вытягивал слово за словом лениво, с напряжением. Было скучно. Я рассматривал небольшую витрину рядом со столом, в ней были разложены рядами металлические кружки.

Генерал, заметив мои косые взгляды, тяжело приподнялся, спросил:

— Интересно?

Подвинул кресло свое к витрине, и, открыв ее, он заговорил:

— Это — медали в память исторических событий и лиц. Вот — взятие Бастилии, а это — в память победы Нельсона под Абукиром, — историю Франции знаете? Это — объединение швейцарских союзов, а это знаменитый Гальвани — смотрите, как прекрасно сделано. Это — Кювье, — значительно хуже!

На его багровом носу дрожало пенснэ, влажные глаза оживились, он брал медали толстыми пальцами так осторожно, как будто это была не бронза, а стекло.

— Прекрасное искусство! — ворчал он и, смешно оттопыривая губы, сдувал пыль с медалей.

Я искренно восхищался красотой кружочков металла и видел, что старик нежно любит их.

Закрыв — со вздохом — витрину, он спросил меня, люблю ли я певчих птиц. Ну, в этой области я знал, вероятно, больше, чем три генерала. И между нами завязалась оживленнейшая беседа о птицах.

Старик уже вызвал жандарма, чтобы отправить меня в тюрьму, у косяка двери вытянулся солидный вахмистр, а его начальник все еще говорил, сожалительно чмокая:

— Вот, знаете, не могу достать щура! Замечательная птица! И — вообще — птицы прекрасный народ, правда? Ну, отправляйтесь с богом... Да, — вспомнил он, — вам учиться надо, ну, там — писать, а не это...

Через несколько дней я снова сидел перед генералом, он сердито бормотал:

— Конечно, вы знали, куда уехал Сомов, и надо было сказать это мне, я бы сразу выпустил вас. И — не надо было издеваться над офицером, который делал обыск у вас... И — вообще...

Но вдруг, наклоняясь ко мне, он добродушно спросил:

— А теперь вы не ловите птиц?

...Лет через десять после забавного знакомства с генералом я, арестованный, сидел в нижегородском жандармском управлении, ожидая допроса. Ко мне подошел молодой адъютант и спросил:

— Вы помните генерала Познанского? — Это мой отец. Он умер, в Томске. Он очень интересовался вашей судьбой, следил за вашими успехами в литературе и нередко говорил, что он первый почувствовал ваш талант. Незадолго до смерти он просил меня передать вам медали, которые нравились вам, — конечно, если вы пожелаете взять их...

Я был искренно тронут. Выйдя из тюрьмы, взял медали и отдал их в нижегородский музей.

...В солдаты меня не взяли; толстый, веселый доктор, несколько похожий на мясника, распоряжаясь, точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев меня:

— Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом — расширена вена на ноге. Не годен!

Это крайне огорчило меня.

Незадолго до призыва я познакомился с офицером-топографом — Пасхиным или Пасхаловым, не помню.

Участник боя под Кушкой, он интересно рисовал жизнь на границе Афганистана и весною должен был отправиться на Памир работать по определению границ России. Высокий, жилистый, нервозный, он очень искусно писал маслом маленькие, забавные картинки военного быта в духе Федотова. Я чувствовал в нем что-то неслаженное, противоречивое, то, что именуют «ненормальным». Он уговаривал меня:

— Поступайте в топографическую команду, я возьму вас на Памиры! Вы увидите самое прекрасное на земле — пустыню! Горы — это хаос, пустыня — гармония!

И, прищурив большие, серые, странно блуждающие глаза, понижая до шопота мягкий, ласкающий голос, он таинственно жужжал о красоте пустыни, а я слушал, и меня, до немоты, изумляло: как можно столь обаятельно говорить о пустоте, о бескрайных песках, непоколебимом молчании, о зное и мучениях жажды?

— Ничего не значит, — сказал он, узнав, что меня не взяли в солдаты. — Пишите заявление, что желаете поступить добровольцем в команду топографов и обязуетесь сдать требуемые экзамены, — я вам все устрою!

Заявление написано, подано; с трепетом жду результата. Через несколько дней Пасхалов смущенно сказал мне:

— Оказывается — вы политически неблагонадежны, тут ничего нельзя сделать!

И, опустив глаза, он тихо добавил:

— Жаль, что вы скрыли от меня это обстоятельство.

Я сказал, что для меня это «обстоятельство» тоже новость, но он, кажется, не поверил мне. Скоро он уехал из города, а на святках я прочитал в московской газете, что этот человек зарезался бритвой в бане.

...Жизнь моя шла путанно и трудно. Я работал в складе пива, перекатывал в сыром подвале бочки с места на место, мыл и купорил бутылки. Это занимало весь мой день. Поступил в контору водочного завода, но в первый же день службы на меня бросилась борзая собака жены управляющего завода, — я убил собаку ударом кулака по длинному черепу, и меня тотчас прогнали.

Однажды, в тяжелый день, я решил, наконец, показать мою поэму В. Г. Короленко. Трое суток играла снежная буря, улицы были загромождены сугробами, крыши домов — в пышных шапках снега, скворешни — в серебряных чепчиках, стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя, жгуче холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушниками,

в коротком, по колени, плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.

— Вам кого?

— Короленко.

— Это я.

Из густой курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие, хорошие глаза. Я не узнал его; встретив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он молча выслушал мои объяснения причин визита, потом прищурился, вспоминая.

— Знакомая фамилия. Это не о вас ли писал мне, года два тому назад, некто Ромась, Михайло Антонов? Так!

Входя на лестницу, он спросил:

— Не холодно вам? Очень легко одеты.

И — негромко, как будто беседуя сам с собою:

— Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь?

В маленькой угловой комнатке, окнами в сад, тесно заставленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелистывая мою толстую рукопись, говорил:

— Почитаем! Странный у вас почерк, с виду — простой, четкий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у него, он искоса поглядывал на ее страницы, на меня — мне было неловко.

— Тут у вас написано — «зизгаг», это... очевидно, описка, такого слова нет, есть — зигзаг...

Маленькая пауза перед словом «описка» дала мне понять, что В. Г. Короленко — человек, умеющий щадить самолюбие ближнего.

— Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взорвать его, а потом подожгли, — да?

Он говорил и перелистывал рукопись.

— Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли.

Это он говорил между прочим, все расспрашивая о Ромасе, о деревне.

— Какое суровое лицо у вас! — неожиданно сказал он и, улыбаясь, спросил: — Трудно живется?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубовато окающего волжского говора, но я видел в нем странное сходство с волжским лоцманом, — оно было не только в его плотной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз, но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь как движение по извилистому руслу реки среди скрытых мелей и камней.

— Вы часто допускаете грубые слова, — должно быть потому, что они кажутся вам сильными? Это — бывает.

Я сказал, что — знаю: грубость свойственна мне, но у меня не было ни времени обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где бы я мог сделать это.

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

— Вы пишете: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. Раз это так»... Раз — так, — не годится! Это — неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак, — вы слышите?

Я впервые слышал все это и хорошо чувствовал правду его замечаний.

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

— Место мало подходящее для такой позы, и она не столько величественна, как неприлична, — сказал Короленко, улыбаясь.

Вот он нашел еще «описку», еще и еще. Я был раздавлен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскаленный уголь. Заметив мое состояние, Короленко, смеясь, рассказал мне о каких-то ошибках Глеба Успенского, это было великодушно, а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного — бежать от срама. Известно, что литераторы и актеры самолюбивы, как пуделя.

Я ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем не похож на расшатанного и сердечно милого Каронина, не говоря о смешном Старостине. В нем нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, который говорил мне:

— Рассказ должен ударить читателя по душе, как палкой, чтобы читатель чувствовал, какой он скот!

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Короленко первый сказал мне веские человечьи слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство — не легкое дело. Я сидел у него более двух часов, он много сказал мне, но — ни одного слова о сущности, о содержании моей поэмы. И я уже чувствовал, что ничего хорошего не услышу о ней.

Недели через две рыженький статистик Н. И. Дрягин, милый и умный, принес мне рукопись и сообщил:

— Короленко думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что у вас есть способности, но надо писать с натуры, не философствуя. Потом — у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но — это хорошо! А о стихах он сказал — это бред!

На обложке рукописи, карандашом, острым почерком написано:

«По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. Вл. Кор.».

О содержании рукописи — ни слова. Что же читал в ней этот странный человек?

Из рукописи вылетели два листка стихов. Одно стихотворение было озаглавлено «Голос из горы идущему вверх», другое «Беседа Чорта с колесом». Не помню, о чем именно беседовали чорт и колесо, — кажется, о «круговращении» жизни, — не помню, что именно говорил «голос из горы». Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь-голландку и, сидя на полу, размышлял: что значит писать о «пережитом»?

Все, написанное в поэме, я пережил...

И — стихи! Они случайно попали в рукопись. Они были маленькой тайной моей, я никому не показывал их, да и сам плохо понимал. Среди моих знакомых кожаные переводы Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т. Гуда и подобных поэтов ценились выше Пушкина, не говоря уже о мелодиях Фофанова. Королем поэзии считался Некрасов, молодежь восхищалась Надсоном, но зрелые люди и Надсона принимали — в лучшем случае — только снисходительно.

Меня считали серьезным человеком солидные люди, которых я искренно уважал, дважды в неделю беседовали со мною о значении кустарных промыслов, о «запросах народа и обязанностях интеллигенции», о гнилой заразе капитализма, который никогда — никогда! — не проникнет в мужицкую, социалистическую Русь.

И — вот, все теперь узнают, что я пишу какие-то бредовые стихи! Стало жалко людей, которые принуждены будут изменить свое доброе и серьезное отношение ко мне.

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и действительно все время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал. А иногда очень хотелось.

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню.

...В. Г. Короленко стоял в стороне от группы интеллигентов-«радикалов», среди которых я чувствовал себя, как чиж в семье мудрых воронов.

Писателем наиболее любезным для этой среды был Н. Н. Златовратский, — о нем говорили: «Златовратский очищает душу и возвышает ее».

А один из наставников молодежи рекомендовал этого писателя так:

— Читайте Златовратского, я его лично знаю, это честный человек!

Глеба Успенского читали внимательно, хотя он подозревался в скептицизме, недопустимом по отношению к деревне. Читали Каронина, Мачтета, Засодимского, присматривались к Потапенко:

— Этот, кажется, ничего...

В почете был Мамин-Сибиряк, но говорили, что у него «неопределенная тенденция».

Тургенев, Достоевский, Л. Толстой были где-то далеко за пределами внимания. Религиозная проповедь Л. Н. Толстого оценивалась так:

— Дурит барин!

Короленко смущал моих знакомых; он был в ссылке, написал «Сон Макара» — это, разумеется, очень выдвигало его. Но — в рассказах Короленко было нечто подозрительное, непривычное чувству и уму людей, плененных чтением житийной литературы о деревне и мужике.

— От ума пишет, — говорили о нем, — от ума, а народ можно понять только душой.

Особенно возмутил прекрасный рассказ «Ночью», в нем заметили уклон автора в сторону «метафизики», а это было преступно. Даже кто-то из кружка В. Г. — кажется А. И. Богданович — написал довольно злую и остроумную пародию на этот рассказ.

— Ч-чепуха! — немножко заикаясь, говорил С. Г. Сомов, человек не совсем нормальный, но однако довольно влиятельный среди молодежи. — Оп-писание физиологического акта рождения — дело специальной литер-ратуры, и тараканы тут ни при чем! Он п-подражает Толстому, этот К-короленко.

Но имя Короленко уже звучало во всех кружках города. Он становился центральной фигурой культурной жизни и, как магнит, притягивал к себе внимание, симпатии и вражду людей.

— Ищет популярности, — говорили люди, не способные сказать ничего иного.

В то время было открыто серьезное воровство в местном дворянском банке; эта весьма обычная история имела весьма драматические последствия: главный виновник, провинциальный «лев и пожиратель сердец», умер в тюрьме, его жена отравилась соляной кислотой, растворив в ней медь; тотчас после похорон на ее могиле застрелился человек, любивший ее, один за другим умерли еще двое привлеченных к следствию по делу банка, — был слух, что оба они тоже кончили самоубийством.

В. Г. печатал в «Волжском вестнике» статьи о делах банка, и его статьи совпали во времени с этими драмами.

Чувствительные люди стали говорить, что Короленко «убивает людей корреспонденциями», а мой патрон А. И. Ланин горячо доказывал, что «в мире нет явлений, которые чужды художнику».

Известно, что клевета всего проще, поэтому люди, нищие духом, довольно щедро награждали Короленко разнообразной клеветой.

В эти застойные годы жизнь кружилась медленно, восходя по невидимой спирали к неведомой цели своей, и все заметнее становилась в этом кружении коренастая фигура человека, похожего на лоцмана. В суде слушается дело скопцов, — В. Г. сидит среди публики, зарисовывая в книжку полумертвые лица изуверов, его видишь в зале земского собрания, за крестным ходом, всюду; нет ни одного заметного события, которое не привлекало бы спокойного внимания Короленко.

Около него крепко сплотилась значительная группа разнообразно недюжинных людей: Н. Ф. Анненский, человек острого и живого ума; С. Я. Елпатьевский, врач и беллетрист, обладатель неисчерпаемого сокровища любви к людям, добродушный и веселый; Ангел И. Богданович, вдумчивый и едкий; «барин от революции» А. И. Иванчин-Писарев; А. А. Савельев, председатель земской управы; Аполлон Карелин, автор самой краткой и красноречивой прокламации из всех мне известных; после 1 марта 81 года он расклеил по заборам Нижнего бумажку, содержавшую всего два слова: «Требуйте конституцию».

Кружок Короленко шутливо наименовался «Обществом трезвых философов»; иногда члены кружка читали интересные рефераты; я помню блестящий реферат Карелина о Сен-Жюсте и Елпатьевского о «новой поэзии», — таковой, в то время, считалась поэзия Фофанова, Фруга, Коринфского, Медведского, Минского, Мережковского. К «трезвым» философам примыкали земские статистики Н. И. Дрягин, Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт и еще несколько таких же серьезных исследователей русской деревни; каждый из них оставил глубокий след в деле изучения путаной жизни крестьянства. И каждый являлся центром небольшого кружка людей, которых эта таинственная жизнь глубоко интересовала, у каждого можно было кое-чему научиться. Лично для

меня было очень полезно серьезное, лишенное всяческих прикрас, отношение к деревне. Таким образом влияние кружка Короленко распространялось очень широко, проникая даже в среду, почти недоступную культурным влияниям.

У меня был приятель, дворник крупного каспийского рыбопромышленника Маркова, Пимен Власьев, — обыкновенный, наскоро и незатейливо построенный, курносый русский мужик. Однажды, рассказывая мне о каких-то незаконных намерениях своего хозяина, он, таинственно понизив голос, сообщил:

— Он бы это дело сварганил, да — Короленки боится! Тут, знаешь, прислали из Петербурга тайного человека, Короленкой зовется, иностранному королю племяш, за границей наняли, чтобы он, значит, присматривал за делами, — на губернатора-то не надеются. Короленка этот уж подсек дворян — слыхал? *

Пимен был человек безграмотный и великий мечтатель; он обладал какой-то необыкновенно радостной верой в бога и уверенно ожидал в близком будущем конца «всякой лже».

— Ты, мил друг, не тоскуй, скоро лже конец. Она сама себя топит, сама себя ест!

Когда он говорил это, его мутновато-серые глаза, странно синея, горели и сияли великой радостью, казалось, что вот сейчас расплавятся они, изольются потоками синих лучей.

Как-то в субботу помылись мы с ним в бане и пошли в трактир пить чай. Вдруг Пимен, глядя на меня милыми глазами, говорит:

— Постой-ка?

Рука его, державшая блюдечко чая, задрожала, он поставил блюдечко на стол и, к чему-то прислушиваясь, перекрестился.

---

* Литератор С. Елеонский утверждал в печати, что легенда о В. Г. Короленко, как «аглицком королевиче», суть «интеллигентная легенда». В свое время я писал ему, что он не прав в этом; легенда возникла в Нижнем-Новгороде, создателем ее я считаю Пимена Власьева. Легенда эта была очень распространена в нижегородском краю. В 1903 году я слышал ее во Владикавказе от балахнинского плотника.

— Что ты, Пимен?

— А видишь, мил друг, — сей минут божья думка душе моей коснулась, — скоро, значит, господь позовет меня на его работу...

— Полно-ка, ты такой здоровяга!

— Молчок! — сказал он важно и радостно. — Не говори — знаю!

В четверг его убила лошадь.

...Не преувеличивая, можно сказать, что десятилетие 86—96 было для Нижнего «эпохой Короленко»; впрочем, это уже не однажды сказано в печати.

Один из оригиналов города, водочный заводчик А. А. Зарубин, «неосторожный» банкрот, а в конце дней — убежденный толстовец и проповедник трезвости, говорил мне в 1901 году:

— Еще во время Короленки догадался я, что неладно живу...

Он несколько опоздал наладить свою жизнь: «во время Короленки» ему было уже за пятьдесят лет, но все-таки он перестроил или, вернее, разрушил ее сразу, по-русски.

— Хворал я, лежу, — рассказывал он мне, — приходит племянник Семен, тот — знаешь? — в ссылке который, он тогда студент был. «Желаете, — говорит, — книжку почитаю?» И вот, братец ты мой, прочитал он «Сон Макаров», я даже заплакал, до того хорошо! Ведь как человек человека пожалеть может! С этого часа и повернуло меня. Позвал кума, приятеля, вот, говорю, сукин ты сын, — прочитай-ко! Тот прочитал, — богохульство, говорит. Рассердился я, сказал ему, подлецу, всю правду, разругались навсегда. А у него векселя мои были, и начал он меня подсиживать, ну, мне уж все равно, дела я свои забросил, душа отказалась от них. Объявили меня банкротом, почти три года в остроге сидел. Сижу, думаю: будет дурить! Выпустили из острога, я, сейчас, к нему, Короленке, — учи! А его в городе нету. Ну, я ко Льву нашему, к Толстому. «Вот как», — говорю. «Очень хорошо, — говорит, — вполне правильно!» Так-то, брат! А Горинов откуда ума достал? Тоже у Короленки; и

много других знаю, которые его душой жили. Хоть мы, купечество, и за высокими заборами живем, а и до нас правда доходит!

Я высоко ценю рассказы такого рода, они объясняют, какими иногда путями проникает дух культуры в быт и нравы диких племен.

Зарубин был седобородый, грузный старик, с маленькими, мутными глазами на пухлом розовом лице; зрачки — темные и казались странно выпуклыми, точно бусины. Было что-то упрямое в его глазах. Он создал себе репутацию «защитника законности» копейкой; с какого-то обывателя полиция неправильно взыскала копейку, Зарубин обжаловал действие полиции; в двух судебных инстанциях жалобу признали «неосновательной», тогда старик поехал в Петербург, в сенат, добился указа о запрещении взимать с обывателей копейку, торжествуя, возвратился в Нижний и принес указ в редакцию «Нижегородского листка», предлагая опубликовать. Но по распоряжению губернатора цензор вычеркнул указ из гранок. Зарубин отправился к губернатору и спросил его:

— Ты, — он всем говорил «ты», — ты что же, друг, законы не признаешь?

Указ напечатали.

Он ходил по улицам города в длинной черной поддевке, в нелепой шляпе на серебряных волосах и в кожаных сапогах с бархатными голенищами. Таскал под мышкой толстый портфель с уставом «Общества трезвости», с массой обывательских жалоб и прошений, уговаривал извозчиков не ругаться математическими словами, вмешивался во все уличные скандалы, особенно наблюдал за поведением городовых и называл свою деятельность «преследованием правды».

Приехал в Нижний знаменитый тогда священник Иоанн Кронштадтский; у Архиерейской церкви собралась огромная толпа почитателей отца Иоанна, — Зарубин подошел и спросил:

— Что случилось?

— Ивана Кронштадтского ждут.

— Артиста императорских церквей? Дураки...

Его не обидели; какой-то верующий мещанин взял его за рукав, отвел в сторону и внушительно попросил:

— Уйди скорее, Христа ради, Александр Александрович!

Мелкие обыватели относились к нему с почтительным любопытством, и хотя некоторые называли «фокусником», но — большинство, считая старика своим защитником, ожидало от него каких-то чудес, все равно каких, только бы неприятных городским властям.

В 1901 году меня посадили в тюрьму. Зарубин, тогда еще не знакомый со мною, пришел к прокурору Утину и потребовал свидания.

— Вы — родственник арестованного? — спросил прокурор.

— И не видал никогда, не знаю — каков!

— Вы не имеете права на свидание.

— А — ты евангелие читал? Там что сказано? Как же это, любезный, людьми вы правите, а евангелие не знаете?

Но у прокурора было свое евангелие и, опираясь на него, он отказал старику в его странной просьбе.

Разумеется, Зарубин был одним из тех — нередких — русских людей, которые, пройдя путаную жизнь, под конец ее, когда терять уже нечего, становятся «праволюбами», являясь, в сущности, только чудаками.

И, конечно, гораздо значительнее по смыслу — да и по результатам — слова другого нижегородского купца Н. А. Бугрова. Миллионер, филантроп, старообрядец и очень умный человек, он играл в Нижнем роль удельного князя. Однажды в лирическую минуту пожаловался:

— Не умен, не силен, не догадлив народ — мы, купечество! Еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся, земщики эти ваши, земцы, Короленки — пастыри! Короленко — особо неприятный господин; с виду — простец, а везде его знают, везде проникает...

Этот отзыв я слышал уже весною 93 года, возвратясь в Нижний после длительной прогулки по России и Кавказу. За это время — почти три года — значение В. Г. Короленко как общественного деятеля и художника еще более возросло. Его участие в борьбе с голодом, стойкая и успешная оппозиция взбалмошному губернатору Баранову, «влияние на деятельность земства» — все

это было широко известно. Кажется, уже вышла его книга «Голодный год».

Помню суждение о Короленко одного нижегородца, очень оригинального человека:

— Этот губернский предводитель оппозиции властям в культурной стране организовал бы что-нибудь подобное «Армии спасения» или «Красного креста», — вообще нечто значительное, международное и культурное в истинном смысле этого понятия. А в милейших условиях русской жизни он наверняка израсходует свою энергию по мелочам. Жаль, это очень ценный подарок судьбы нам, нищим. Оригинальнейшая, совершенно новая фигура, в прошлом нашем я не вижу подобной, точнее — равной!

— А что вы думаете о его литературном таланте?

— Думаю, что он не уверен в его силе, и — напрасно! Он — типичный реформатор по всем качествам ума и чувства, но, кажется, это и мешает ему правильно оценить себя как художника, хотя именно его качества реформатора должны были — в соединении с талантом — дать ему больше уверенности и смелости в самооценке. Я боюсь, что он сочтет себя литератором «между прочим», а не «прежде всего»...

Это говорил один из героев романа Боборыкина «На ущербе» — человек распутный, пьяный, прекрасно образованный и очень умный. Мизантроп, он совершенно не умел говорить о людях хорошо или даже только снисходительно — тем ценнее было для меня его мнение о Короленко.

Но возвращаюсь к 89—90 годам.

Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, ибо — как уже сказано — решительно отказался от попыток писать. Встречал я его только изредка мельком на улицах или в собраниях у знакомых, где он держался молчаливо, спокойно прислушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. Подо мною все колебалось, вокруг меня — я хорошо видел это — начиналось некоторое брожение. Все волновались, спорили, — на чем же стоит этот человек? Но я не решался подойти к нему и спросить:

«Почему вы спокойны?»

У моих знакомых явились новые книги: толстые тома Редкина, еще более толстая «История социальных си-

стем» Щеглова, «Капитал», книга Лохвицкого о конституциях, литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича.

Часть молодежи увлекалась железной логикой Маркса, большинство ее жадно читало роман Бурже «Ученик», Сенкевича «Без догмата», повесть Дедлова «Сашенька» и рассказы о «новых людях», — новым в этих людях было резко выраженное устремление к индивидуализму. Эта новенькая тенденция очень нравилась, и юношество стремительно вносило ее в практику жизни, высмеивая и жарко критикуя «обязанности интеллигенции» решать вопросы социального бытия.

Некоторые из новорожденных индивидуалистов находили опору для себя в детерминизме системы Маркса.

Ярославский семинарист А. Ф. Троицкий — впоследствии врач во Франции, в Орлеане — человек красноречивый, страстный спорщик, говорил:

— Историческая необходимость такая же мистика, как и учение церкви о предопределении, такая же угнетающая чепуха, как народная вера в судьбу. Материализм — банкротство разума, который не может обнять всего разнообразия явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее простой причине. Природе чуждо и враждебно упрощение, закон ее развития — от простого к сложному и сложнейшему. Потребность упрощать — наша детская болезнь, она свидетельствует только о том, что разум пока еще бессилен, не может гармонизировать всю сумму, весь хаос явлений.

Некоторые с удовольствием опирались на догматику эгоизма А. Смита, она вполне удовлетворяла их, и они становились «материалистами» в обыденном, вульгарном смысле понятия. Большинство их рассуждало приблизительно так просто:

— Если существует историческая необходимость, ведущая силою своей человечество по пути прогресса, — значит, дело обойдется и без нас!

И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали. Присутствуя на словесных битвах в качестве зрителей, они наблюдали, как вороны, сидя на заборе, наблюдают яростный бой петухов. Порою — и все чаще — молодежь грубовато высмеивала «хранителей заветов

героической эпохи». Мои симпатии были на стороне именно этих «хранителей», людей чудаковатых, но удивительно чистых. Они казались мне почти святыми в увлечении «народом» — объектом их любви, забот и подвигов. В них я видел нечто героикомическое, но меня увлекал их романтизм, точнее — социальный идеализм. Я видел, что они раскрашивают «народ» слишком нежными красками, я знал, что «народа», о котором они говорят, — нет на земле; на ней терпеливо живет близоруко хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов; живет тупой, жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает на земле волосатый, крепкий купец, неторопливо налаживая сытую, законно-зверячью жизнь.

В хаосе мнений противоречивых и все более остро враждебных, следя за борьбою чувства с разумом, в этих битвах, из которых истина, казалось мне, должна была стремглав убегать или удаляться изувеченной, — в этом кипении идей я не находил ничего «по душе» для меня.

Возвращаясь домой после этих бурь, я записывал мысли и афоризмы, наиболее поражавшие меня формой или содержанием, вспоминая жесты и позы ораторов, выражение лиц, блеск глаз, и всегда меня несколько смущала и смешила радость, которую испытывал тот или другой из них, когда им удавалось нанести совопроснику хороший словесный удар, «закатить» ему «под душу». Было странно видеть, что о добре и красоте, о гуманизме и справедливости говорят, прибегая к хитростям эристики, не щадя самолюбия друг друга, часто с явным желанием оскорбить, с грубым раздражением, со злобою.

У меня не было той дисциплины или, вернее, техники мышления, которую дает школа, я накопил много материала, требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили противоречия между книгами, которым я почти непоколебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно хорошо знал. Я понимал, что умнею, но чувствовал, что именно это чем-то портит меня; как небрежно груженное судно, я получил сильный крен

на один борт. Чтобы не нарушать гармонии хора, я, обладая веселым тенором, старался — как многие — говорить суровым басом; это было тяжело и ставило меня в ложную позицию человека, который, желая отнестись ко всем окружающим любовно и бережно, — относится неискренно к себе самому.

Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции. Множество образованных людей жило трудной, полуголодной, унизительной жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а — жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди — чужие в своей родной стране, они окружены средою, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных, «идиотических» мелочей жизни.

Мне было снова неясно: почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своею духовной нищетой, диковинной скукой, а особенно — равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу?

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать необычным — добрым, бескорыстным, красивым, — до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти искры счастья видеть человека — человеком. Но все-таки я был душевно голоден и одуряющий яд книг уже не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта, и порою я кричал:

— Шире бери!

— Держи карман шире! — иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого всегда было в запасе меткое словечко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на Откосе, высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев — реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В. Г., я почувствовал его только тогда, когда он толкнул меня плечом, говоря:

— Однако как вы замечтались! Я хотел шляпу снять с вас, да подумал — испугаю!

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел, обнажив курчавую голову и отирая лицо платком.

— Поздно гуляете, — сказал он.

— И вы тоже.

— Да. Следовало сказать: гуляем! Как живете, что делаете?

После нескольких незначительных фраз он спросил:

— Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это за человек?

П. Н. Скворцов был в то время одним из лучших знатоков теории Маркса, он не читал никаких книг, кроме «Капитала», и гордился этим. Года за два до издания «Критических заметок» П. Б. Струве он читал в гостиной адвоката Щеглова статью, основные положения которой были те же, что и у Струве, но — хорошо помню — более резки по форме. Эта статья поставила Скворцова в положение еретика, что не помешало ему сгруппировать кружок молодежи; позднее многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в строении с.-д. партии. Он был поистине человек «не от мира сего». Аскет, он зиму и лето гулял в легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь и при этом еще заботился о «сокращении потребностей» — питался в течение нескольких недель одним сахаром, съедая его по три осьмых фунта в день — не больше и не меньше. Этот опыт «рационального питания» вызвал у него общее истощение организма и серьезную болезнь почек.

Небольшого роста, он был весь какой-то серый, а светлоголубые глаза улыбались улыбкой счастливца, познавшего истину в полноте, недоступной никому, кроме него. Ко всем инако верующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным. Курил толстые папиросы из дешевого табака, вставляя их в длинный, вершков десяти, бамбуковый мундштук, — он носил его за поясом брюк, точно кинжал.

Я наблюдал Павла Николаевича в табуне студентов, которые коллективно ухаживали за приезжей барышней, существом редкой красоты. Скворцов, соревнуя юным

франтам, тоже кружился около барышни и был величественно нелеп со своим мундштуком, серый, в облаке душного, серого дыма. Стоя в углу, четко выделяясь на белом фоне изразцовой печи, он методически спокойно, тоном старообрядческого начетчика изрекал тяжелые слова отрицания поэзии, музыки, театра, танцев и непрерывно дымил на красавицу.

— Еще Сократ говорил, что развлечения — вредны! — неопровержимо доказывал он.

Его слушала изящная шатенка, в белой газовой кофточке, и, кокетливо покачивая красивой ножкой, натянуто любезно смотрела на мудреца темными, чудесными глазами, — вероятно, тем взглядом, которым красавицы Афин смотрели на курносого Сократа; взгляд этот немо, но красноречиво спрашивал:

«Скоро ты перестанешь, скоро уйдешь?»

Он доказал ей, что Короленко вреднейший идеалист и метафизик, что вся литература — он ее не читал — «пытается гальванизировать гнилой труп народничества». Доказал и наконец, сунув мундштук за пояс, торжественно ушел, а барышня, проводив его, в изнеможении — и, конечно, красиво — бросилась на диван, возгласив жалобно:

— Господи, это же не человек, а — дурная погода!

В. Г., смеясь, выслушал мой рассказ, помолчал, посмотрел на реку, прищурив глаза, и негромко, дружески заговорил:

— Не спешите выбрать верования, я говорю — выбрать, потому что, мне кажется, теперь их не вырабатывают, а именно — выбирают. Вот быстро входит в моду материализм, соблазняя своей простотой. Он особенно привлекает тех, кому лень самостоятельно думать. Его охотно принимают франты, которым нравится все новое, хотя бы оно и не отвечало их натурам, вкусам, стремлениям...

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою прерывал речь и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыркает пароотводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения, но следует помнить, что «жизнь слагается из бесчисленных, странно спутанных кривых» и что

«крайне трудно заключить ее в квадраты логических построений».

— Трудно привести даже в относительный порядок эти кривые, взаимно пересекающиеся линии человеческих действий и отношений, — сказал он, вздохнув и махая шляпой в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий, вдумчивый тон. Но по существу все, что он говорил о марксизме, было уже — в других словах — знакомо мне. Когда он прервал речь, я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокойный?

Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь, ответил:

— Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю. А — почему вы спросили об этом?

Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился — так ему было удобнее смотреть в лицо мне — и молча, внимательно слушал.

Потом тихо сказал:

— В этом немало верного! Вы наблюдаете хорошо...

И — усмехнулся, положив руку на плечо мне.

— Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас как о человеке иного характера.. веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции...

И как-то особенно крепко он стал говорить об интеллигенции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, таково ее историческое назначение.

— Это — дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, — с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьму, — все это — самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее.

Он взволнованно поднялся на ноги и, шагая перед скамьей взад и вперед, продолжал:

— Человечество начало творить свою историю с того дня, когда появился первый интеллигент; миф о Проме-

тее — это рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь и тем сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни, — но еще вопрос: недостатки ли это? Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. А главное, что я вам дружески советую, считая себя более опытным, чем вы, — обращайте больше внимания на достоинства! Подсчет недостатков увлекает всех нас — это очень простое и не безвыгодное дело для каждого. Но — Вольтер, несмотря на его гениальность, был плохой человек, однако он сделал великое дело, выступив защитником несправедливо осужденного. Я не говорю о том, сколько мрачных предрассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадежного, казалось, дела — это великий подвиг! Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима — справедливость! Когда она, накопляясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость, — вот как я думаю.

Он, видимо, устал, — он говорил очень долго, — сел на скамью, но взглянув в небо, сказал:

— А ведь уже поздно, или — рано, светло! И, кажется, будет дождь. Пора домой!

Я жил в двух шагах, он — версты за две. Я вызвался проводить его, и мы пошли по улицам сонного города, под небом в темных тучах.

— Что же — пишете вы?

— Нет.

— Почему?

— Времени не имею...

— Жаль и напрасно. Если б вы хотели, время нашлось бы. Я серьезно думаю — кажется, у вас есть способности. Плохо вы настроены, сударь...

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском, но — вдруг хлынул обильный летний дождь, покрыв город серой сетью. Мы постояли под воротами несколько минут и, видя, что дождь надолго, — разошлись...

В. Г. КОРОЛЕНКО

Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса, В. Г. Короленко был в Петербурге.

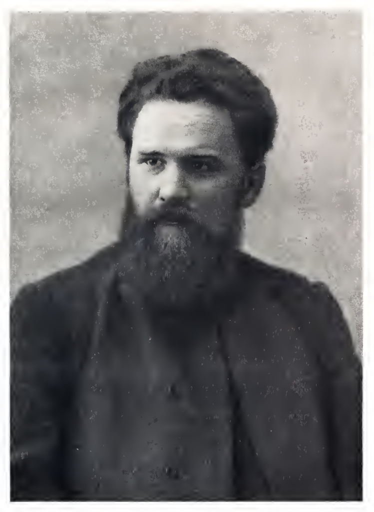
Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский вестник» Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья благодаря постоянному сотрудничеству в ней В. Г.

Рассказы были подписаны М. Г. или Г — ий, их быстро напечатали, Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу. Но Рейнгардт сообщил Короленко мою фамилию, и, когда В. Г. вернулся из Петербурга, мне сказали, что он хочет видеть меня.

Он жил все в том же деревянном доме архитектора Лемке на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался мне еще более прочным, уверенным и кудрявым.

— А мы только что читали ваш рассказ «О чиже» — ну, вот вы и начали печататься, поздравляю! Оказы-



В. Г. КОРОЛЕНКО
Нижний-Новгород. 1896—1898 гг.

вается, вы — упрямый, все аллегории пишете. Что же, и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство — не дурное качество.

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты летним загаром, борода — выцвела. В сарпинковой рубахе синего цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, он, казалось, только что пришел откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ».

— Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но — любопытно. Говорят — вы много ходили пешком? Я тоже, почти все лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге. А вы где были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул:

— Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали за эти — три года почти? И силищи накопили, должно быть, много?

Я только что прочитал его рассказ «Река играет», он очень понравился мне и красотой и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору, и я стал восторженно говорить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал, на мой взгляд, изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя на час». Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед за тем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками, сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг, без причины, наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как Козьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом — «спиться с круга», «скормить себя вшам».

В. Г. выслушал мою путаную речь, не прерывая, внимательно присматриваясь ко мне, это очень смущало меня. Порою он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по

столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, усмехаясь добродушно:

— Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю — мне самому нравится он. Ну, а таков ли мужик вообще, каков Тюлин, — этого я не знаю! А вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком, — нате вам в отплату за вашу похвалу! И чувствуется, что видели вы много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони, должно быть, от весел или топора, он любил колоть дрова и вообще физический труд.

— Ну, расскажите, что видели?

Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды, — они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:

— Чаще всего они — бездельники. Неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они злые люди? Большинство их ищет вовсе не «святую правду», а легкий кусок хлеба и — кому бы на шею сесть.

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня, сразу открыв предо мною правду, которую я смутно чувствовал.

— Хорошие рассказчики есть среди них, — продолжал Короленко. — Богатого языка люди. Иной говорит, как шелками вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града» — это были любимые герои житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми! Это звучало почти кощунством, но в устах В. Г. продуманно и решенно. И слова его усилили мое ощущение душевной независимости этого человека.

— На Волыни и в Подолье — не были? Там — красиво!

Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским, — он живо воскликнул:

— Как же вы думаете о нем? Что это за человек?

— Человек искренно верующий, как веруют иные, немудрые, сельские попики хорошего, честного сердца.

Мне кажется, он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное и как будто он действует не по своей воле. Все время спрашивает бога своего: так ли, господи? и всегда боится: не так!

— Странно слышать это, — задумчиво сказал В. Г.

Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким, цепким юмором подчеркивая в речах собеседников забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужому человеку.

— Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не так, то во всяком случае характеры думающих и верующих людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас.

Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни.

— Этого не исчерпает этнография, нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня — почва, на которой мы все растем, и много чертополоха, много бесполезных сорных трав. Сеять «разумное, доброе, вечное» на этой почве надо так же осторожно, как и энергично. Вот я летом беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но — он серьезно убеждал меня, что деревенское кулачество — прогрессивное явление, потому что, видите ли, кулаки накопляют капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. Если такой пропагандист попадет в деревню...

Он засмеялся.

Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.

— Так вы думаете — я могу писать? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он, несколько удивленный. — Ведь вы уже пишете, печатаетесь — чего же? Захотите посоветоваться — несите рукописи, потолкуем...

Я вышел от него в бодром настроении человека, который после жаркого дня и великой усталости выкупался в прохладной воде лесной речки.

В. Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но почему-то я не ощутил к писателю симпатии,

и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько тяготили меня, мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески, просто, о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учителям, они кроили и сшивали его сообразно моде и традициям тех политико-философских фирм, закройщиками и портными которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренно не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал.

Недели через две я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль», только что написанного мною. В. Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку: «Приходите вечером поговорить. Вл. Кор.».

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.

— Не думайте, что это мое орудие критики, — сказал он, потрясая топором, — нет, это я полки в чулане устраивал. Но — некоторое усекновение главы ожидает вас...

Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись, и, как от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свежевыпеченным хлебом.

— Всю ночь — писал, а после обеда уснул; проснулся — чувствую: надо повозиться!

Он был не похож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и учителя; передо мной был хороший человек, дружески внимательно настроенный ко всему миру.

— Ну-с, — начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему, — прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской, — я бы сказал барышне: «Недурно, а все-таки выходите замуж!» Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки — это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

— Еще в Тифлисе...

— То-то! У вас тут сквозит пессимизмом. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви — болезнь

возраста, это теория, наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что.

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно:

— Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они оригинальны, это я вам напечатаю. «Старуха» написана лучше, серьезнее, но — все-таки и снова — аллегория. Не доведут они вас до добра! Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукопись:

— Странная какая-то вещь. Это — романтизм, а он — давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист! В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным, — нет, не так?

— Возможно.

— Ага, вот видите! Я же — говорю: мы кое-что знаем о вас. Но — это недопустимо, личное — изгоняйте! Разумею — узко личное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза, — я смотрел на него все с бо́льшим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

— Слушайте, — можно говорить с вами запросто? Знаю я вас — мало, слышу о вас — много, и кое-что вижу сам. Плохо вы живете. Не туда попали. По-моему, вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, неглупой девушке.

— Но я женат.

— Вот это и плохо!

Я сказал, что не могу говорить на эту тему.

— Ну, извините.

Он начал шутить, потом вдруг озабоченно спросил:

— Да! Вы слышали, что Ромась арестован? Давно? Вот как. Я только вчера узнал. Где? В Смоленске? Что же он делал там?

На квартире Ромася была арестована типография «народоправцев», организованная им.

— Неугомонный человек, — задумчиво сказал В. Г. — Теперь — снова пошлют его куда-нибудь. Что он — здоров? Здоровеннейший мужик был...

Он вздохнул, повел широкими плечами.

— Нет, все это — не то! Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело — хороший урок, он говорит нам: беритесь за черную, легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие — больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать, — мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы.

Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере.

Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем.

Известно, что в провинции живешь, как под стеклянным колпаком, — всё знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду около двух часов и в субботу перед всенощной; знают тайные намерения твои и очень сердятся, если ты не оправдываешь пророческих догадок и предвидений людей.

Конечно, весь город узнал, что Короленко благосклонен ко мне, и я принужден был выслушать немало советов такого рода:

— Берегитесь, собьет вас с толка эта компания поумневших!

Подразумевался популярный в то время рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел» — о революционере, который взял легальную работу в земстве, после чего он потерял дождевой зонтик и его бросила жена.

— Вы — демократ, вам нечему учиться у генералов, вы — сын народа! — внушали мне.

Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа, это чувство от времени усиливалось, и, как я уже говорил, сами народопоклонники казались мне такими же пасынками, как я. Когда я указывал на это, мне кричали:

— Вот видите, — вы уже заразились!

Группа студентов ярославского лицея пригласила меня на пирушку, я что-то читал им, они подливали в мой стакан пива — водку, стараясь делать это незаметно для

меня. Я видел их маленькие хитрости, понимал, что они хотят «вдребезги» напоить меня, но не мог понять — зачем это нужно им? Один из них, самовлюбленный и чахоточный, убеждал меня:

— Главное — пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень! Пишите — просто! Долой идеи...

Невыносимо надоедали мне все эти советы.

В. Г. Короленко, как всякий заметный человек, подвергался разнообразному воздействию обывателей. Одни, искренно ценя его внимательное отношение к человеку, пытались вовлечь писателя в свои личные, мелкие дрязги, другие избрали его объектом для испытания легкой клеветой. Моим знакомым не очень нравились его рассказы.

— Этот ваш Короленко, кажется, даже в бога верует, — говорили мне.

Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой», находили, что это — «этнография», не более.

— Так писал еще Павел Якушкин.

Утверждали, что характер героя-сапожника — взят из «Нравы Растеряевой улицы» Г. Успенского. В общем критики напоминали мне одного воронежского иеромонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:

— Позвольте! Вы сказали: он привез в Россию папуаса. Но — зачем же именно папуаса? И — почему только одного?

Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встретил В. Г. у крыльца его квартиры.

— Откуда? — удивленно спросил он. — А я иду гулять, отличное утро! Пройдемтесь?

Он, видимо, тоже не спал ночь: глаза красны и сухи, смотрят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно.

— Прочитал я в «Волгаре» вашего «Деда Архипа», — это недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале. Почему вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его? И почему вы не заходите ко мне?

Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он дал мне три рубля взаймы, он протянул мне деньги

молча, стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в долг так трудно, я прибегал к этому только в случаях действительно крайней необходимости.

Он задумался, нахмурясь:

— Не помню! Во всяком случае это было, если вы говорите, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность. Вероятно, я был не в духе, это часто бывает со мною последнее время. Вдруг задумаюсь, точно в колодец свалился. Ничего не вижу, не слышу, но что-то слушаю и очень напряженно.

Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне.

— Вы забудьте это. Обижаться вам не на что, у меня хорошее чувство к вам, но что вы обиделись, это вообще — не плохо. Мы не очень обидчивы, вот это плохо! Ну, забудем. Вот что я хочу сказать вам: пишете вы много, торопливо, нередко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность. В «Архипе», — там, где описан дождь, — не то стихи, не то ритмическая проза. Это — нехорошо.

Он много и подробно говорил и о других рассказах, было ясно, что он читает все, что я печатаю, с большим вниманием. Разумеется, это очень тронуло меня.

— Надо помогать друг другу, — сказал он в ответ на мою благодарность. — Нас — немного! И всем нам — трудно.

Понизив голос, он спросил:

— А вы не слышали — правда, что в деле Ромася и других запуталась некая девица Истомина?

Я знал эту девицу, познакомился с ней, вытащив ее из Волги, куда она бросилась вниз головою с кормы дощаника. Вытащить ее было легко, она пробовала утопиться на очень мелком месте. Это было бесцветное, неумное существо с наклонностью к истерии и болезненной любовью ко лжи. Потом она была, кажется, гувернанткой у Столыпина в Саратове и убита, в числе других, бомбой максималистов при взрыве дачи министра на Аптекарском острове.

Выслушав мой рассказ, В. Г. почти гневно сказал:

— Преступно вовлекать таких детей в рискованное дело. Года четыре тому назад или больше я встречал эту девушку. Мне она не казалась такой, как вы ее нарисо-

вали. Просто — милая девчурка, смущенная явной неправдой жизни, из нее могла бы выработаться хорошая сельская учительница. Говорят — она болтала на допросах? Но что же она могла знать? Нет, я не могу оправдать приношение детей в жертву Ваалу политики...

Он пошел быстрее, а у меня болели ноги, я спотыкался и отставал.

— Что это вы?

— Ревматизм.

— Рановато! О девочке вы говорили совсем неверно, на мой взгляд. А вообще вы хорошо рассказываете. Вот что — попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале, и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно.

Не помню, чтоб он еще когда-нибудь говорил со мною так обаятельно, как в это славное утро, после двух дней непрерывного дождя, среди освеженного поля.

Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища, любуясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах, он рассказывал о трагикомической жизни евреев «черты оседлости», а под глазами его все росли тени усталости.

Было уже часов девять утра, когда мы воротились в город. Прощаясь со мною, он напомнил:

— Значит — пробуете написать большой рассказ, решено?

Я пришел домой и тотчас же сел писать «Челкаша», рассказ одесского босяка, моего соседа по койке в больнице города Николаева; написал в два дня и послал черновик рукописи В. Г.

Через несколько дней он привел к моему патрону обиженных кем-то мужиков и сердечно, как только он умел делать, поздравил меня.

— Вы написали недурную вещь. Даже прямо-таки хороший рассказ! Из целого куска сделано...

Я был очень смущен его похвалой.

Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он оживленно говорил:

— Совсем неплохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли,

игру чувств, это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но в то же время — романтик! И вот что, вы сидите здесь не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу.

— Очень волнуюсь...

— Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэтому, видимо, о вас и говорят, что вы много пьете. Костей у вас — много, мяса — нет, курите — ненужно, без удовольствия, — что это с вами?

— Не знаю.

— А — пьете много, — есть слух?

— Врут.

— И какие-то оргии у вас там...

Посмеиваясь, пытливо поглядывая на меня, он рассказал несколько неплохо сделанных сплетен обо мне.

Потом памятно сказал:

— Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его — на всякий случай — бьют по голове; это изречение одного студента-петровца. Ну, так пустяки — в сторону, как бы они ни были любезны вам. «Челкаша» напечатаем в «Русском богатстве», да еще на первом месте, это некоторая отличка и честь. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее, я это поправил. Больше ничего не трогал, — хотите взглянуть?

Я отказался, конечно.

Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал:

— Радует меня удача ваша.

Я чувствовал обаятельную искренность этой радости и любовался человеком, который говорит о литературе, точно о женщине, любимой им спокойной, крепкой любовью — навсегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час, с этим лоцманом, я молча следил за его глазами — в них сияло так много милой радости о человеке.

Радость о человеке — ее так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле.

Короленко остановился против меня, положил тяжелые руки свои на плечи мне.

— Слушайте — не уехать ли вам отсюда? Например, в Самару. Там у меня есть знакомый в «Самарской газете»? Хотите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?

— Разве я кому-то мешаю здесь?

— Вам мешают.

Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, «оргиях в бане» и вообще о «порочной» жизни моей, — главнейшим пороком ее была нищета. Настойчивые советы В. Г. мне уехать из города несколько обижали, но в то же время его желание извлечь меня из «недр порока» трогало за сердце.

Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча выслушал, нахмурился, пожал плечами.

— Но ведь вы сами должны видеть, что все это совершенно невозможно и — чужой вы во всей этой фантастике! Нет, вы послушайте меня. Вам необходимо уехать, переменить жизнь...

Он уговорил меня сделать это.

Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом «Иегудиил Хламида», Короленко посылал мне письма, критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но — всегда дружески.

Особенно хорошо помню я такой случай:

Мне до отвращения надоел поэт, носивший роковую для него фамилию — Скукин. Он присылал в редакцию стихи свои саженями, они были неизлечимо малограмотны и чрезвычайно пошлы, их нельзя было печатать. Жажда славы внушила этому человеку оригинальную мысль: он напечатал стихи свои на отдельных листах розовой бумаги и роздал их по гастрономическим магазинам города, приказчики завертывали в эту бумагу пакеты чая, коробки конфект, консервы, колбасы, и, таким образом, обыватель получал, в виде премии к покупке своей, пол-аршина стихов, в них торжественно воспевались городские власти, предводитель дворянства, губернатор, архиерей.

Каждый на свой лад, все эти люди были примечательны и вполне заслуживали внимания, но — архиерей являлся особенно выдающейся фигурой: он насильно окрестил девушку татарку, чем едва не вызвал бунт среди татар целой волости, он устроил совершенно идиотский процесс хлыстов, по этому процессу были осуждены люди ни в чем не повинные, это я хорошо знал. Наиболее славен был такой подвиг его: во время поездки по епархии, в непогожий день, у него сломалась карета около какой-то маленькой, заброшенной деревеньки, и он должен был зайти в избу крестьянина. Там, на полке, около божницы, он увидал гипсовую голову Зевса, разумеется, это поразило его. Из расспросов и осмотра других изб оказалось, что изображение владыки олимпийцев, а также и статуэтка богини Венеры есть и еще у нескольких крестьян, но никто из них не хотел сказать — откуда они взяли идолов.

Этого оказалось достаточно, чтоб возбудить уголовное дело о секте самарских язычников, которые поклонялись богам древнего Рима. Идолопоклонников посадили в тюрьму, где они и пробыли до поры, пока следствие не установило, что ими убит и ограблен некий торговец гипсовыми изделиями Солдатской слободы в Вятке; убив торговца, эти люди дружески разделили между собой его товар и — только.

Одним словом: я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим. Поэтому, в состоянии запальчивости и раздражения, я обругал поэта, воспевшего ненавистное мне, приставив к его фамилии — Скукин — слово сын.

В. Г. тотчас прислал мне длинное и внушительное письмо на тему: даже и за дело ругая людей, следует соблюдать чувство меры. Это было хорошее письмо, но его при обыске отобрали у меня жандармы, и оно пропало вместе с другими письмами Короленко.

Кстати — о жандармах.

Ранней весной 97 года меня арестовали в Нижнем и, не очень вежливо, отвезли в Тифлис. Там, в Метехском замке, ротмистр Конисский, впоследствии начальник петербургского жандармского управления, допрашивая меня, уныло говорил:

— Какие хорошие письма пишет вам Короленко, а ведь он теперь лучший писатель России!

Странный человек был этот ротмистр: маленький, движения мягкие, осторожные, как будто неуверенные, уродливо большой нос грустно опущен, а бойкие глаза — точно чужие на его лице, и зрачки их забавно прячутся куда-то в переносицу.

— Я — земляк Короленко, тоже волынец, потомок того епископа Конисского, который — помните? — произнес знаменитую речь Екатерине Второй: «Оставим солнце» и т. д. Горжусь этим!

Я вежливо осведомился, кто больше возбуждает гордость его — предок или земляк?

— И тот и другой, конечно, и тот и другой!

Он загнал зрачки в переносицу, но тотчас громко шмыгнул носом, и зрачки выскочили на свое место. Будучи болен и потому — сердит, я заметил, что плохо понимаю гордость человеком, которому чрезмерно любезное внимание жандармов так много мешало и мешает жить, Конисский благочестиво ответил:

— Каждый из нас — творит волю пославшего, каждый и все! Пойдемте далее. Итак, вы утверждаете... А между тем, нам известно...

Мы сидели в маленькой комнатке под входными воротами замка. Окно ее помещалось очень высоко, под потолком, через него на стол, загруженный бумагами, падал луч жаркого солнца и, между прочим, на позор мой, освещал клочок бумаги, на котором мною было четко написано:

«Не упрекайте лососину за то, что гложет лось осину».

Я смотрел на эту проклятую бумажку и думал:

«Что я отвечу ротмистру, если он спросит меня о смысле этого изречения?»

Шесть лет — с 95 по 901 год — я не встречал Владимира Галактионовича, лишь изредка обмениваясь письмами с ним.

В 901 году я впервые приехал в Петербург, город прямых линий и неопределенных людей. Я был «в моде»,

меня одолевала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность моя проникала глубоко: помню, шел я ночью по Аничкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо, парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мое, испуганно, вполголоса сказал товарищу:

— Гляди — Горький!

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:

— Эх, дьявол, — в резиновых калошах ходит!

В числе множества удовольствий я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала «Начало», — среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович.

Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклонные улыбки женщин, почти обожающие взгляды девиц, и, вероятно, — как все молодые люди, только что ошарашенные славой, — я напоминал индейского петуха.

Но, бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувствуешь себя в положении непойманного уголовного преступника: его окружают шпионы, следователи, прокуроры, все они ведут себя так, как будто считают преступление несчастием, печальной «ошибкой молодости», и — только сознайся! — они великодушно простят тебя. Но — в глубине души каждому из них непобедимо хочется уличить преступника, крикнуть в лицо ему торжествующе:

«Ага-а!»

Нередко приходилось стоять в положении ученика, вызванного на публичный экзамен по всем отраслям знания.

— Како веруешь? — пытали меня начетчики сект и жрецы храмов.

Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся, но после пытки словами у меня возникало желание проткнуть Исаакиевский собор адмиралтейской иглою или совершить что-либо иное, не менее скандальное.

Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наигранного, россияне скрывают нечто, напоминающее хамоватость. Это качество — а может быть, это метод исследования? — выражается очень разнообразно, главным

же образом — в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный балаган, взглянуть, какие в ней показываются фокусы, пошвырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а иногда — опрокинуть что-нибудь. И, по примеру Фомы, тыкать в раны пальцами, очевидно, думая, что скептицизм апостола равноценен любопытству обезьян.

В. Г. Короленко и в каменном Петербурге нашел для себя старенький деревянный дом, провинциально уютный, с крашеным полом в комнатах, с ласковым запахом старости.

В. Г. поседел за эти годы, кольца седых волос на висках были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд — рассеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокойствие, раньше так приятное мне, заменилось нервозностью человека, который живет в крайнем напряжении всех сил души. Видимо, не дешево стоило ему Мультанское дело и все, что он, как медведь, ворочал в эти трудные годы.

— Бессонница у меня, отчаянно надоедает. А вы, не считаясь с туберкулезом, все так же много курите? Как у вас легкие? Собираюсь в Черноморье, — едем вместе?

Сел за стол против меня и, выглядывая из-за самовара, заговорил о моей работе.

— Такие вещи, как «Варенька Олесова», удаются вам лучше, чем «Фома Гордеев». Этот роман — трудно читать, материала в нем много, порядка, стройности — нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки, и спросил:

— Что же вы — стали марксистом?

Когда я сказал, что — близок к этому, он невесело улыбнулся, заметив:

— Неясно мне это. Социализм без идеализма для меня — непонятен! И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики — мы не обойдемся.

И, прихлебывая чай, спросил:

— Ну, а как вам нравится Петербург?
— Город — интереснее людей.
— Люди здесь...

Он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые глаза.

— Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши волжане. Говорят: Москва своеобразнее, — не знаю. На мой взгляд, ее своеобразие — какой-то неуклюжий, туповатый консерватизм. Там славянофилы, Катков и прочее в этом духе, здесь — декабристы, петрашевцы, Чернышевский...

— Победоносцев, — вставил я.

— Марксисты, — добавил В. Г., усмехаясь. — И всякое иное заострение прогрессивной, то есть революционной мысли. А Победоносцев-то талантлив, как хотите! Вы читали его «Московский сборник»? Заметьте — московский все-таки!

Он сразу нервозно оживился и стал юмористически рассказывать о борьбе литературных кружков, о споре народников с марксистами.

Я уже кое-что знал об этом, на другой же день по приезде в Петербург я был вовлечен в «историю», о которой я даже теперь вспоминаю с неприятным чувством; я пришел к В. Г. для того, чтобы, между прочим, поговорить с ним по этому поводу.

Суть дела такова.

Редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе организовал литературный вечер в честь и память Н. Г. Чернышевского, пригласив участвовать В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского, П. Ф. Мельшина, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и еще несколько марксистов и народников. Литераторы дали свое согласие, полиция — разрешение.

На другой день по приезде моем в Петербург ко мне пришли два щеголя студента с кокетливой барышней и заявили, что они не могут допустить участия Поссе в чествовании Чернышевского, ибо: «Поссе человек, неприемлемый для учащейся молодежи, он эксплоатирует издателей журнала «Жизнь». Я уже более года знал Поссе и хотя считал его человеком оригинальным, талантливым, однако — не в такой степени, чтобы он мог и умел эксплоатировать издателей. Знал я, что его отно-

шения с ними были товарищеские, он работал, как ломовая лошадь, и, получая ничтожное вознаграждение, жил, с большою семьей, впроголодь. Когда я сообщил все это юношам, они заговорили о неопределенной политической позиции Поссе между народниками и марксистами, но — он сам понимал эту неопределенность и статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. Блюстители нравственности и правоверия рассердились на меня и ушли, заявив, что они пойдут ко всем участникам вечера и уговорят их отказаться от выступлений.

В дальнейшем оказалось, что «инцидент в его сущности» нужно рассматривать не как выпад лично против Поссе, а «как один из актов борьбы двух направлений политической мысли», — молодые марксисты находят, что представителям их школы неуместно выступать пред публикой с представителями народничества «изношенного, издыхающего». Вся эта премудрость была изложена в письме, обширном, как доклад, и написанном таким языком, что, читая письмо, я почувствовал себя иностранцем. Вслед за письмом от людей мне неведомых я получил записку П. Б. Струве, — он извещал меня, что отказывается выступить на вечере, а через несколько часов другой запиской сообщил, что берет свой отказ назад. Но — на другой день отказался М. И. Туган-Барановский, а Струве прислал третью записку, на сей раз с решительным отказом и, как в первых двух, без мотивации оного.

В. Г., посмеиваясь, выслушал мой рассказ о этой канители и юмористически грустно сказал:

— Вот, — пригласят читать, а выйдешь на эстраду — схватят, снимут с тебя штаны и — выпорют!

Расхаживая по комнате, заложив руки за спину, он продолжал вдумчиво и негромко:

— Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю, мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм и явились какие-то карьеристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его, — не видно!

Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабоченно и таким усталым. Было очень грустно.

К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел. Через два-три дня он уехал куда-то отдыхать, и я не помню, встречался ли с ним после этого свидания.

Встречи мои с ним были редки, я не наблюдал его непрерывно, изо дня в день, хотя бы на протяжении краткого времени.

Но каждая беседа с ним укрепляла мое представление о В. Г. Короленко как о великом гуманисте. Среди русских культурных людей я не встречал человека с такой неутомимой жаждою «правды-справедливости», человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь.

После смерти Л. Н. Толстого он писал мне:

«Толстой, как никто до него, увеличил количество думающих и верующих людей. Мне кажется, вы ошибаетесь, утверждая, что это увеличено за счет делающих или способных к делу. Человеческая мысль всегда действенна, только разбудите ее, и стремление ее будет направлено к истине, справедливости».

Я уверен, что культурная работа В. Г. разбудила дремавшее правосознание огромного количества русских людей. Он отдавал себя делу справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувство и разум, гармонически сочетаясь, возвышаются до глубокой, религиозной страсти. Он как бы видел и ощущал справедливость, как все лучшие мечты наши, она — призрак, созданный духом человека, ищущий воплотиться в осязаемые формы.

В ущерб таланту художника он отдал энергию свою непрерывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, откормленного фантастической русской жизнью.

Суровые формы революционной мысли, революционного дела тревожили и мучили его сердце, — сердце человека, который страстно любил красоту-справедливость, искал слияния их во единое целое. Но он крепко верил в близкий расцвет творческих сил страны и предчувствовал, что чудо воскресения народа из мертвых будет страшным чудом.

В 908 году он писал:

«Все, что делают сейчас, через несколько лет отзовется вулканическим взрывом, страшные это будут дни.

Но он будет, если жива душа народа, а душа его жива».

В 87 году он закончил свой рассказ «На затмении» стихами Н. Берга:

На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси.

Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню, и неисчислимо все, что сделано В. Г. Короленко для того, чтоб ускорить рассвет этого дня.

*

О ВРЕДЕ ФИЛОСОФИИ

...Я давно уже чувствовал необходимость понять — как возник мир, в котором я живу, и каким образом я постигаю его? Это естественное и — в сущности — очень скромное желание незаметно выросло у меня в неодолимую потребность, и, со всей энергией юности, я стал настойчиво обременять знакомых «детскими» вопросами. Одни искренно не понимали меня, предлагая книги Ляйеля и Леббока, другие, тяжело высмеивая, находили, что я занимаюсь «ерундой»; кто-то дал «Историю философии» Льюиса, эта книга показалась мне скучной, — я не стал читать ее.

Среди знакомых моих появился странного вида студент в изношенной шинели, в короткой синей рубахе, которую ему приходилось часто одергивать сзади, дабы скрыть некоторый пробел в нижней части костюма. Близорукий, в очках, с маленькой, раздвоенной бородкой, он носил длинные волосы «нигилиста»; удивительно густые, рыжеватого цвета, они опускались до плеч его прямыми, жесткими прядями. В лице этого человека было что-то общее с иконой Нерукотворенного Спаса. Двигался он медленно, неохотно, как бы против воли; на вопросы, обращенные к нему, отвечал кратко и не то — угрюмо, не то — насмешливо. Я заметил, что он, как Сократ, говорит вопросами. К нему относились неприязненно.

Я познакомился с ним, и, хотя он был старше меня года на четыре, мы быстро, дружески сошлись. Звали его

Николай Захарович Васильев, по специальности он был химик.

Прекрасный человек, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности: ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин — весьма вкусное лакомство. А главное — полезен: укрощает буйство «инстинкта рода». Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты: принимал бромистый кали и вслед за тем курил опиум, от чего едва не умер в судорогах; принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор, суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал:

— Лошадь от этого издохла бы. Даже, пожалуй, пара лошадей! Вам эта штука тоже не пройдет даром, будьте уверены.

Этими опытами Николай испортил себе все зубы, они у него позеленели и выкрошились. Он кончил все тем, что — намеренно или нечаянно — отравился в 901 году в Киеве, будучи ассистентом профессора Коновалова и работая с индигоидом.

В 89—90 годах это был крепкий, здоровый человек, чудаковато забавный и веселый наедине со мною, несколько ехидный в компании.

Помню, мы взяли в земской управе какую-то счетную работу, она давала нам рубль в день. И вот Николай, согнувшись над столом, поет нарочито гнусным тенорком на голос «Смотрите здесь, смотрите там»:

Сто двадцать три
И двадцать два —
Сто сорок пять,
Сто сорок пять!

Поет десять минут, полчаса, еще поет — теноришко его звучит все более гнусно. Наконец — прошу:

— Перестань!

Он смотрит на стенные часы и — говорит:

— У тебя очень хорошая нервная система. Не всякий выдержит спокойно такую пытку в течение сорока семи минут. Я одному знакомому медику «Аллилуйю» пел, так он на тринадцатой минуте чугунной пепельницей бросил в меня. А готовился он на психиатра.

Николай постоянно читал немецкие философские книги и собирался писать сочинение на тему «Гегель и Сведенборг». Гегелева «Феноменология духа» воспринималась им как нечто юмористическое; лежа на диване, который мы называли «Кавказским хребтом», он хлопал книгой по животу своему, дрыгал ногами и хохотал почти до слез.

Когда я спросил его: над чем он смеется? — Николай, сожалея, ответил:

— Не могу, брат, не сумею объяснить тебе это, уж очень суемудрая штука! Ты — не поймешь! Но, знаешь ли, — забавнейшая история!

После настойчивых просьб моих он долго, с увлечением, говорил мне о «мистике разумного», я действительно ничего не понял и был весьма огорчен этим.

О своих занятиях философией он говорил:

— Это, брат, так же интересно, как семечки подсолнуха грызть и, приблизительно, так же полезно!

Когда он приехал из Москвы на каникулы, я, конечно, обратился к нему с «детскими» вопросами и этим очень обрадовал его.

— Ага, требуется философия? Превосходно! Это я люблю. Сия духовная пища будет дана тебе в потребном количестве.

Он предложил прочесть для меня несколько лекций.

— Это будет легче и, надеюсь, приятнее для тебя, чем сосать Льюиса!

Через несколько дней, поздно вечером, я сидел в полуразрушенной беседке заглохшего сада; яблони и вишни в нем обросли лишаями, кусты малины, смородины, крыжовника густо разрослись, закрыв дорожки тысячью цепких веток, по дорожкам бродил в сером халате, покашливая и ворча, отец Николая, чиновник духовной консистории, страдавший старческим слабоумием.

Со всех сторон возвышались стены каких-то сараев, сад помещался как бы на дне квадратной черной ямы, и чем ближе подходила ночь, тем глубже становилась яма. Было душно, со двора доносился тяжкий запах помоев, хорошо нагретых за день жарким солнцем июня.

— Будем философствовать, — говорил Николай, причмокивая и смакуя слова. Он сидел в углу беседки, облокотясь на стол, врытый в землю. Огонек папиросы, вспы-

хивая, освещал его странное лицо, отражался в стеклах очков. У Николая была лихорадка, он зябко кутался в старенькое пальто, шаркал ногами по земляному полу беседки, стол сердито скрипел.

Я напряженно слушал пониженный голос товарища, он интересно и понятно изложил мне систему Демокрита, рассказал о теории атомов, как она принята наукой, потом вдруг сказал: «Подожди!» — и долго молчал, куря папиросу за папиросой.

Уже ночь наступила, ночь без луны и звезд, небо над садом было черно, духота усилилась, в соседнем доме психиатра Кащенко трогательно пела виолончель, с чердака, из открытого окна, доносился старческий кашель.

— Вот что, брат, — заговорил Николай, усиленно куря и еще более понизив голос, — тебе следует относиться ко всем этим штукам с великой осторожностью! Некто, — забыл, кто именно, — весьма умно сказал, что убеждения просвещенных людей так же консервативны, как и навыки мысли неграмотной, суеверной массы народа. Это — еретическая мысль, но в ней скрыта печальная правда. И — выражена она еще мягко, на мой взгляд. Ты прими эту мысль и хорошенько помни ее.

Я хорошо помню эти слова, вероятно, самого лучшего и дружески искреннего совета из всех советов, когда-либо данных мне. Слова эти как-то пошатнули меня, отозвались в душе гулко и еще более напрягли мое внимание.

— Ты — человек, каким я желаю тебе остаться до конца твоих дней. Помни то, что уже чувствуешь: свобода мысли — единственная и самая ценная свобода, доступная человеку. Ею обладает только тот, кто, ничего не принимая на веру, все исследует, кто хорошо понял непрерывность развития жизни, ее неустанное движение, бесконечную смену явлений действительности.

Он встал, обошел вокруг стола и сел рядом со мною.

— Все, что я сказал тебе, — вполне умещается в трех словах: живи своим умом. Вот. Я не хочу вбивать мои мнения в твой мозг; я вообще никого и ничему не могу учить, кроме математики, впрочем. Я особенно не хочу именно тебя учить, понимаешь? Я — рассказываю. А делать кого-то другого похожим на меня — это, брат, помоему, свинство. Я особенно не хочу, чтоб ты думал

похоже на меня, это совершенно не годится тебе, потому что, брат, я думаю плохо.

Он бросил папиросу на землю, растоптав ее двумя слишком сильными ударами ноги. Но тотчас закурил другую папиросу и, нагревая на огне спички ноготь большого пальца, продолжал, усмехаясь невесело:

— Вот, например, я думаю, что человечество до конца дней своих будет описывать факты и создавать из этих описаний более или менее неудачные догадки о существе истины или же, не считаясь с фактами, творить фантазии. В стороне от этого — или над, под этим — бог. Но бог — это для меня неприемлемо. Может быть, он и существует, но — я его не хочу. Видишь, — как нехорошо я думаю? Да, брат! Есть люди, которые считают идеализм и материализм совершенно равноценными заблуждениями разума. Они — в положении чертей, которым надоел грязный ад, но — не хочется и скучной гармонии рая.

Он вздохнул, прислушался к пению виолончели.

— Умные люди говорят, что мы знаем только то, что думаем по поводу видимого нами, но — не знаем, то ли и так ли мы думаем, как надо? А ты — и в это не верь. Ищи сам...

Я был глубоко взволнован его речью, я понял в ней столько, сколько надо было понять для того, чтоб почувствовать боль души Николая. Взяв друг друга за руки, мы с минуту стояли молча. Хорошая минута. Вероятно, одна из лучших минут счастья, испытанного мною в жизни, — эта жизнь, достаточно разнообразная, могла бы дать мне несколько больше таких минут. Впрочем — человек жаден. Это одно из его достоинств, но — по недоразумению, а вернее, по лицемерию — оно признается пороком.

Мы вышли на улицу и остановились у ворот, слушая отдаленный гром. По черным облакам скользили отблески молнии, а на востоке облака уже горели и плавились в огне утренней зари.

— Спасибо, Никола!

— Пустяки...

Я пошел.

— Слушай-ко, — весело и четко прозвучал голос Николая, — в Москве живет нечаевец Орлов, чудесный

старикан. Так он говорит: «Истина — это только мышление о ней». Ну, иди! До завтра...

Пройдя несколько шагов, я оглянулся, Николай стоял, прислонясь к столбу фонаря, и смотрел в небо, на восток. Синие струйки дыма поднимались над копной его волос. Я ушел от него в прекрасном, лирическом настроении, — вот передо мною открываются «врата великих тайн».

Но на другой день Никола развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора. Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал.

Так же, как накануне, был поздний вечер, а днем выпал проливной дождь. В саду было сыро, вздыхал ветер, бродили тени, по небу неслись черные клочья туч, открывая голубые пропасти и звезды, бегущие стремительно.

Я видел нечто неописуемо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой набок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человечьи ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминая медведя, шевелятся корни деревьев, точно огромные пауки, а ветви и листья живут отдельно от них; летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза их испуганно прыгают над ними; вот бежит окрыленная нога верблюда, а вслед за нею стремительно несется рогатая голова совы, — вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно.

В этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел величественно движутся, противоборствуя друг другу, Ненависть и Любовь, неразличимо подобные одна другой, от них изливается призрачное, голубоватое сияние, напоминая о зимнем небе в солнечный день, и освещает все движущееся мертвенно однотонным светом.

Я не слушал Николая, поглощенный созерцанием видения и как бы тоже медленно вращаясь в этом мире, изломанном на куски, как будто взорванном изнутри и падающем, по спирали, в бездонную пропасть голубого, холодного сияния. Я был так подавлен видимым, что,

в оцепенении, не мог сразу ответить на вопросы Николая:

— Ты уснул? Не слушаешь?

— Больше не могу.

— Почему?

Я объяснил.

— У тебя, брат, слишком разнуздано воображение, — сказал он, закуривая папиросу. — Это не очень похвально. Ну, что ж, пойдем гулять?

Пошли на Откос, по улице, вдоль которой блестели лужи, то являясь, то исчезая. Тени торопливо ползли по крышам домов и земле.

Николай говорил, что тряпку на бумажных фабриках нужно белить хлористым натром, — это лучше и дешевле. Потом рассказывал о работе какого-то профессора, который ищет, как удлинить древесное волокно.

А предо мною все плавали оторванные руки, печальные чьи-то глаза.

Через день Николая вызвали телеграммой в Москву, в университет, и он уехал, посоветовав мне не заниматься философией до его возвращения.

Я остался с тревожным хаосом в голове, с возмущенной душой, а через несколько дней почувствовал, что мозг мой плавится и кипит, рождая странные мысли, фантастические видения и картины. Чувство тоски, высасывающей жизнь, охватило меня, и я стал бояться безумия. Но я был храбр, решил дойти до конца страха, и, вероятно, именно это спасло меня.

Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на Откосе, глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд, и — вдруг начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое, черное пятно, как отверстие бездонного колодца, а из него высунется огненный палец и погрозит мне.

Или: по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроницаемую, каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды Млечного Пути сольются в огненную реку и вот — сейчас она низринется на землю.

Вдруг на месте Волги разевала серую пасть бездонная щель, и в нее отовсюду сбегались, играя, потоки детей,

катились бесконечные вереницы солдат с оркестрами музыки впереди; крестным ходом текли толпы народа со множеством священников, хоругвей, икон, ехали неисчислимые обозы, шли миллионы мужиков, с палками в руках, котомками за спиной, все на одно лицо; туда же, в эту щель, всасывались облака, втягивалось небо, колесом катилась изломанная луна и вихрем сыпались звезды, точно медные снежинки.

Я ожидал, что широкая плоскость лугов начнет свертываться в свиток, точно лист бумаги, этот свиток покатится через реку, всосет воду, затем высокий берег реки тоже свернется, как береста или кусок кожи на огне, и когда все видимое превратится в черный свиток, — чья-то снежно-белая рука возьмет его и унесет. А я останусь один, повиснув неподвижно в непоколебимой тишине.

Из горы, на которой я сидел, могли выйти большие черные люди с медными головами. Вот они, тесной толпою, идут по воздуху и наполняют мир оглушающим звоном, от него падают, как срезанные невидимою пилой, деревья, колокольни, разрушаются дома, и вот — все на земле превратилось в столб зеленовато горящей пыли, осталась только круглая, гладкая пустыня и посреди я, один на четыре вечности. Именно — на четыре, я видел эти вечности, огромные, темносерые круги тумана или дыма, они медленно вращаются в непроницаемой тьме, почти не отличаясь от нее своим призрачным цветом.

Видел я бога, — это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах: благообразный, седобородый, с равнодушными глазами. Одиноко сидя на большом, тяжелом престоле, он шьет золотою иглою и голубой ниткой чудовищно длинную белую рубаху, она опускается до земли прозрачным облаком. Вокруг бога — пустота, и в нее невозможно смотреть без ужаса, потому что она непрерывно и безгранично ширится, углубляется.

За рекою, на темной плоскости, вырастает, почти до небес, человечье ухо, обыкновенное ухо, с толстыми волосами в раковине, вырастает и — слушает все, что думаю я.

Длинным, двуручным мечом средневекового палача, гибким, как бич, я убивал бесчисленное множество людей, они шли ко мне справа и слева, мужчины и женщины,

все — нагие, шли молча, склонив головы, покорно вытягивая шеи. Сзади меня стояло неведомое существо, и это его волей я убивал, а оно дышало в мозг мне холодными иглами.

Ко мне подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее грудей исходили золотые лучи, вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув, точно клок ваты, я исчезал.

Ночной сторож Ибрагим Губайдуллин несколько раз поднимал меня на верхней аллее Откоса и отводил домой, ласково уговаривая:

— Засэм гуляйшь больной? Больной — лежать дома нада...

Иногда, измученный бредовыми видениями, я бежал к реке и купался, — это несколько помогало мне.

А дома меня ожидали две мыши, прирученные мною. Они жили за деревянной обшивкой стены; в ней, на уровне стола, они прогрызли щель и вылезали прямо на стол, когда я начинал шуметь тарелками ужина, оставленного для меня квартирной хозяйкой.

И вот я видел: забавные животные превращались в маленьких, серых чертенят и, сидя на коробке с табаком, болтали мохнатыми ножками, важно разглядывая меня, в то время как скучный голос, неведомо чей, шептал, напоминая тихий шум дождя:

— Общая цель всех чертей — помогать людям в поисках несчастий.

— Это — ложь! — кричал я, озлобляясь. — Никто не ищет несчастий...

Тогда являлся Никто. Я слышал, как он гремит щеколдой калитки, отворяет дверь крыльца, прихожей, и — вот он у меня в комнате. Он — круглый, как мыльный пузырь, без рук, вместо лица у него — циферблат часов, а стрелки — из моркови; к ней у меня с детства идиосинкразия. Я знаю, что это муж той женщины, которую я люблю, он только переоделся, чтоб я не узнал его. Вот он превращается в реального человека, толстенького, с русой бородой, мягким взглядом добрых глаз; улыбаясь, он говорит мне все то, злое и нелестное, что я думаю о его жене и что никому, кроме меня, не может быть известно.

— Вон! — кричу я на него.

Тогда за моей спиной раздается стук в стену, — это стучит квартирная хозяйка, милая и умная Фелицата Тихомирова. Ее стук возвращает меня в мир действительности, я обливаю голову холодной водой и через окно, чтоб не хлопать дверями, не беспокоить спящих, вылезаю в сад, — там сижу до утра.

Утром, за чаем, хозяйка говорит:

— А вы опять кричали ночью...

Мне невыразимо стыдно, я презираю себя.

...В ту пору я работал как письмоводитель у присяжного поверенного А. И. Ланина, прекрасного человека, которому я очень многим обязан. Однажды, когда я пришел к нему, он встретил меня, бешено размахивая какими-то бумагами и крича:

— Вы с ума сошли? Что это вы, батенька, написали в апелляционной жалобе? Извольте немедля переписать, — сегодня истекает срок подачи. Удивительно! Если это — шутка, то — плохая, я вам скажу!

Я взял из его рук жалобу и прочитал в тексте ее четко написанное четверостишие:

Ночь бесконечно длится...
Муке моей — нет меры!
Если б умел я молиться!
Если бы знал счастье веры!

Для меня эти стихи были такой же неожиданностью, как и для патрона, я смотрел на них и почти не верил, что это написано мною.

Вечером, за работой, А. И. подошел ко мне, говоря:

— Вы извините, я накричал на вас! Но, знаете, — такой случай... Что с вами? Последнее время на вас лица нет и похудели вы ужасно...

— Бессонница, — сказал я.

— Надо полечиться.

Да, надо было что-то делать. От этих видений и ночных бесед с разными лицами, которые неизвестно как появлялись предо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия необходимо было избавиться. Я достиг уже такого состояния, что даже и днем, при свете солнца, напряженно ожидал чудесных событий.

Наверное, я не очень удивился бы, если б любой дом города вдруг перепрыгнул через меня. Ничто, на мой взгляд, не мешало лошади извозчика, встав на задние ноги, провозгласить глубоким басом:

«Анафема!»

Или — вот на скамье бульвара, у стены кремля, сидит женщина в соломенной шляпе и желтых перчатках. Если я подойду к ней и скажу: «Бога нет!» — она удивленно, обиженно воскликнет: «Как? А — я?», тотчас превратится в крылатое существо и улетит; вслед за тем вся земля немедленно порастет толстыми деревьями без листьев, с их ветвей и стволов будет капать жирная, синяя слизь, а меня, как уголовного преступника, приговорят быть двадцать три года жабой и чтоб я все время, день и ночь, звонил в большой, гулкий колокол Вознесенской церкви.

Так как мне очень, нестерпимо хочется сказать даме, что бога — нет, но я хорошо вижу, каковы будут последствия моей искренности, — я как можно скорее, стороной, почти бегом, ухожу.

Все — возможно. И возможно, что ничего нет, поэтому мне нужно дотрагиваться рукою до заборов, стен, деревьев. Это несколько успокаивает. Особенно — если долго бить кулаком по твердому, убеждаешься, что оно существует.

Земля — очень коварна: идешь по ней так же уверенно, как все люди, но вдруг ее плотность исчезает под ногами, земля становится такой же проницаемой, как воздух, оставаясь темной, — и душа стремглав падает в эту тьму бесконечно долгое время, оно длится секунды.

Небо — тоже ненадежно; оно может в любой момент изменить форму купола на форму пирамиды вершиной вниз, острие вершины упрется в череп мой, и я должен буду неподвижно стоять на одной точке до поры, пока железные звезды, которыми скреплено небо, не перержавеют, тогда оно рассыплется рыжей пылью и похоронит меня.

Все возможно. Только жить невозможно в мире таких возможностей.

Душа моя сильно болела. И если б, два года тому назад, я не убедился личным опытом, как унизительна глупость самоубийства, я наверное применил бы этот способ лечения больной души.

...Маленький, черный, горбатый психиатр, человек одинокий, умница и скептик, часа два расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену странно белой рукою, сказал:

— Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете! По комплекции вашей вы человек здоровый, и — стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин — как? Ну! это тоже не годится! Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее к любовной игре, — это будет полезно!

Он дал мне еще несколько советов, одинаково неприятных и неприемлемых для меня, написал два рецепта, затем сказал несколько фраз, очень памятных мне:

— Я кое-что слышал о вас, и — прошу извинить, если это не понравится вам! — вы кажетесь мне человеком, так сказать, первобытным. А у первобытных людей фантазия всегда преобладает над логическим мышлением. Все, что вы читали, видели, — возбудило у вас только фантазию, а она — совершенно непримирима с действительностью, которая хотя тоже фантастична, но — на свой лад. Затем: один древний умник сказал: «Кто охотно противоречит, тот не способен научиться ничему дельному». Сказано — хорошо! Сначала — изучать, потом — противоречить, так надо!

Провожая меня, он повторил с улыбкой веселого чорта:

— А — бабеночка очень полезна для вас!

Через несколько дней я ушел из Нижнего в Симбирскую колонию толстовцев и, придя туда, узнал от крестьян историю ее разрушения.

СТОРОЖ

Я — ночной сторож станции Добринка; от шести часов вечера до шести утра хожу с палкой в руке вокруг пакгаузов; со степи тысячью пастей дует ветер, несутся тучи снега, в его серой массе медленно плывут туда и сюда локомотивы, тяжко вздыхая, влача за собою черные звенья вагонов, как будто кто-то не спеша опутывает землю бесконечной цепью и тащит ее сквозь небо, раздробленное в холодную, белую пыль. Визг железа, лязг сцеплений, странный скрип, тихий вой носится вместе со снегом.

У крайнего пакгауза, в мутных вихрях снега возятся две черные фигуры — это пришли казаки воровать муку. Видя меня, они, отскочив в сторону, прячутся за сугроб, и потом, сквозь вой и шорох вьюги, я слышу нищенски жалобные слова просьбы, обещания дать полтинник, ругань.

— Бросьте это, ребята, — говорю я.

Мне лень слушать их, не хочется говорить с ними, я знаю, что они — не бедняки, воруют не по нужде, а на продажу, для пьянства, для женщин.

Иногда они подсылают красивую жолнерку Лёску Графову; расстегнув тулупчик и кофту, она показывает сторожам груди; упругие, точно хрящ, они стоят у нее горизонтально.

— Глядите-тко — как пушки, — задорит и хвастается она. — Ну, хотите за мешок пшеничной второго сорта? Ну, — третьего?

С нею деловито торгуется молодой религиозный тамбовский парень Байков и усманский татарин, хромой Ибрагим.

Она стоит перед ними, открыв грудь, снег тает на коже у нее; встряхнув плечами, как цыганка, она ругается:

— Кацапы, ну скорее! Болотное племя, али вы найдете где эдакую сласть, как у меня, падаль песья!

Она презирает русских мужиков. Голос у нее грудной, сильный, красивое лицо освещено глазами кошки. Ибрагим ведет ее под крышу пакгауза, а ее товарищи, бросив на салазки мешок или куль, — уезжают.

Мне противно бесстыдство этой женщины и до тоски жалко ее прекрасное, сильное тело. Ибрагим называл Лёску собакой и плевался, вспоминая ее ласки, а Байков тихо и задумчиво говорил:

— Таких убивать надо бы...

По праздникам, нарядно одетая, в скрипучих, козловых башмаках, в алом платочке на густых каштанового цвета волосах, она, приходя в город, обслуживает телом своим «интеллигенцию», относясь ко всем покупателям одинаково дерзко и презрительно.

Иногда она привязывалась ко мне, я ее прогонял с моего участка, но как-то, теплой, светлой ночью, сидя на лесенке пакгауза, я задремал и, открыв глаза, увидел пред собой Лёску; она стояла, сунув руки в карманы тулупчика, нахмуря брови, статную фигуру ее внимательно освещала луна.

— Не бойсь, — не воровать пришла — гуляю.

По звездам — было уже далеко за полночь.

— Поздновато гуляешь.

— Баба — ночью живет, — ответила Лёска, садясь рядом со мной. — Ты чего же спишь? Али за сон деньги платят?

Достала из кармана горсть семян подсолнуха и, грызя их, спросила:

— Ты будто грамотей? Скажи-ка, где Оболак-город?

— Не знаю.

— Матерь божия новоявилась там, кверху ручки пишется, а младенец Христос — в подоле у ней...

— Абалацк...

— Где он?

— На Урале где-то или в Сибири.

Облизав губы, она сказала:

— Пойти, что ли, туда? Далеко оно. А пожалуй, надо идти.

— Зачем?

— Молиться, грешна больно. Все через вас, кобелей. Покурить есть?

Закурив — предупредила:

— Казакам — не говори, гляди, что курю, у нас не любят, когда баба дымит.

Очень красиво было ее строгое лицо, нарумяненное зимним воздухом, ярко блестели темные зрачки в опаловых овалах белков.

Золотая полоска сверкнула в небе — женщина перекрестилась, говоря:

— Упокой господь душу! Вот и моя душа так же падет. Тебе когда скушнее, — в светлые ночи али в темные? Мне — в светлые.

Заплевала огонек окурка папиросы, бросила его и, зевнув, предложила:

— Давай — побалуемся?

А когда я отказался — добавила равнодушно:

— Со мной хорошо, все хвалят...

Я сказал несколько слов о ее отталкивающем бесстыдстве — ласково и мягко сказал. Не глядя на меня, она ответила спокойным, ровным голосом:

— Это — от скуки потеряла я стыд. Скушно, человек...

Странно мне было слышать из уст ее слово «человек» — оно прозвучало необычно, незнакомо. А женщина, закинув голову, глядя в небо, говорила медленно:

— Я не виноватая; говорится: так сделал бог, ценят бабу с ног. Не виноватая я в этом...

Посидев молча еще минуту, две, она встала, оглянулась.

— Пойду к начальнику...

И не спеша ушла по нитям путей, по рельсам, высеребренным луною, а я остался, подавленный словами:

«Скушно, человек...»

Мне в ту пору была непонятна «скука» людей, чья жизнь рождается и проходит на широких плоскостях, в пу-

стоте, ярко освещаемой то солнцем, то луною, на равнинах, где человек ясно видит свое ничтожество, где почти нет ничего, что укрепляло бы волю к жизни.

Вокруг меня мелькали люди, для которых все, чем я жил, было чуждо, каждый из них отбрасывал свое отражение в душу мне, и в непрерывной смене этих отражений я чувствовал себя осужденным на муку понимать непонятное.

Вот предо мною буйно кружится Африкан Петровский, начальник станции, широкогрудый, длиннорукий богатырь, у него выпуклые — рачьи — темные глаза, черная бородища, он весь, как зверь, оброс шерстью, а говорит — чужим голосом, тенором, и когда сердится, то свистит носом, широко раздувая калмыцкие ноздри. Он — вор, заставляет весовщиков вскрывать вагоны с грузом портов Каспийского моря, весовщики таскают ему шелк, сласти, он продает краденое и устраивает по ночам на квартире у себя «монашью жизнь». Он жесток, бьет по ушам и по зубам станционных сторожей, говорят — до смерти забил свою жену.

Вне службы он наряжается в алую шелковую рубаху, бархатные шаровары, в татарские сапоги зеленого сафьяна, носит лиловую, шитую золотом тюбетейку на черной шапке курчавых волос; таков — он похож на трактирного певца, одетого в «боярский костюм».

К нему приходит помощник исправника Маслов, лысый, круглый, бритый, точно ксендз, с носом хищной птицы и лисьими глазками распутной женщины; это очень злой, хитрый, лживый человек, в городе его прозвали — Актриса; является мыловар Тихон Степахин, рыжий, благообразный мужик, тяжелый, как вол, полусонный, на его заводе рабочие отравляются чем-то и заживо гниют; его несколько раз судили и штрафовали за увечья рабочих; приходит кривой дьякон Ворошилов, пьяница, грязный, засаленный человечишка, превосходный гитарист и гармонист, рябое, скуластое лицо его в серых волосах, толстых как иглы ежа; у дьякона маленькие холеные руки женщины и красивый яркосиний глаз; дьякона так и зовут — Краденый Глаз.

Приходят бойкие девицы из села и казачки из станицы, иногда с ними — Лёска. В небольшой комнате,

тесно заставленной диванами, садятся за тяжелый круглый стол, нагруженный копченой птицей, окороками, множеством всяких солений, мочеными яблоками и арбузами, квашеной вилковой капустой, — среди всей этой благостыни блестит четверть водки; Петровский и друзья его почти молча, долго жуют, чавкают, сосут водку из серебряной «братской» стопки, — в нее входит четверть бутылки.

Наелись. Степахин рыгает, как башкир, крестится; дьякон, нежно улыбаясь, настраивает гитару; переходят в большую комнату, где нет мебели, кроме полдюжины стульев, и начинают петь.

Поют — дивно. Петровский — тенором, Степахин — густейшим, мягким басом, у дьякона — хороший баритон, Маслов умело вторит хозяину. Женщины тоже обладают хорошими голосами, особенно выдается чистотою звука контральто казачки Кубасовой, голос Лёски криклив, — дьякон часто грозит ей пальцем. Поют благоговейно, как пели бы во храме, и все строго смотрят друг на друга, только Степахин, широко расставив ноги, опустил глаза, и лицо у него удивленное, точно он не верит, что это из его горла бесконечно льется бархатная струя звука. Песни мучительно грустные, иногда торжественно поется что-либо церковное, чаще всего «Покаяние».

Белки рачьих глаз Петровского налиты кровью, он вытягивается всем телом, как солдат в строю, и орет:

— Дьякон — плясу! Тихон — делай! Живем!

— Начали! — отзывается дьякон, взмахивая гитарой, и хитрейшим перебором струн, с ловкостью фокусника начинает играть трепака, а Степахин — пляшет. Деревянное лицо мыловара освещено мечтательной усмешкой, грузное тело его исполнено гибкой, звериной грации, он плавает по комнате легко, как сом в омуте, весь в красивых, ритмических судорогах и, бесшумно выписывая ногами затейливые фигуры, смотрит на всех взглядом счастливого человека. Пляшет он чарующе хорошо, и хотя казачка Кубасова, подвизгивая, заманчиво и ловко ходит вокруг него, Степахин затмевает ее невыразимой красотой ритмических движений мощного тела, — его пляска опьяняет всех.

Африкан Петровский озверел от радости, орет, свистит, взмахивает башкой, вытряхивая из глаз слезы, дьякон,

перестав играть, обнимает Степахина, целует и, задыхаясь, бормочет:

— Тихон! Богослужебно... Голубчик! Все... все простится!..

А Маслов кружится около них и кричит:

— Тихон! Царь! Талант! Убийца!

Эти люди выпили две четверти водки, но только теперь они хмелеют, и мне кажется, что это — опьянение от радости, от взаимных ласк и похвал. Женщины тоже охмелели, глаза их жадно горят, на щеках жаркий румянец, они обмахиваются платочками и возбуждены, как застоявшиеся лошади, которых вывели из темной конюшни на широкий двор, на свет и тепло весеннего дня. Лёска, полуоткрыв рот, дышит тяжело, смотрит на Степахина сердито, влажными глазами и, покачиваясь на стуле, шаркает по полу подошвами башмаков.

За окнами свистит и воет ветер, в трубе печи гудит, белые крылья шаркают по стеклам окон, — Степахин, отирая пестрым платком потное лицо, говорит тихо и виновато:

— Из-за плясок этих в хороших людях никакого уважения нету ко мне...

Петровский яростно обкладывает хороших людей многословной, затейливой матерщиной. Женщины фальшиво взвизгивают, желая показать, что им стыдно, а сочетания зазорных слов победно обнаруживают прелестную гибкость русского языка.

Снова играет дьякон, а Петровский пляшет, бурно, удало, с треском, с грохотом и криками, как будто разрывая и ломая что-то невидимо стесняющее его; пляшет Лёска; как безумный, неумело прыгает Маслов. Топот, свист, визг, непрерывное мелькание пестрых юбок, и, отчеканивая каблуками дробь, Петровский свирепо, мстительно орет:

— Эхма! Пропадаю-у!

Слышно, как он скрипит зубами. В этом исступленном веселье нет смеха, нет легкой, окрыленной радости, поднимающей человека над землей, это — почти религиозный восторг; он напоминает радения хлыстов, пляски дервишей в Закавказье. В этом вихре тел — сокрушительная силища, и безысходное метание ее кажется мне близким

отчаянию. Все эти люди — талантливы, каждый по-своему, жутко талантливы; они опьяняют друг друга исступленной любовью к песне, пляске, к телу женщины, к победоносной красоте движения и звука; все, что они делают, похоже на богослужение дикарей.

Петровский снимает меня с дежурства для участия в «монашьем житье», потому что я много знаю хороших песен, неплохо умею «сказывать» их и могу, не пьянея, глотать множество неприятной мне водки.

— Пешков, — валяй! — орет он. Он орет, даже когда обнимает женщин, ревет зверем, это его потребность.

Становлюсь к стене и «валяю». Нарочито выбирая трогательные и красивые, я «сказываю» песни, стараясь обнажить красоту слова и чувства, скрытую в них. И подчиняюсь силе их неизбывной тоски, близкой моей душе, враждебно отрицаемой разумом.

— Господи! — взывает дьякон, хватаясь за голову; его маленькие, нежные ладони совершенно тонут в космах полуседых волос. Степахин смотрит на меня изумленно и, кажется, с завистью, лицо его вздрагивает неприятно. Петровский так стиснул зубы, что скулы его выступили желваками. А Маслов, посадив Кубасову на колени себе, забыл о ней и глядит в пол, как больная собака.

Не понимаю, чего мне надо от этих людей, но иногда думалось, что если насытить их песнями до полноты душ, — тогда они как-то изменятся, обнаружат себя более понятными мне. Вот они, восхищаясь, обнимают, целуют меня, дьякон плачет.

— Разбойник, — говорит мне Маслов, гладя руку мою, Степахин молча целует меня.

— Пей, все равно пропадешь! — ревет Петровский, а Лёска, размахивая руками, говорит:

— Влюбилася я в него, при всех говорю — влюбилася, даже ноги трясутся...

А через минуту они ненасытно требуют еще чего-то.

Знаю я, что они люди негодные, но — они религиозно поклоняются красоте, служат ей до самозабвения, упиваются ядом ее и способны убить себя ради ее.

Из этого противоречия возникает облако мутной тоски и душит меня, а у них исступление восторга восходит

до высшей точки своей, но — все песни уже спеты, пляски спляcаны.

— Раздевай баб! — орет Петровский.

Раздевал всегда Степахин, он делал это не торопясь, аккуратно развязывая тесемки, расстегивая крючки и деловито складывая в угол кофты, юбки, рубахи.

Рассматривали прекрасное тело Лёски, осторожно трогали ее вызывающие груди, стройные ноги, великолепный живот, ходили вокруг женщин, изумленно охая, и хвалили тело их так же восторженно, как песню, пляску. Потом снова шли к столу в маленькую комнату, ели, пили, и — начиналось неописуемое, кошмарное.

Животная сила этих людей не удивляла меня, — быки и жеребцы сильнее. Но было жутко наблюдать нечто враждебное в их отношении к женщинам, красотою которых они — только что — почти благоговейно восхищались. В их сладострастии я чувствовал примесь изощренной мести, и казалось, что эта месть возникает из отчаяния, из невозможности опустошить себя, освободить от чего-то, что угнетало и уродовало их.

Помню ошеломивший меня крик Степахина: он увидал отражение свое в зеркале, его красное лицо побурело, посинело, глаза исступленно выкатились, он забормотал:

— Братцы, — глядите-ка, — господи!

И — взревел:

— У меня — не человечья рожа — глядите! Не человечья же, — братцы!

Схватил бутылку и швырнул в зеркало.

— Вот тебе, дьяволово рыло, на!

Он был не пьян, хотя и много выпил, — когда дьякон стал успокаивать его, он разумно говорил:

— Отстань, отец... Я же знаю, — не человечьей жизнью живу. Али я человек? У меня вместо души чорт медвежий, ну, отстань! Ничего не сделать с этим...

В каждом из них жило, ворочалось что-то темное, страшное. Женщины взвизгивали от боли их укусов и щипков, но принимали жестокость как неизбежное, даже как приятное, а Лёска нарочно раздражала Петровского задорными возгласами:

— Ну, еще! Ну-ка, ущипни, ну?

Кошачьи зрачки ее расширялись, и в эти минуты было в ней что-то похожее на мученицу с картинки. Я боялся, что Петровский убьет ее.

Однажды, на рассвете, идя с нею от начальника, я спросил: зачем она позволяет мучить себя, издеваться над собою?

— Так он же сам себя мучает. Они все так. Дьякон-то кусается, а сам плачет.

— Отчего это?

— Дьякон — от старости, сил нет. А другие — Африкан со Степахиным — тебе не понять отчего. А я и знаю, да сказать не умею. Знаю я — много, а говорить не могу, покамест слова соберу — мысли разбегутся, а когда мысли дома — нету слов.

Она, должно быть, действительно что-то понимала в этом буйстве сил, — помню, весенней ночью она горько плакала, говоря:

— Жалко мне тебя, пропадешь, как птица на пожаре, в дыму. Ушел бы лучше куда в другое место. Ой, всех жалко мне...

И нежными словами матери, с бесстрашной мудростью человека, который заглянул глубоко в тьму души и печально испугался тьмы, она долго рассказывала мне страшное и бесстыдное.

Теперь мне кажется, что предо мною разыгрывалась тяжелая драма борьбы двух начал — животного и человеческого: человек пытается сразу и навсегда удовлетворить животное в себе, освободиться от его ненасытных требований, а оно, разрастаясь в нем, все более порабощает его.

А в ту пору эти буйные праздники плоти возбуждали во мне отвращение и тоску, смешанные с жалостью к людям, особенно жалко было женщин. Но, изнывая в тоске, я не хотел отказаться от участия в безумствах «монашьей жизни», — говоря высоким стилем, я страдал тогда «фанатизмом знания», меня пленил и вел за собою «фанатик знания — Сатана».

«Все надо знать, все надо понять», — сурово, сквозь зубы, говорил мне М. А. Ромась, посасывая трубку, дымно плевал и следил, как голубые струйки дыма путаются в серых волосах его бороды.

«Не подобает жить без оправдания, это значило бы — живете бессмысленно. Так что — привыкайте заглядывать во все щели и ямы, может, там, где-то, и затискана потребная вам истина. Живите безбоязненно, не бегая от неприятного и страшного, — неприятно и страшно, потому что непонятно. Вот что!»

Я и заглядывал всюду, не щадя себя, и так узнал многое, чего мне лично лучше бы не знать, но о чем рассказать людям — необходимо, ибо это — их жизнь, трудная, грязная драма борьбы животного в человеке, который стремится к победе над стихиею в себе и вне себя.

Если в мире существует нечто поистине священное и великое, так это только непрерывно растущий человек, — ценный даже тогда, когда он ненавистен мне.

Впрочем — внимательно вникнув в игру жизни, я разучился ненавидеть, и не потому, что это трудно, — ненависть очень легко дается, — а потому, что это бесполезно и даже унизительно, ибо — в конце концов ненавидишь нечто свое собственное.

Да, философия — особенно же моральная — скучное дело, но когда душа намозолена жизнью до крови и горько плачет от неисчерпаемой любви к «великолепному пустяку» — человеку, невольно начинаешь философствовать, ибо — хочется утешить себя.

Прожив на станции Добринка три или четыре месяца, я почувствовал, что больше — не могу, потому что, кроме исступленных радений у Петровского, меня начала деспотически угнетать кухарка его, Маремьяна, женщина сорока шести лет и ростом два аршина десять вершков; взвешенная в багажной на весах «Фербэнкс», она показала шесть пудов тринадцать фунтов. На ее медном, лунообразном лице сердито сверкали круглые, зелененькие глазки, напоминая окись меди, под левым помещалась бородавка, он всегда подозрительно хмурился. Была она грамотна, с наслаждением читала жития великомучеников и всею силой обширнейшего сердца своего ненавидела императоров Диоклетиана и Деция.

— Нарвались бы они на меня, я б им зенки-то выдрала!

Но свирепость, обращенная в далекое прошлое, не мешала ей рабски трепетать пред Актрисой — Масловым.

В часы пьяных ужинов она служила ему особенно благоговейно, заглядывая в его лживые глаза взглядом счастливой собаки. Иногда он, притворяясь пьяным, ложился на пол, бил себя в грудь и стонал:

— Плохо мне, плохо-о...

Она испуганно хватала его на руки и, как ребенка, уносила куда-то в кухню к себе.

Его звали — Мартын, но она часто, должно быть, со страха пред ним, путала имя его с именем хозяина и называла:

— Мартыкан.

Тогда он, вскакивая с пола, безобразно визжал:

— Что-о? Как?

Прижав руки к животу, Маремьяна кланялась ему в пояс и просила хриплым от испуга голосом:

— Прости, Христа ради...

Он еще более пугал ее свистящим, тонким визгом, — тогда огромная баба молча, виновато мигала глазами, из них выскакивали мутнозеленые слезинки. Все хохотали, а Маслов, бодая ее головою в живот, ласково говорил:

— Ну, — иди, чучело! Иди, нянька...

И, когда она осторожно уходила, рассказывал, не без гордости:

— Буйвол, а сердце — необыкновенной нежности...

В начале дней нашего знакомства Маремьяна и ко мне относилась добродушно и ласково, как мать, но однажды я сказал ей что-то, порицающее ее рабью покорность Актрисе. Она даже отшатнулась от меня, точно я ее кипятком ошпарил. Зеленые шарики ее глаз налились кровью, побурели, грузно присев на скамью, задыхаясь в злом возмущении, качаясь всем телом, она бормотала:

— Ма-мальчишко, — да ты что это? Это — про него, ты? Эдаким-то словом? Да — я тебя... он тебя... тебя надо на мельнице смолоть! Ты — с ума ли сошел? Он — святе святого, а ты... ты — кто?

И крикнула, неожиданно густо:

— Отравить тебя, волчья душа! Уйди!

Я был опрокинут этим взрывом изумленной злобы и, несмотря на юность мою, почувствовал, что грубо коснулся чего-то поистине священного или очень наболевшего. Но — как я мог догадаться, что эта масса жира и мяса,

размещенная на огромных костях, носит в себе нечто неприкосновенное и столь дорогое для нее? Так учила меня жизнь понимать равноценность людей, уважать тайно живущее в них, учила осторожней, бережливее относиться к ним.

После этого Маремьяна, люто возненавидев меня, возложила на плечи мои множество обязанностей по хозяйству начальника станции. Сменяясь с дежурства, после бессонной ночи, я должен был колоть и таскать дрова на кухню и в комнаты, чистить медную посуду, топить печи, ухаживать за лошадью Петровского и делать еще многое, что поглощало почти половину моего дня, не оставляя времени для книг и для сна. Женщина откровенно грозила мне:

— Затираню до того, что на Кавказ сбежишь!

«Кавказ требует привычки», — вспоминал я изречение Баринова, написал начальству в Борисоглебск прошение, в котором — стихами — изобразил Маремьянино тиранство. Прошение имело успех: вскоре меня перевели на товарную станцию Борисоглебска, поручив мне хранение брезентов, мешков и починку их.

Там я познакомился с обширной группой интеллигентов. Почти все они были «неблагонадежны», изведали тюрьму и ссылку, они много читали, знали иностранные языки, все это — исключенные студенты, семинаристы, статистики, офицер флота, двое офицеров армии.

Эту группу — человек шестьдесят — собрал в городах Волги некто М. Е. Ададуров, делец, предложивший правлению Грязе-Царицынской дороги искоренить силами таких людей невероятное воровство грузов. Они горячо взялись за это дело, разоблачали плутни начальников станций, весовщиков, кондукторов, рабочих и хвастались друг перед другом удачной ловлей воров. Мне казалось, что все они могли бы и должны делать что-то иное, более отвечающее их достоинству, способностям, прошлому, — я тогда еще неясно понимал, что в России запрещено «сеять разумное, доброе, вечное».

Я шел посередине между первобытными людьми города и «культуртрегерами» своеобразного типа, и мне было хорошо видно несоединимое различие этих групп.

Весь город, конечно, знал, что «ададуровцы» — «политики, из тех, которых вешают», и, зорко следя за работой этих людей, ненавидел, боялся их. Жутко было подмечать злые, трусливо-мстительные взгляды обывателей; они ненавидели «ададуровцев» и за страх, как личных врагов своих, и за совесть, как врагов «веры и царя».

Мой знакомый токарь Павел Крюков, сидя со мною в кабаке за бутылкою пива, громко рассуждал:

— Как можно допускать к делу этаких людей? Их надо гнать на необитаемые острова, в Робинзоны их отдать! А — того лучше — перевешать! Два года тому назад вешали их в Питере.

Крюков был человек весьма начитанный, увлекался географией и стихами Жуковского, имел штук двадцать хороших книг и среди них «Процесс 1-го марта». Таинственно давая мне эту книгу, он сказал:

— Вот почитай — каковы они! Берегись, гляди, — ни за грош погубят.

Так рассуждал не один он, разумеется.

Я познакомился с литератором Старостиным-Маненковым — он служил в канцелярии товарного отдела Грязе-Царицынской дороги.

Среднего роста, полный, Старостин напоминал скопца безволосым пухлым лицом и бесцветными мертвыми глазами; тяжелая походка, неуверенные движения усиливали это сходство. Его дряблое тело являлось вместилищем разнообразных болезней, мнительность усиливала и обостряла их. Он непрерывно охал, кряхтел, кашлял и плевал по всем направлениям, в ящик из-под макарон, служивший ему для рваной бумаги, в горшки цветов на подоконниках, в пепельницу и просто на пол, к двери. Понатужится, плюнет, посмотрит на результат и, сокрушенно покачивая лысоватой головой, скажет:

— Плохо!

Вечерами, в своей маленькой комнатке, с кумачными занавесками на окнах, горшками фуксий и гераней на подоконниках, с иконой мучеников Кирика и Улиты в углу, он, сидя за столом, тяжело нагруженным ворохами исписанной бумаги, пил маленькими рюмочками водку, закусывал репчатым луком и жаловался, тонко взвизгивая:

— Глеб Успенский глумится над мужиком, а я пишу кровью сердца! Ты, — читающий человек, — ну скажи мне: где, в чем, какая разница между Успенским и Лейкиным? Однако — его печатают в лучших журналах, а — я...

Рассказы Старостина печатались в провинциальных газетах, но один или два были помещены, кажется, в журнале «Дело»; Старостин любил, чтоб ему напоминали об этом.

Я — напоминал.

— Много ли? — печально, но уже не так жалобно восклицал он. — Много ли это, когда я...

Он сполз со стула на пол, полез на четвереньках под широкую кровать и, вытащив оттуда большой узел, завязанный в серую шаль, хлопнул по узлу ладонью, поднял облако пыли, закричал, задыхаясь:

— Вот — все готово! Соком сердца написано! Да-да! Кр-ровью...

Лицо его багровело, глаза наливались пьяной слезой.

Но однажды, трезвый, он прочитал мне только что написанный им рассказ о мужике, который, во время пожара, спас от гибели в огне любимую лошадь станового пристава, а пристав, за час до этого подвига, выбил герою мужику два зуба за кражу шкворня. Мужик сильно ожегся геройствуя, его отправили в больницу.

Прочитал Старостин эту трогательную историю и радостно заплакал, забормотал восхищенно:

— Как это хорошо, как задушевно написано! Д-да, брат, д-да! Учись, вникай в душу...

Рассказ очень не понравился мне, но — я тоже едва не заплакал, видя радость автора; его искреннее чувство так же искренно волновало и меня.

Но — отчего же плакал этот неприятно смешной человек? Я попросил его дать мне рукопись и дома еще раз прочитал ее. Нет, — рассказ был написан слащаво и нарочито жалобно, как пишутся фальшивые прошения «несчастных страдальцев» добрым и богатым вдовам. А все-таки — чем же вызваны искренние слезы автора и эта детская радость его?

— Не нравится мне рассказ, — сознался я Старостину.

Любовно складывая страницы рукописи, он вздохнул:

— Груб ты! И — непонятлив.

— Что вас трогает в нем?

— Душа! — сердито крикнул он. — Душа в нем сияет!

Покричав на меня, сколько ему нравилось, он выпил водки и внушительно заговорил:

— Учись! Вот — стихи пишешь ты, это глупо. Этого — не надо. Надсоном ты не будешь, у тебя не та закваска, у тебя — сердца нет, ты человек грубый. Помни: на стихах Пушкин погубил свой недюжинный талант. Проза — вот настоящая литература, святая, честная проза!

Он сам служил для меня олицетворением этой святой прозы, а густой чад ее уже и тогда душил меня.

У Старостина была любовница, его квартирная хозяйка, женщина с полупудовыми грудями и задом, который не помещался на стуле. В день ее именин Старостин торжественно поднес ей широкое плетеное кресло, это очень тронуло женщину. Трижды поцеловав возлюбленного в губы, она сказала, обращаясь ко мне:

— Вот, молодой юноша, учитесь у старших, как надо ублажать даму!

Старостин стоял рядом с нею, счастливо улыбался и дергал пальцами свои серые уши, мягкие, как у собаки.

Был яркий день конца марта, на окнах обильно цвели фуксии, в комнату вливался весенний лепет вешних вод, — в комнате стоял густой запах горячего пирога, мыла и табаку.

Юность и малограмотность не мешали мне тревожно чувствовать скрытые в «святой, честной прозе» возможности тяжких и пошлых драм.

Мечтая о каких-то великих подвигах, о ярких радостях жизни, я охранял мешки, брезенты, щиты, шпалы и дрова от расхищения казаками ближайшей станицы. Я читал Гейне и Шекспира, а по ночам, бывало, вдруг вспомнив о действительности, тихонько гниющей вокруг, часами сидел или лежал, ничего не понимая, точно оглушенный ударом палки по голове.

В городе, насквозь пропитанном запахами сала, мыла, гнилого мяса, городской голова приглашал духовенство служить молебны о изгнании чертей из колодца, на дворе у него.

Учитель городского училища порол по субботам в бане свою жену; иногда она вырывалась от него и, нагая, толстая, бегала по саду, он же гонялся за нею с прутьями в руках.

Соседи учителя приглашали знакомых смотреть на этот спектакль сквозь щели забора.

Я тоже ходил смотреть — на публику; подрался с кем-то и едва не попал в полицию. Один из обывателей уговаривал меня:

— Ну, чего ты разгорячился? Ведь на этакую штуку всякому интересно взглянуть! Такой случай и в Москве не покажут.

Железнодорожный конторщик, у которого я нанимал угол за рубль в месяц, искренно убеждал меня, что все евреи не только мошенники, но еще и двуполые. Я спорил с ним, и вот ночью он, в сопровождении жены и ее брата, подошел к моей койке, желая освидетельствовать: не еврей ли я? Нужно было вывихнуть ему руку и разбить лицо его брату, чтобы отвязаться от них.

Кухарка исправника подмешивала в лепешки свою менструальную кровь и кормила ими своего знакомого машиниста, чтобы возбудить у него нежное к ней чувство. Подруга кухарки рассказала машинисту о страшном колдовстве, — бедняга испугался, пришел к доктору и заявил, что у него в животе что-то возится, хрюкает. Доктор высмеял его, а он, придя домой, залез в погреб и там повесился.

Я рассказывал о всех этих и подобных им событиях «ададуровцам», — они относились к ним как к забавным анекдотам и весело хохотали, к моему удивлению.

Рассказывая, я искал объяснения фактов, но не находил объяснения. Повести мои оценивались как смешные или скверные анекдоты, и чаще всего слушатели утешительно говорили мне:

— Не обращайте внимания на этих людей, просто — они с жиру бесятся!

Но я видел, что хотя они живут только для того, чтоб есть, и любовнее всего занимаются накоплением запасов разнообразной пищи, как будто ожидая всемирного голода, однако — это они командуют жизнью, они грязно и тесно лепят ее.

После всего, что я видел, жизнь хороших, умных интеллигентов казалась мне скучной, бесцветной, она тянулась как бы в стороне от полуумной, темной суеты, которая создавала липкий быт бесконечных будней. Чем более внимательно наблюдал я, тем более неловко и тревожно чувствовал себя. Мне казалось, что интеллигенты не сознают своего одиночества в маленьком, грязном городе, где все люди чужды, враждебны им, не хотят ничего знать о Михайловском, Спенсере и нимало не интересуются вопросом о том, насколько значительна роль личности в историческом процессе.

На вечеринках интеллигенты осторожно ухаживали за какими-то серенькими женщинами, две из них — сестры — были удивительно похожи на летучих мышей. Коренастый, колченогий Мазин, бывший офицер флота, увлекаясь Шопенгауэром, красноречиво и восторженно говорил о «метафизике любви», «инстинкте рода», — когда он немножко картаво произносил эти слова, летучие мыши, поджимая ноги, опускали черненькие глазки, плотно кутались в свои крылатые серенькие тальмочки, как будто опасаясь, что слова философа могут обнажить их тела.

И вскоре Мазин получил от брата летучих мышей, крупного чиновника правления дороги, такую записку:

«Если Вы, сударь, не перестанете в присутствии моих сестер разговаривать о метафизиках любви, то я вам, во-первых — морду побью, а во-вторых — подам жалобу на вас Начальнику дороги».

Присматривался я ко всему этому, прислушивался и вспоминал ночи у Петровского, где, обнаженно до глубины своей, разыгрывалась буйная и темная драма инстинкта и, ослепляя разум, показывала безумные, отчаянные игры любви. Полудикие люди, воры и пьяницы возвышались до экстаза, великолепно и умело распевая красивые, сердечные песни своего народа, а «философы», «радикалы», «народники» нескладно пели ноющие, пошленькие стишки: «Не осенний, мелкий дождичек», «Там, где тинный Булак» или:

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать земли вращенье,
Дурак!..

У меня не хватало ни разума, ни воображения, никаких сил, чтоб соединить эти два мира, разъединенные глубокой трещиной взаимного отчуждения.

Вот и в этот час, когда я пишу о том, что было более тридцати лет тому назад, — пишу и ясно вижу пред собою тех и этих людей, я чувствую полное бессилие нарисовать словами фигуры близоруких книжников в очках и пенснэ, в брюках «навыпуск», в разнообразных пиджаках и однообразно пестрых мантиях книжных слов. И это не потому, что одни грубы, угловаты, их легко взять, а другие гладко вылощены утюгами книг, — нет, здесь, на мой взгляд, дана глубокая, почти племенная, во всяком случае — внутренняя разобщенность *.

За окнами, в темноте, разорванной огнями станции, с железным грохотом ползают тяжелые, красноглазые змеи поездов, ходят, качая разными фонарями, шарообразные фигуры смазчиков, кондукторов. Стекла окон опахивает дым, пар, и, когда свистят локомотивы, стекла откликаются тихим, ноющим звуком. Там, в ночи, тяжело идет жизнь, ничем не связанная с буйным радением о красоте, замкнутым в этой комнате.

На одной стороне бессмысленно и безысходно мечется сила инстинкта, на другой — бьется обескрыленной птицей разум, запертый в грязной клетке быта. Я думаю, что ни в одной стране земли творческие силы жизни не оторваны так далеко друг от друга, как это случилось у нас на Руси. Когда я, почти со страхом, рассказывал о ночных радениях у Петровского, я порою чувствовал скрытую зависть людей «культуры» к радостям жизни дикарей, и нередко мне казалось, что утехи Петровского осуждаются не по существу, а — внешне, формально, из чувства «приличия».

Только П. Е. Баженов сказал, глубоко вздыхая:

— Ф-фа! Как это жутко!

---

* Тревожное ощущение духовной оторванности интеллигенции — как разумного начала — от народной стихии всю жизнь более или менее настойчиво преследовало меня. В литературной работе моей я неоднократно касался этой темы, ею вызваны рассказы «Мой спутник» и другие. Постепенно это ощущение перерождалось в предчувствие катастрофы. В 1905 году, сидя в Петропавловской крепости, я пытался разработать эту же тему в неудачной пьесе «Дети солнца». Если разрыв воли и разума является тяжкой драмой жизни индивидуума, — в жизни народа этот разрыв — трагедия.

И, подумав, покусав бороду, добавил:

— Я бы среди них пропал, как бык в трясине. Чем сильнее движения — тем скорее засасывает трясина. Да. Я понимаю, что влечет к ним таких, как вы, — мы живем пресной жизнью, не празднично и мелко. А там — почти эпос, эпическая жизнь. Знаете — этот Петровский давно уже под судом, но — у него есть «сильная рука» в правлении. Недавно у него был обыск по новому делу: кража чая из вагона. Он вынул из стола бумагу и сказал, подавая ее следователю: «Здесь честно записано все, что я украл».

Нахмурясь, Баженов задумчиво прикрыл глаза, закинул руки свои за шею, помолчал, потом усмехнулся, говоря:

— Честно — украл. Только русский человек может сказать так, уверяю вас! Мы, кажется, и в самом деле призваны соединять несоединимое. Страшно веселимся, жестоко любим... И так далее, в этом духе...

Встав со стула, он потянулся, широко развел руки и заключил:

— А все-таки — хороший народ мы, русские! Оттого, должно быть, и несчастны сверх меры...

Баженов был один из немногих людей, которые вызывали у меня чувство глубокой симпатии и сердечного уважения. Томский семинарист, он, после долгих хлопот, поступил в киевский университет, но со второго курса его исключили за «неблагонадежность», и несколько месяцев он сидел в тюрьме. Волосатый, похожий на переодетого священника, он двигался с осторожностью силача, и это придавало его крепкой, высокой фигуре барственную важность, необычную в семинаристе. Обладал необыкновенно мягким голосом, но не имел слуха и относился к музыке почти враждебно, говоря:

— Она зовет в хаос.

С его широкого, рябого лица в темной окладистой бороде смотрели ласково прищуренные, серые глаза. Что-то снисходительно умное чувствовал я в его отношении ко мне и ко всем людям. Он хорошо рассказывал мне историю развития христианства, увлекательно говорил о сектах первых веков, помогал мне читать «Историю индуктивных наук» Уэвелля. Беседуя, он бесшумно и легко расхаживал по комнате, засунув руки в карманы брюк, и,

подняв брови, резко кивал головою, — единственный жест, которым он подчеркивал наиболее значительные места своей речи. Но порою, среди фразы, не кончив ее, он задумывался, прикусив губами волосы бороды, почесывая мизинцем высокий, изрытый оспой лоб, и долго стоял безмолвно. Эти моменты всегда почему-то смутно тревожили меня. Однажды я спросил: о чем он думает?

— Страшно много разума истрачено бесполезно, страшно много! — тихо сказал он. — И — какого разума!

Он часто и убедительно говорил о красоте и силе мысли:

— В конце концов, батя мой, все решает разум, — он именно и есть тот рычаг, который, со временем, перевернет весь мир.

— А — точка опоры? — спросил я.

— Народ, — убежденно ответил он, тряхнув головою. — В частности — вы, ваш мозг!

Я очень любил его, сердечно верил ему.

Тихим вечером, лежа с ним в степи, я рассказал ему, как говорил полицейский Никифорыч о жалости и толстовец о евангелии и Дарвине.

Внимательно и молча выслушав меня, он ответил:

— Дарвин — это та истина, которую я не люблю, как не любил бы ад, будь он истиной. Но, видите ли, батя мой, — чем меньше трения в частях машины, тем лучше она работает. В жизни — наоборот: чем сильнее трение, тем быстрее идет жизнь к своей цели, к большей разумности. Разумность же — это и есть справедливость, гармония интересов. Рассуждая последовательно — необходимо признать борьбу благим законом жизни. И тут ваш полицейский прав: если жизнь — борьба, жалость — неуместна.

Он задумался, лежа на спине, глядя в небо широко открытыми глазами.

Солнце, опустясь в облако, раскалило его и расплавилось в нем, превратясь в огромный костер красного огня, красные лучи легли на степь, на седые стебли прошлогодних былинок брызнуло розоватой росою. Запахи весенних трав и цветов стали сильнее, пьяней.

Баженов вдруг сел, закурил папиросу, но тотчас же отбросил ее, хмуро говоря:

— Я думаю, что гуманизм уже опоздал войти в жизнь, — опоздал тысячи иа две лет. Ну, мне иадо идти в город, — идете?

В конце мая меия перевели весовщиком на станцию Крутую Волго-Доиской ветки, а в июне я получил из Борисоглебска от приятеля переплетчика письмо, в котором переплетчик извещал меня, что Бажеиов застрелился в поле, у кладбища. В письме была вложена записка Бажеиова:

«Миша, продай мои вещи и заплати хозяевам квартиры 7 р. 30 к. А книги Уэвелля переплети и пошли на Крутую, Пешкову, Максимычу, «башке». Спенсера — тоже ему. Остальные — тебе. Пачку книг на латииском и греческом пошли в Киев, адрес вложен в иих. Прощай, друг. Б.».

Прочитав записку, я испытал оглушающий удар в сердце. Трудно было помириться с уходом из жизни такого, казалось, крепкого духом, трезвого человека.

Что убило его?

Мне вспоминалось, что однажды, в трактире, угощая меия пивом и иемного захмелев, он вдруг сказал мие:

— Знаете, Максимыч, какая самая лучшая песня в этом мире?

Наклонился через стол и, глядя в глаза мие глазами доброго медведя, тихонько, мягким баском, пропел печальио:

Quand j'étais petit —
Je n'étais pas grand,
J'allais à l'école
Comme les petits enfants... *

Пропел, и — глаза его стали влажными.

— Прелестная песеика, честное слово! Такая простота в ией и, знаете, такая смешная печаль...

Он перевел слова песии на русский язык, я ие понял, чем восхищается в ней, почти до слез, этот волосатый, большой, умный человек...

---

* Когда я был маленьким —
Я не был большим,
Я ходил в школу,
Как маленькие дети *(франц.)*. — *Ред.*

После — я видел немало людей, убитых «смешной печалью».

...Через несколько месяцев жизнь, сурово, но заботливо воспитывая меня, напомнила мне о Петровском, заставив испытать одно из наиболее тяжких впечатлений бытия моего.

В Москве, в грязном трактире, где-то около Сухаревой башни, за стол против меня сел длинный, тощий человек в очках; его костлявое лицо, остренькая бородка, жидкие — в стрелку — усы напомнили мне дон-Кихота рисунков Дорэ. На нем висел синий пиджак, явно чужой; нанковые серые штаны с заплатами на коленях были смешно коротки; на одной ноге — резиновая галоша, на другой — кожаный опорок сапога. Покручивая кончики усов, острые, как шилья, он голодно осмотрел меня мутными глазами, встал, прилепив очки к седым бровям, и, пошатываясь, разводя руками как слепой, подошел ко мне:

— Присяжный поверенный Гладков!

Грязными пальцами расписался с росчерком в воздухе и повторил внушительно:

— Алексей Гладков!

Говоря хрипло, он вертел шеей, точно его душила петля, невидимая мне.

Конечно, он оказался человеком благороднейшего сердца, пострадал за бескорыстное служение правде и низвергнут врагами ее «на дно жизни». Ныне он стоит во главе ордена «Преподобной Аквавиты», занимается перепиской ролей для театров, защитою угнетенных невинностей, а также «стрельбою по сердцам и карманам нищелюбивых купчих».

— Россиянин — а баба его особенно! — любит страдать: страдание — или рассказ о нем — суть духовная горчица, без коей ничто не лезет в сердце, ожиревшее от разнообразной и обильной пищи телесной.

Я уже немало наблюдал людей этого типа, привык относиться к ним недоверчиво, но — всегда с напряженным интересом; в человеке, который упрямо лезет куда-то вверх, вполне разумен интерес к людям, свалившимся оттуда. А затем так называемые «павшие люди», темные грешники, часто бывают духовно богаче и даже красивее признанных праведников, у которых я еще в юности моей

замечал нечто общее с восковыми фигурами паноптикумов.

Часа через два я лежал рядом с Гладковым на нарах мрачной ночлежки. Закинув руки под голову, вытянув жердеподобное тело свое, адвокат утешал меня афоризмами волчьей злости, бородка его торчала чортовым хвостиком, вздрагивая, когда он кашлял; был он трогательно жалок в бессильной злобе своей и весь, как еж, украсился иглами едких слов.

Над нами висел сводчатый потолок подвала, по стене текла рыжая, пахучая мокреть, с пола вздымался кислый запах гниющей земли, в сумраке бредили и храпели тела, окутанные лохмотьями. Окно, с толстой железной решеткой, смотрело в яму, выложенную кирпичом, в яме сидел кот; должно быть, больной, он страдальчески мяукал. На нарах, под окном, сидел по-турецки уродливо толстый волосатый человечище, чинил штаны при свете огарка и хрипуче гудел:

Взбранной воеводе победительная,
Но яко избавльшеся от бед,
Благодарственная восписуем ти
Раби твои, богородице!

Споет, звучно шлепнет толстыми губами и — начинает тянуть сначала тот же гимн.

— Пимен Маслов — химик, гениальный человек, — сказал о нем Гладков.

В этой яме валялось еще несколько гениальных людей, между ними «знаменитейший» пианист Брагин, маленький и ловкий, точно юноша, а в густой шапке волнистых его волос — седые пряди и под глазами — синие мешки. Меня поразила двойственность его лица: печальной красоте женских глаз непримиримо противоречила кривая усмешка, губы у него были тонкие, злая усмешка эта казалась приклеенной к ним неподвижно, навсегда.

Утром Гладков сказал мне:

— Сейчас мы будем посвящать в кавалеры «Аквавиты» новообращенного, вот — этого! Погляди, церемония замечательная.

Он указал мне молодого, кудрявого человека в одной рубахе без штанов; человек был давно и досиня пьян,

голубые зрачки его глаз бессмысленно застыли в кровавой сетке белков. Он сидел на нарах, перед ним стоял толстый химик, раскрашивая щеки его фуксином, брови и усы — жженой пробкой.

— Не надо, — бормотал кудрявый, болтая голыми ногами, а Гладков говорил мне, закручивая усы:

— Купеческий сын, студиозус, пятую неделю пьет с нами. Все пропил — деньги, одежду...

Явилась круглая, жирная баба с провалившейся или перебитой переносицей и наглыми глазами; она принесла сверток рогож и бросила его на нары, сказав:

— Облачение — готово.

— Одеваться! — крикнул Гладков.

Пятеро угрюмых людей призрачно двигались в темноте подвала, серые, лохматые; «пианист» старательно раздувал угли в кастрюле. Люди изредка, ворчливо перекидывались краткими словами:

— Двигай...

— Тише!

— Стой, куда?

Выдвинули нару на середину подвала. Маслов напялил на себя ризу из рогожи, надел картонную камилавку, а Гладков облачился дьяконом.

Четверо людей схватили кудрявого студента за ноги и за руки.

— Не надо — пожалуйста! — вздохнул он, когда его уложили на нару.

— Хор готов? — крикнул адвокат, размахивая кастрюлей и окуривая лежащего; в ней трещали угли, из нее поднимался синий дым тлеющих листьев веника, человек, лежа на нарах, морщился, кашлял, закрыв глаза, сучил ногами, как муха, стуча пятками по доскам.

— Вонме-ем! — возгласил Гладков; одетый в рогожи, он стал карикатурно страшен; как-то особенно резко крутил шеей, вздергивал голову и кривил лицо.

Маслов, стоя в ногах студента, гнусовато, нараспев заговорил:

— Братие! Возопиим ко диаволу о упокоении свежепогибшего во пьянстве и распутстве вавилонстем болярина Иакова, да примет его сатана с честию и радостию и да погрузит в мерзость адову во веки веко-ов!

Пятеро лохматых оборванцев, тесной грудой стоя с правой стороны нар, мрачно запели кощунственную песнь; хриплые голоса звучали в каменной яме глухо, подземно. Роль регента исполнял Брагин, красиво дирижируя правой рукой, предостерегающе подняв левую.

Трудно было удивить меня бесстыдством, — слишком много видел я его в разных формах. Но эти люди пели нечто невыразимо мерзкое, обнаружив сочетанием бесстыдных слов и образов поистине дьяволову фантазию, безграничную извращенность. Ни прежде, ни после этого, до сего дня, я не слышал ничего извращенного более утонченно и отчаянно. Пять глоток изливали на человека поток ядовитой грязи, они делали это без увлечения, а как нечто обязательное, они не забавлялись, а — служили, и ясно было: служат не впервые, церемония уничтожения человека развивалась гладко, связно, торжественно, как в церкви.

Подавленный, я слушал все более затейливо гнусные возгласы Гладкова, циническое чтение «химика», глухой рев хора и смотрел на человека, которого заживо отпевали, служа над ним кощунственную литургию.

Сложив руки на груди, он шевелил губами, неслышно бормотал и кричал что-то, моргал вытаращенными глазами, глупо улыбался и вдруг испуганно вздрагивал, пытаясь соскочить с нар, — хористы молча прижимали его к доскам.

Вероятно, «церемония» показалась бы менее отвратительной, если бы грязные призраки смотрели на нее как на забаву, игру, если бы они смеялись, хотя бы смехом циников, смехом отчаяния «бывших людей», изуродованных жизнью, горько обиженных ею. Но они относились к своему делу с угрюмой напряженностью убийц, они вели себя, как жрецы, принося жертву духу болезненно и мстительно разнузданного воображения.

Обессиленный, онемев, я чувствовал, что страшная тяжесть давит меня, погружая в невылазную трясину, что эти призрачные люди отпевают, хоронят и меня. Помню, что я глупо и растерянно улыбался, и был момент, когда я хотел просить:

«Перестаньте, это нехорошо, это — страшно и вовсе не шутка!»

Особенно резал ухо и сердце тонкий голос «пианиста»; пианист надорванно выл, закрыв глаза, закинув голову, выгнув кадык; его вой, покрывая хриплые голоса других певцов, плавал в дымном сумраке и как-то особенно сладострастно обнажал мерзость слов. Меня мучило звериное желание завыть, зарычать.

— Могила! — крикнул Гладков, взмахивая кадилом-кастрюлей.

Хор во всю силу грянул:

Гряди, гряди,
Гроб, гроб...

и — вошла баба с перебитым носом, совершенно голая, она шла приплясывая, ее дряблое тело вздрагивало, груди кошелями опускались на живот, живот свисал жирным мешком на толстые ноги в лиловых пятнах шрамов и язв, в синих узлах вен.

Маслов встретил ее непристойным жестом, дьякон Гладков повторил этот жест, баба, взвизгивая гадости, приложилась к ним поочередно; хористы подняли ее за руки, за ноги и положили на нару рядом с отпетым.

— О-о, не надо! — крикнул он визгливо, попытался спустить ноги с нар, но его прижали к доскам, и под новый, почти плясовой, а все-таки мрачный мотив отвратительной песенки, баба, наклонясь над ним, встряхивая грязно-серыми кошелями грудей, начала мастурбировать его.

Тут я вспомнил Королеву Марго — лучшее видение всей жизни моей, — в груди жарко взорвалось что-то, я бросился на эти остатки людей и стал бить их по мордам.

...К вечеру я нашел себя под насыпью железнодорожного пути, на груде шпал, пальцы рук моих были разбиты, сочились кровью, левый глаз закрыла опухоль. С неба, грязного, как земля, сыпался осенний дождь, я срывал пучки мокрой жухлой травы и, вытирая ею лицо, руки, думал о том, что было показано мне.

Я был здоров, обладал недюжинной силой, мог девять раз, не спеша, истово перекреститься двухпудовой гирей, легко носил по два пятипудовых мешка муки, но — в этот час я чувствовал себя совершенно обездушенным, бессильным, как больной ребенок. Мне хотелось плакать

от горькой обиды. Я жадно искал причаститься той красоте жизни, которой так соблазнительно дышат книги, хотел радостно полюбоваться чем-то, что укрепило бы меня. Уже наступило для меня время испытать радости жизни, ибо все чаще я ощущал приливы и толчки злобы, — темной, жаркой волною она поднималась в груди, ослепляя разум, сила ее превращала острое мое внимание к людям в брезгливое, тяжелое презрение к ним.

Было мучительно обидно, — почему я встречаю так много грязного и жалкого, тяжко глупого или странного?

Было страшно вспоминать «церемонию» в ночлежке, сверлил ухо крик Гладкова:

«Могила!»

И расплывалось перед глазами отвратительное тело бабы, — куча злой и похотливой мерзости, в которую хотели зарыть живого человека.

И тут, вспомнив разнузданность «монашьей жизни» Петровского, я почувствовал, как невинно бешенство плоти здоровых людей сравнительно с безумием гнили, не утратившей внешний облик человека.

Там было некое идолопоклонство красоте; там полудикие люди молились от избытка сил, считая этот избыток грехом и карою, может быть, бунтуя, в призрачной надежде на свободу, боясь «погубить душу» в ненасытной жажде тела.

Здесь — бессилие поникло до мрачного отчаяния, до гнуснейшего, мстительного осмеяния того инстинкта, который непрерывно, победоносно засевает опустошаемые смертью поля жизни и является возбудителем всей красоты мира; здесь свински подрывали самый корень жизни, отравляя гноем больного воображения таинственно прекрасные истоки ее.

Но — что же это за жизнь там, наверху, откуда люди падают так страшно низко?

О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

...Тогда же судьба, в целях воспитания моего, заставила меня пережить трагикомические волнения первой любви.

Компания знакомых собралась кататься в лодках по Оке, мне поручили пригласить на прогулку супругов К.; они недавно приехали из Франции, но я еще не был знаком с ними. Я пошел к ним вечером.

Жили они в подвале старого дома; против него, не просыхая всю весну и почти все лето, распростерлась во всю ширину улицы грязная лужа; вороны и собаки пользовались ею как зеркалом, свиньи брали в ней ванны.

Находясь в состоянии некоторой задумчивости, я ввалился в квартиру незнакомых мне людей, подобно камню, скатившемуся с горы, и — вызвал странное смятение обитателей ее. Предо мною, заткнув дверь в следующую комнату, сумрачно встал толстенький, среднего роста человек, с русой окладистой бородой и добрым взглядом голубых глаз.

Оправляя костюм, он неласково спросил:

— Что вам угодно?

И поучительно добавил:

— Раньше, чем войти, — нужно стучать в дверь!

За его спиною, в сумраке комнаты, металось и трепетало что-то похожее на большую белую птицу, и прозвучал звонкий, веселый голос:

— Особенно, — если входите к женатым людям...

Я сердито спросил: те ли они люди, кого мне нужно? И когда человек, похожий на благополучного лавочника, ответил утвердительно, — объяснил ему, зачем я пришел.

— Вас прислал Кларк, говорите? — солидно и задумчиво поглаживая бороду, осведомился мужчина и в ту же минуту вздрогнул, повернулся волчком, болезненно восклицая:

— Ой, Ольга!

По судорожному движению его руки мне показалось, что его ущипнули за ту часть тела, о которой не принято говорить, — очевидно потому, что она помещается несколько ниже поясницы.

Держась за косяки, на его место встала стройная девушка, с улыбкой рассматривая меня синеватыми глазами:

— Вы — кто? Полицейский?

— Нет, это только штаны, — вежливо ответил я, а она — засмеялась.

Не обидно, ибо в глазах ее сияла именно та улыбка, которую я давно ожидал. Видимо, смех ее был вызван моим костюмом; на мне были синие шаровары городового, а вместо рубахи я носил белую куртку повара; это очень практичная вещь: она ловко играет роль пиджака и, застегиваясь на крючки до горла, не требует рубашки. Чужие, охотничьи сапоги и широкая шляпа итальянского бандита великолепно завершали мой костюм.

Втащив меня за руку в комнату, толкнув к стулу, она спросила, стоя предо мной:

— Почему вы так смешно одеты?

— Почему — смешно?

— Не сердитесь, — дружески посоветовала она.

Очень странная девушка, — кто может сердиться на нее?

Бородатый мужчина, сидя на кровати, свертывал папиросу. Я спросил, указав глазами на него:

— Это — отец или брат?

— Муж! — убежденно ответил он.

— А — что? — смеясь, спросила она.

Подумав, рассматривая ее, я сказал:

— Извините!

В таком лаконическом тоне беседа продолжалась минут пять, но я чувствовал себя способным неподвижно

сидеть в этом подвале пять часов, дней, лет, глядя на узкое, овальное личико дамы и в ее ласковые глаза. Нижняя губа маленького рта ее была толще верхней, точно припухла; густые волосы каштанового цвета коротко обрезаны и лежат на голове пышной шапкой, осыпая локонами розовые уши и нежно румяные девичьи щеки. Очень красивы руки ее, — когда она стояла в двери, держась за косяки, я видел их голыми до плеча. Одета она как-то особенно просто в белую кофточку с широкими рукавами в кружевах и в белую же, ловко сшитую юбку. Но самое замечательное в ней — ее синеватые глаза: они лучатся так весело, ласково, с таким дружеским любопытством. И — это несомненно! — она улыбается той самой улыбкой, которая совершенно необходима сердцу человека двадцати лет от роду, — сердцу, обиженному грубостью жизни.

— Сейчас хлынет дождь, — сообщил ее муж, окуривая бороду свою дымом папиросы.

Я взглянул в окно: на безоблачном небе разгорались звезды. Тогда я понял, что мешаю этому человеку, и ушел в настроении тихой радости, как после встречи с тем, чего давно уже и тайно от себя искал.

Всю ночь ходил по полю, бережно любуясь ласковым сиянием синеватых глаз, и на рассвете был непоколебимо убежден, что эта маленькая дама — совершенно неподходящая супруга для бородатого увальня с добрыми глазами сытого кота. Мне даже жалко стало ее — бедная! Жить с человеком, у которого в бороде прячутся хлебные крошки...

А на другой день мы катались по мутной Оке, под крутым берегом из широких пластов разноцветных мергелей. День был самый лучший от сотворения мира, изумительно сверкало солнце в празднично ярком небе, над рекою носился запах созревшей земляники, все люди вспомнили, что они действительно прекрасные люди, и это насытило меня веселой любовью к ним. Даже муж дамы моего сердца оказался замечательным человеком: он сел не в ту лодку, где сидела его жена и где я был гребцом, весь день он вел себя идеально умно — сначала рассказал всем страшно много интересного о старике Гладстоне, а потом выпил крынку превосходного молока,

лег под куст и вплоть до вечера спал спокойным сном ребенка.

Разумеется, наша лодка приехала первой на место пикника, и, когда я на руках выносил мою даму с лодки, она сказала:

— Какой вы силач!

Я чувствовал себя в состоянии опрокинуть любую колокольню города и сообщил даме, что могу нести ее на руках до города — семь верст *. Она тихонько засмеялась, обласкав меня взглядом, весь день передо мною сияли ее глаза, и, конечно, я убедился, что они сияют только для меня.

Дальше все пошло с быстротой, вполне естественной для женщины, которая впервые встретила невиданного ею, интересного зверя, и для здорового юноши, которому необходима ласка женщины.

Вскоре я узнал, что она, несмотря на свою внешность девушки, старше меня на десять лет, воспитывалась в белостокском институте «благородных девиц», была невестой коменданта Зимнего дворца, жила в Париже, училась живописи и выучилась акушерству. Далее оказалось, что ее мать тоже акушерка и принимала меня в час моего рождения, — в этом факте я усмотрел некое предопределение и страшно обрадовался.

Знакомство с богемой и эмигрантами, связь с одним из них, затем полукочевая, полуголодная жизнь в подвалах и на чердаках Парижа, Петербурга, Вены — все это сделало институтку человеком забавно спутанным, наредкость интересным. Легкая, бойкая, точно синица, она смотрела на жизнь и людей с острым любопытством умного подростка, задорно распевала французские песенки, красиво курила папиросы, искусно рисовала, недурно играла на сцене, умела ловко шить платья, делать шляпы. Акушерством она не занималась.

— У меня было четыре случая практики, но — они дали семьдесят пять процентов смертности, — говорила она.

Это оттолкнуло ее навсегда от косвенной помощи делу умножения людей, о ее прямом участии в этом почтенном

* Вероятно — не донес бы.

деле свидетельствовала дочь ее — милый и красивый ребенок лет четырех. О себе она рассказывала тем тоном, каким говорят о человеке, когда его хорошо знают и он уже достаточно надоел. Но иногда она как будто удивлялась, говоря о себе, ее глаза красиво темнели, и светилась в них — мелькала — легкая улыбка смущения; так улыбаются сконфуженные дети.

Я хорошо чувствовал ее острый, цепкий ум, понимал, что она культурно выше меня, видел ее добросердечно снисходительное отношение к людям; она была несравненно интереснее всех знакомых барышень и дам, небрежный тон ее рассказов удивлял меня, и мне казалось: этот человек, зная все, что знают мои революционно настроенные знакомые, знает что-то сверх этого, что-то более ценное, но — она смотрит на все издали, со стороны, наблюдая, с улыбкой взрослого, пережитые им милые, хотя порою опасные забавы детей.

Подвал, в котором она жила, делился на две комнаты: маленькую кухню, она же служила и прихожей, и большую комнату в три окна на улицу, два — на сорный, грязный двор. Это было удобное помещение для мастерской сапожника, но не для изящной женщины, которая жила в Париже, в священном городе Великой революции, в городе Мольера, Бомарше, Гюго и других ярких людей. Было еще много несоответствий картины с рамой, все они жестоко раздражали меня, вызывая — кроме прочих чувств — сострадание к женщине. Но сама она как бы не замечала ничего, что, на мой взгляд, должно было оскорблять ее.

С утра до вечера она работала, утром — за кухарку и горничную, потом садилась за большой стол под окнами, весь день рисовала карандашом, с фотографий, портреты обывателей, чертила карты, раскрашивала картограммы, помогала составлять мужу земские сборники по статистике. Из открытого окна на голову ей и на стол сыпалась пыль улицы, по бумагам скользили толстые тени ног прохожих. Работая, она пела, а утомясь сидеть — вальсировала со стулом или играла с девочкой и, несмотря на обилие грязной работы, всегда была чистоплотна, точно кошка.

Ее супруг был благодушен и ленив. Он любил читать, лежа в постели, переводные романы, особенно — Дюма-

отца. «Это освежает клетки мозга», — говорил он. Ему нравилось рассматривать жизнь «с точки зрения строго научной». Обед он называл «приемом пищи», а пообедав, говорил:

— Подвоз пищевой кашицы из желудка клеткам организма требует абсолютного покоя.

И, забыв вытряхнуть крошки хлеба из бороды, ложился в постель, несколько минут углубленно читал Дюма или Ксавье де-Монтепена, а потом, часа два, лирически посвистывал носом, светлые мягкие усы его тихо шевелились, как будто в них ползало нечто невидимое. Проснувшись, он долго и задумчиво смотрел на трещины потолка и — вдруг вспоминал:

— А ведь Кузьма неправильно истолковал вчера мысль Парнеля!

И шел уличать Кузьму, говоря жене:

— Ты, пожалуйста, доконча за меня подсчет безлошадных Майданской волости. Я — скоро!

Возвращался он около полуночи, иногда — позднее, очень довольный.

— Ну, знаешь, доконал я сегодня Кузьму! У него, шельмеца, память на цитаты очень развита, но я ему и в этом не уступлю. Между прочим, — он совершенно не понимает восточной политики Гладстона, чудак!

Он постоянно говорил о Бинэ, Рише и гигиене мозга, а в дурную погоду, оставаясь дома, занимался воспитанием девочки его жены, — ребенка, случайно родившегося где-то на пути между двумя романами.

— Леля, когда ты кушаешь, нужно тщательно жевать, это облегчает пищеварение, помогая желудку быстрее претворить пищевую кашицу в удобоусвояемый конгломерат химических веществ.

После же обеда, приведя себя «в состояние абсолютного покоя», укладывал ребенка на постель и рассказывал ему:

— Итак, когда кровожадный честолюбец Бонапарте узурпировал власть...

Жена его судорожно, до слез хохотала, слушая эти лекции, но он не сердился на нее, не имея для этого времени, ибо скоро засыпал. Девочка, поиграв его шелковой бородою, тоже засыпала, свернувшись комочком. Я очень

подружился с нею, она слушала мои рассказы с бо́льшим интересом, чем лекции Болеслава о кровожадном узурпаторе и печальной любви к нему Жозефины Богарнэ; это возбудило у Болеслава забавное чувство ревности.

— Я — протестую, Пешков! Сначала ребенку необходимо внушить основные принципы отношения к действительности, потом уже знакомить с нею. Если б вы знали английский язык и могли прочитать «Гигиену души ребенка»...

Он знал по-английски, кажется, только два слова: гуд бай *.

Он был вдвое старше меня, но обладал любопытством юного пуделя, любил посплетничать и показать себя человеком, которому хорошо известны все тайны не только русских, но и зарубежных революционных кружков. Впрочем, возможно, что он и на самом деле был осведомлен, к нему нередко приезжали таинственные люди, они все держались, как актеры-трагики, которым случайно пришлось играть роли простаков. У него я видал нелегального Сабунаева в рыжем, неумело надетом парике, в пестром костюме, который был смешно узок и короток ему.

А однажды, придя к Болеславу, я увидел у него юркого человека с маленькой головкой, очень похожего на парикмахера, он был одет в клетчатые брючки, серенький пиджачок и скрипучие ботинки. Вытеснив меня в кухню, Болеслав шопотом сказал:

— Это — человек из Парижа, с важным поручением, ему необходимо видеть Короленко, так вы идите, устройте это...

Я пошел, — но оказалось, что Короленко показали приезжего на улице, и В. Г. проницательно заявил:

— Нет, пожалуйста, не знакомьте меня с этим хлыщом!

Болеслав обиделся за парижанина и «дело революции», два дня сочинял письмо Короленко, испробовал все стили, от гневного и сурового до ласково укоряющего, и потом сжег образцы эпистолярной литературы своей на шестке печи. Вскоре начались аресты в Москве, Нижнем, Владимире, и оказалось, что человек в клетчатых

* До свидания.— *Ред.*

брючках — знаменитый впоследствии Ландезен-Гартинг, первый — по порядку — провокатор, которого я видел.

А за всем этим муж возлюбленной моей был добрый малый, несколько сентиментальный и комически обремененный «научным багажом». Он так и говорил:

— Смысл жизни интеллигента — непрерывное накопление научного багажа в целях бескорыстного распределения его в толщах народной массы...

Моя любовь, углубляясь, превращалась в страдание. Сидел я в подвале, глядя, как, согнувшись над столом, работает дама моего сердца, и мрачно пьянел от желания взять ее на руки, унести куда-то из проклятого подвала, загроможденного широкой двуспальной кроватью, старинным тяжелым диваном, где спала девочка, столами, на которых лежали груды пыльных книг и бумаг. Мимо окон нелепо мелькают чьи-то ноги, иногда в окно заглядывала морда бездомной собаки; душно, с улицы льется запах грязи, нагретой солнцем. Маленькая девичья фигурка, тихонько напевая, скрипит карандашом или пером, мне ласково улыбаются милые васильковые глаза. Я люблю эту женщину до бреда, до безумия и жалею ее до злобной тоски.

— Расскажите еще что-нибудь про себя, — предлагает она.

Рассказываю, но через несколько минут она говорит:

— Это вы не про себя говорите!

Я и сам понимаю, что все, о чем я говорил, еще — не я, а нечто, в чем я слепо заплутался. Мне нужно найти себя в пестрой путанице впечатлений и приключений, пережитых мною, но я не умел и боялся сделать это. Кто и что — я? Меня очень смущал этот вопрос. Я был зол на жизнь, — она уже внушила мне унизительную глупость попытки самоубийства. Я не понимал людей, их жизнь казалась мне неоправданной, глупой, грязной. Во мне бродило изощренное любопытство человека, которому зачем-то необходимо заглянуть во все темные уголки бытия, в глубину всех тайн жизни, и порою я чувствовал себя способным на преступление из любопытства, — готов был

убить, только для того, чтобы знать: что же будет со мною потом?

Мне казалось, что, если я найду себя, — пред женщиной сердца моего встанет человек отвратительный, запутанный густой, крепкой сетью каких-то странных чувств и мыслей; бредовой, кошмарный человек, он испугает ее и оттолкнет. Мне нужно было что-то сделать с собою. Я был уверен, что именно эта женщина способна помочь мне не только почувствовать настоящего себя, но она может сделать нечто волшебное, после чего я тотчас освобожусь из плена темных впечатлений бытия, что-то навсегда выброшу из своей души и она вспыхнет огнем великой силы, великой радости.

И небрежный тон, которым она говорила о себе, и ее снисходительное отношение к людям внушило мне уверенность, что этот человек знает необыкновенное. У нее есть свой ключ ко всем загадкам жизни, от этого она всегда веселая, всегда уверена в себе. Может быть, я любил ее всего больше за то, чего не понимал в ней, но я любил ее со всей силой и страстью юности. Мучительно трудно было мне сдерживать эту страсть, — она уже физически сжигала и обессиливала меня. Для меня было бы лучше, будь я проще, грубее, но — я верил, что отношения к женщине не ограничиваются тем актом физиологического слияния, который я знал в его нищенски грубой, животно простой форме, — этот акт внушал мне почти отвращение, несмотря на то, что я был сильный, довольно чувственный юноша и обладал легко возбудимым воображением.

Не понимаю, как могла сложиться и жить во мне эта романтическая мечта, но я был непоколебимо уверен, что за тем, что известно мне, есть нечто неведомое и в нем скрыт высокий, тайный смысл общения с женщиной, что-то великое, радостное и даже страшное таится за первым объятием, — испытав эту радость, человек совершенно перерождается.

Мне кажется, я вынес эти фантазии не из романов, прочитанных мной, но воспитал и развил их из чувства противоречия действительности, ибо:

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться».

Кроме этого, у меня было странное, смутное воспоминание: где-то, за пределами действительного и когда-то

в раннем детстве, я испытал некий сильный взрыв души, сладостный трепет ощущения, вернее — предчувствия гармонии, пережил радость, светлейшую солнца на утре, на восходе его. Может быть, это было еще в те дни, когда я жил во чреве матери, и это счастливый взрыв ее нервной энергии передался мне жарким толчком, который создал душу мою и впервые зажег ее к жизни, может быть, это потрясающий момент счастья матери моей отразился во мне на всю мою жизнь трепетным ожиданьем необыкновенного от женщины.

Когда не знаешь — выдумываешь. И самое умное, чего достиг человек, — это уменье любить женщину, поклоняться ее красоте; от любви к женщине родилось все прекрасное на земле.

Однажды, купаясь, я прыгнул с кормы баржи в воду, ударился грудью о наякорник, зацепился ногою за канат, повис в воде вниз головой и захлебнулся. Ломовой извозчик вытащил меня, откачали, изорвав мне всю кожу, у меня пошла кровь горлом, и я должен был лечь в постель, глотая лед.

Ко мне пришла моя дама, села на койку и, расспрашивая, как все это случилось со мною, стала гладить мне голову легкой милой рукой, а глаза ее, потемнев, смотрели тревожно.

Я спросил: видит ли она, что я люблю ее?

— Да, — сказала она, улыбаясь осторожно, — вижу, и это очень плохо, хотя я тоже полюбила вас.

Разумеется, после ее слов вся земля вздрогнула, и деревья в саду закружились веселым хороводом. Я онемел от неожиданности, изумления и восторга, ткнулся головою в колени ей и если бы не обнял ее крепко, то наверное вылетел бы в окно, как мыльный пузырь.

— Не двигайтесь, это вредно вам! — строго заметила она, пытаясь переложить мою голову на подушку. — И — не волнуйтесь, а то — я уйду! Вы вообще очень безумный господин, я не думала, что такие бывают. О наших чувствах и отношениях мы поговорим, когда вы встанете на ноги.

Все это она говорила очень спокойно и невыразимо ласково улыбалась потемневшими глазами. Она скоро ушла, оставив меня в радужном огне надежд, в счастливой уверенности, что теперь, с ее доброй помощью, я окрыленно вознесусь в сферу иных чувств и мыслей.

Через несколько дней я сидел в поле на краю оврага; внизу, в кустарнике, шелестел ветер. Серое небо грозило дождем. Деловито, серыми словами, женщина говорила о разнице наших лет, о том, что мне нужно учиться и что преждевременно для меня вешать на шею себе жену с ребенком. Все это было угнетающе верно, говорилось тоном матери и еще более возбуждало любовь, уважение к милой женщине. Мне было грустно и сладко слушать ее голос, нежные ее слова, — впервые со мною говорили так.

Я смотрел в пасть оврага, где кусты, колеблемые ветром, текли зеленой рекой, и клятвенно обещал себе заплатить этому человеку за ласку его всеми силами моей души.

— Прежде чем решить что-либо, нам нужно хорошо подумать, — слышал я тихий голос. Она стегала себя по колену сорванной веткой орешника, глядя в сторону города, спрятанного в зеленых холмах садов.

— И, конечно, я должна поговорить с Болеславом, он уже кое-что чувствует и ведет себя очень нервозно. А я не люблю драм.

Все было очень грустно и очень хорошо, но — оказалось необходимым нечто пошленькое и смешное.

Шаровары мои были широки в поясе, и я скалывал пояс большой медной булавкой, дюйма в три длиною, — теперь нет таких булавок, к счастью влюбленных бедняков. Острый кончик проклятой булавки все время деликатно царапал кожу мне, — неосторожное движение — и вся булавка впилась в мой бок. Я сумел незаметно вытащить ее и — с ужасом почувствовал, что из глубокой царапины обильно потекла кровь, смачивая шаровары. Нижнего белья у меня не было, а курточка повара — коротенькая, по пояс. Как я встану и пойду в мокрых шароварах, приклеенных к телу?

Понимая комизм случая, глубоко возмущенный его обидной формой, я, в диком возбуждении, начал говорить

что-то неестественным голосом актера, который забыл свою роль.

Послушав несколько минут мою речь, сначала — внимательно, потом — с явным недоумением, она сказала:

— Какие пышные слова! Вы вдруг стали не похожи на себя.

Это окончательно поразило меня, и я замолчал, как удавленный.

— Пора идти, собирается дождь!

— Я — останусь здесь.

— Почему?

Что я мог ответить ей?

— Вы — рассердились на меня? — ласково заглянув в лицо мое, спросила она.

— О, нет! На себя.

— И на себя не надо сердиться, — посоветовала женщина, встав на ноги.

А я — не мог встать, сидя в теплой луже, мне казалось, что кровь моя, вытекая из бока, журчит ручьем, в следующую секунду женщина услышит этот звук и спросит:

«Что это?»

«Уйди!» — мысленно молил я ее.

Она милостиво подарила мне еще несколько ласковых слов и пошла вдоль оврага, по краю его, мило покачиваясь на стройных ножках. Я следил, как ее гибкая фигурка, удаляясь, уменьшается, и потом лег на землю, опрокинутый ударом сознания, что моя первая любовь будет несчастлива.

Конечно, так и случилось: ее супруг пролил широкий поток слез, сентиментальных слюней, жалких слов, и она не решилась переплыть на мою сторону через этот липкий поток.

— Он такой беспомощный, а вы — сильный! — со слезами на глазах сказала она. — Он говорит: «Если ты уйдешь от меня — я погибну, как цветок без солнца...»

Я расхохотался, вспомнив коротенькие ножки, женские бедра, круглый, арбузиком, живот цветка. В бороде его жили мухи, — там всегда была пища для них.

Она, улыбаясь, заметила:

— Да, это смешно сказано, — а все-таки ему очень больно!

— Мне — тоже.

— О, вы молодой, вы сильный...

Тут, кажется, впервые, я почувствовал себя врагом слабых людей. Впоследствии, в более серьезных случаях, мне весьма часто приходилось наблюдать, как трагически беспомощны сильные в окружении слабых, как много тратится ценнейшей энергии сердца и ума для того, чтоб поддержать бесплодное существование осужденных на гибель.

Вскоре, полубольной, в состоянии, близком безумию, я ушел из города и почти два года шатался по дорогам России, как перекати-поле. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ, пережил неисчислимо много различных впечатлений, приключений, огрубел, обозлился еще более и все-таки сохранил нетленно в душе милый образ этой женщины, хотя видел лучших и умнейших ее.

А когда, через два с лишком года, осенью, в Тифлисе, мне сказали, что она приехала из Парижа и, узнав, что я живу в одном городе с нею, — обрадовалась, я, двадцатитрехлетний крепкий юноша, первый раз в жизни упал в обморок.

Я не решился пойти к ней, но вскоре она сама, через знакомых, пригласила меня.

Мне показалось, что она еще красивей и милее, все та же фигура девушки, тот же нежный румянец щек и ласковое сияние васильковых глаз. Муж ее остался во Франции, с нею была только дочь, бойкая и грациозная, точно козленок.

Когда я пришел к ней, — над городом с громом и молниями понеслась буря, загудел ливень, по улице, с горы Св. Давида, стремительно катилась мощная река, выворачивая камни улицы. Вой ветра, сердитый плеск воды, грохот каких-то разрушений сотрясал дом, дребезжали стекла в окнах, комната наливалась синим огнем, и как будто все кругом падало в бездонную мокрую пропасть.

Испуганная девочка зарылась в постель, а мы стояли у окна, ослепляемые взрывами неба, и говорили — почему-то шопотом.

— Впервые вижу такую грозу, — шелестели рядом со мною слова любимой женщины.

И вдруг она спросила:

— Ну, что же — вылечились вы от любви ко мне?

— Нет.

Она, видимо, удивилась и все так же шопотом сказала:

— Боже мой, как изменились вы! Совершенно другой человек.

Медленно опустилась в кресло у окна, вздрогнула — зажмурилась, ослепленная жутким блеском молнии, и шепчет:

— О вас много говорят здесь. Зачем вы пришли сюда? Расскажите мне, как вам жилось?

Господи, какая она маленькая и хорошая вся!

Я рассказывал ей до полуночи, как бы исповедуясь. Грозные явления природы всегда действуют на меня возбуждающе, насыщая буйным весельем. Должно быть, я рассказывал хорошо — в этом убеждало меня ее внимание и напряженный взгляд широко раскрытых глаз. Лишь иногда она шептала:

— Это ужасно.

Уходя, я заметил, что она простилась со мною без той покровительственной улыбки старшего, которая — в прошлом — всегда немножко обижала меня. Шел я по мокрым улицам, глядя, как острый серп луны режет изорванные облака, и у меня кружилась голова от радости. На другой день я послал ей почтой стихи, — она впоследствии часто декламировала их, и они укрепились в памяти моей:

Сударыня!
За ласку, за нежный взгляд
Отдается в рабство ловкий фокусник,
Которому тонко известно
Забавное искусство
Создавать маленькие радости
Из пустяков, из ничего!
Возьмите веселого раба!
Может быть, из маленьких радостей
Он создаст большое счастье, —
Разве кто-то не создал весь мир
Из ничтожных пылинок материи?

О, да! Мир создан невесело:
Скупы и жалки радости его!

Но все-таки в нем есть немало забавного,
Например: Ваш покорный слуга,
И — есть в нем нечто прекрасное, —
Это я говорю о Вас!

Вы!
Но — молчание!
Что значат тупые гвозди слов
В сравнении с вашим сердцем,
Лучшим из всех цветов
Бедной цветами земли?

Конечно, это едва ли стихи, но это было сделано с веселой искренностью.

Вот я снова сижу против человека, который кажется мне лучшим в мире и поэтому — необходимым для меня. На ней голубое платье; не скрывая изящных очертаний ее фигуры, оно окутало ее мягким, душистым облаком. Играя кистями пояса, она говорит мне необыкновенные слова, я слежу за движением ее маленьких пальцев с розовыми ногтями и чувствую себя скрипкой, которую любовно настраивает искусный музыкант. Мне хочется умереть, хочется как-то вдохнуть в душу себе эту женщину, чтоб навсегда осталась там. Тело мое поет в томительном напряжении, сильном до боли, и мне кажется, что у меня сейчас взорвется сердце.

Я прочитал ей мой первый рассказ, только что напечатанный, но не помню, как она оценила его, — кажется, она удивилась:

— Вот как, вы начали писать прозу!

Как сквозь сон, откуда-то издали, я слышу:

— Много думала я о вас эти годы. Неужели это из-за меня пришлось вам испытать так много тяжелого?

Я говорю ей что-то о том, что в мире, где живет она, нет ничего тяжелого и страшного.

— Какой вы милый...

Мне до безумия хочется обнять ее, но у меня идиотски длинные, нелепо тяжелые руки, я не смею коснуться тела ее, боюсь сделать ей больно, стою пред нею и, качаясь под буйными толчками сердца, бормочу:

— Живите со мной! Пожалуйста, живите со мной!

Она смеется тихонько и — смущенно? Ослепительно светятся ее милые глаза. Она уходит в угол комнаты и говорит оттуда:

— Сделаем так: вы уезжайте в Нижний, а я останусь здесь, подумаю и напишу вам...

Почтительно кланяюсь ей, как это сделал герой какого-то романа, прочитанного мною, и ухожу. По воздуху.

Зимою она, с дочерью, приехала ко мне в Нижний. «Бедному жениться и — ночь коротка» — насмешливо-печально говорит мудрость народа. Я проверил личным опытом глубокую правду этой пословицы.

Мы сняли, за два рубля в месяц, особняк — старую баню в саду попа. Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане, которая служила и гостиной. Особнячок был не совсем пригоден для семейной жизни, он промерзал в углах и по пазам. Ночами, работая, я окутывался всей одеждой, какая была у меня, а сверх ее — ковром и все-таки приобрел серьезнейший ревматизм. Это было почти сверхъестественно при моем здоровье и выносливости, которыми я в ту пору обладал и хвастался.

В бане было теплее, но, когда я топил печь, все наше жилище наполнялось удушливым запахом гнили, мыла и пареных веников. Девочка, изящная фарфоровая куколка с чудесными глазами, нервничала, у нее болела голова.

А весной баню начали во множестве посещать пауки и мокрицы, — мать и дочь до судорог боялись их, и я должен был убивать насекомых резиновой галошей. Маленькие окна густо заросли кустами бузины и одичавшей малины, в комнате всегда было сумрачно, а пьяный капризный поп не позволял мне выкорчевать или хотя бы подрезать кусты.

Разумеется, можно бы найти более удобное жилище, но мы задолжали попу, и я очень нравился ему, он не выпускал нас.

— Привыкнете! — говорил он. — А то заплатите должишки и поезжайте, хоша бы к англичанинам.

Он не любил англичан, утверждая:

— Это нация ленивая, она ничего не выдумала, кроме пасьянсов, и не умеет воевать.

Был он человечище огромный, с круглым красным лицом в широкой рыжей бороде, пьянствовал так, что уже не мог служить в церкви, и — до слез страдал от любви

к маленькой остроносой и черной швейке, похожей на галку.

Рассказывая мне о коварствах ее, он смахивал ладонью слезы с бороды и говорил:

— Понимаю, — негодяйка она, но напоминает мне великомученицу Фимиаму, и за то — люблю!

Я внимательно просмотрел святцы, — святой такого имени не было в них.

Возмущаясь моим неверием, он сотрясал душу мою такими доводами в пользу веры:

— Вы, сынок, взгляните на это практически: неверов — десятки, верующих же — миллионы! А — почему? Потому что как рыба сия не может существовать без воды, так ровно и душа не живет вне церкви. Доказательно? Посему — выпьем!

— Я не пью, у меня ревматизм.

Вонзив вилку в кусок селедки, он угрожающе поднимал ее вверх и говорил:

— И это — от неверия!

Мне было мучительно, до бессонницы стыдно пред женщиной за эту баню, за частую невозможность купить мяса на обед, игрушку девочке, за всю эту проклятую, ироническую нищету. Нищета — порок, который меня лично не смущал и не терзал, но для маленькой изящной институтки и особенно для дочери ее — эта жизнь была унизительна, убийственна.

По ночам, сидя в своем углу за столом, переписывая прошения, апелляционные и кассационные жалобы, сочиняя рассказы, я скрипел зубами и проклинал себя, людей, судьбу, любовь.

Женщина держалась великодушно, точно мать, когда она не хочет, чтоб сын видел, как трудно ей. Ни одной жалобы не сорвалось с ее губ на эту подлую жизнь; чем труднее слагались условия, тем бодрей звучал ее голос, веселее — смех. С утра до вечера она рисовала портреты попов, их усопших жен, чертила карты уездов, — за эти карты земство получило на какой-то выставке золотую медаль. А когда иссякли заказы на портреты, она делала из лоскутков разных материй, соломы и проволоки самые модные парижские шляпы для девиц и дам нашей улицы. Я ничего не понимал в женских шляпах, но, очевидно,

в них скрывалось что-то уморительно комическое, — мастерица, примеряя перед зеркалом сделанный ею фантастический головной убор, задыхалась в судорожном смехе. Но я заметил, что эти шляпы странно влияют на заказчиц, — украсив головы свои пестрыми гнездами для кур, они ходили по улице как-то особенно гордо выпячивая животы.

Я работал у адвоката и писал рассказы для местной газеты по две копейки за строку. Вечерами, за чаем, если у нас не было гостей, моя супруга интересно рассказывала мне о том, как царь Александр II посещал белостокский институт, оделял благородных девиц конфектами, от них некоторые девицы чудесным образом беременели, и нередко та или иная красивая девушка исчезала, уезжая на охоту с царем в Беловежскую пущу, а потом выходила замуж в Петербурге.

Моя дама увлекательно рассказывала мне о Париже; я уже знал его по книгам, особенно по солидному труду Максима дю-Кан, она изучала Париж по кабачкам Монмартра и суматошной жизни Латинского квартала. Эти рассказы возбуждали меня сильнее вина, и я сочинял какие-то гимны женщине, чувствуя, что именно силою любви к ней сотворена вся красота жизни.

Больше всего нравились мне и увлекали меня рассказы о романах, пережитых ею самой, — она говорила об этом удивительно интересно, с откровенностью, которая порою сильно смущала меня. Посмеиваясь, леткими словами, точно штрихи тонко заостренного карандаша, она вычерчивала комическую фигуру генерала, ее жениха, который, выстрелив в зубра прежде царя, закричал вслед раненому быку:

— Простите, ваше императорское величество!

Рассказывала она о русских эмигрантах, и всегда в словах ее я чувствовал скрытую улыбку снисхождения к людям. Порою искренность ее нисходила до наивного цинизма, она вкусно облизывала губы острым, розовым языком кошки, а глаза ее блестели как-то особенно. Иногда мне казалось, что в них сверкает огонек брезгливости, но чаще я видел ее девочкой, самозабвенно играющей с куклами.

Однажды она сказала:

— Влюбленный русский всегда несколько многословен и тяжел, а нередко — противен красноречием. Красиво любить умеют только французы, для них любовь — почти религия.

После этого я невольно стал относиться к ней сдержаннее и бережливей.

О женщинах Франции она говорила:

— У них не всегда найдешь страстную нежность сердца, но они прекрасно заменяют ее веселой, тонко разработанной чувственностью, — любовь для них искусство.

Все это она говорила очень серьезно, поучающим тоном. Это были не совсем те знания, в которых я нуждался, но — все-таки это были знания, и я слушал ее с жадностью.

— Между русскими и француженками, вероятно, такая же разница, как между фруктами и фруктовыми конфектами, — сказала она однажды лунной ночью, сидя в беседке сада.

Сама она была конфектой. Ее страшно удивило, когда, в первые дни нашей супружеской жизни, я, разумеется, вдохновенно, изложил ей мои взгляды романтика на отношения мужчины и женщины.

— Это вы — серьезно? Вы действительно так думаете? — спросила она, лежа на руках у меня, в голубоватом свете луны.

Розовое тело ее казалось прозрачным, от него исходил хмельной, горьковатый запах миндаля. Ее тоненькие пальчики задумчиво играли гривой моих волос, она смотрела в лицо мне широко, тревожно раскрытыми глазами и улыбалась недоверчиво.

— А, боже мой! — воскликнула она, спрыгнув на пол, и стала задумчиво шагать по комнате из света в тень, сияя в луче луны атласом кожи, бесшумно касаясь пола босыми ногами. И, снова подойдя ко мне, гладя ладонями щеки мои, сказала тоном матери:

— Вам нужно было начать жизнь с девушкой, — да, да! А не со мною...

Когда же я взял ее на руки, она заплакала, тихонько говоря:

— Вы чувствуете, как я люблю вас, да? Мне никогда не удавалось испытать столько радости, сколько я

испытываю с вами, — это правда, поверьте! Никогда я не любила так нежно и ласково, с таким легким сердцем. Мне удивительно хорошо с вами, но все-таки — я говорю: мы ошиблись, — я не то, что нужно вам, не то! Это я ошиблась.

Не понимая ее, я был испуган ее словами и торопливо погасил ее настроение радостью ласк. Но все-таки эти странные слова остались в памяти моей. А спустя несколько дней она, в слезах восторга, снова тоскливо повторила эти слова:

— Ах, если б я была девушкой!..

Помню, в эту ночь по саду металась вьюга, в стекла окон стучали ветви бузины, в трубе волком выл ветер, в комнате у нас было темно, холодно и шелестели отклеившиеся обои.

Заработав несколько рублей, мы приглашали знакомых и устраивали великолепные ужины: ели мясо, пили водку и пиво, ели пирожное и вообще — наслаждались. Моя парижанка, обладая прекрасным аппетитом, любила русскую кухню: «сычуг» — коровий желудок, начиненный гречневой кашей и гусиным салом, пироги с рыбьими жирами и соминой, картофельный суп с бараниной.

Она организовала орден «Жадненьких животиков» — десяток людей, которые, любя сытно поесть и хорошо выпить, эстетически тонко знали и красноречиво, неутомимо говорили о вкусных тайнах кухни, а я интересовался тайнами иного характера, ел мало, и процесс насыщения не увлекал меня, оставаясь вне моих эстетических потребностей.

— Это — пустые люди! — говорил я о «жадненьких животиках».

— Как всякий, если его хорошенько встряхнуть, — отвечала она. — Гейне сказал: «Все мы ходим голыми под нашим платьем!»

Цитат скептического тона она знала много, но, мне казалось, не всегда она удачно и уместно пользовалась ими.

Ей очень нравилось «встряхивать» ближних мужского пола, и она делала это весьма легко. Неугомонно веселая, остроумная, гибкая, как змея, она быстро зажигала вокруг

себя шумное оживление, возбуждая эмоции не очень высокого качества. Достаточно было человеку побеседовать с нею несколько минут, и у него краснели уши, потом они становились лиловыми, глаза, томно увлажняясь, смотрели на нее взглядом козла на капусту.

— Магнитная женщина! — восхищался некий заместитель нотариуса, неудачник дворянин, с бородавками Дмитрия Самозванца и животом объема церковной главы.

Белобрысый ярославский лицеист сочинял ей стихи, — всегда дактилем. Мне они казались отвратительными, она — хохотала над ними до слез.

— Зачем ты возбуждаешь их? — спрашивал я.

— Это так же интересно, как удить окуней. Это называется — кокетство. Нет ни одной женщины, уважающей себя, которая не любила бы кокетничать.

Иногда она спрашивала, улыбаясь, заглядывая в глаза мне:

— Ревнуешь?

Нет, я не ревновал, но все это немножко мешало мне жить, я не любил пошлых людей. Я был веселым человеком и знал, что смех — прекраснейшее свойство людей. Я считал клоунов цирка, юмористов открытых сцен и комиков театра — бездарными людьми, уверенно чувствуя, что сам я мог бы смешить лучше их. И нередко мне удавалось заставлять наших гостей смеяться до боли в боках.

— Боже мой! — восхищалась она. — Каким удивительным комиком мог бы ты быть! Иди на сцену, иди!

Сама она с успехом играла в любительских спектаклях, ее приглашали на сцену серьезные антрепренеры.

— Я люблю сцену, но — боюсь кулис, — говорила она.

Она была правдива в желаниях, мыслях и словах.

— Ты — слишком много философствуешь, — поучала она меня. — Жизнь, в сущности, проста и груба; не нужно осложнять ее поисками какого-то особенного смысла в ней, нужно только научиться смягчать ее грубость. Больше этого — не достигнешь ничего.

В ее философии я чувствовал избыток гинекологии, и мне казалось, что евангелием ей служит «Курс акушерства». Она сама рассказывала мне, как ошеломила ее

какая-то научная книга, первая, которую прочитала она после института.

— Наивная девчонка, я почувствовала удар кирпичом по голове; мне показалось, что меня сбросили с облаков в грязь, я плакала от жалости к тому, во что уже не могла верить, но скоро ощутила под собою хотя жестокую, а — твердую почву. Всего более жалко было бога, я так хорошо, близко чувствовала его, и вдруг он рассеялся, точно дым папиросы, и вместе с ним исчезла мечта о небесном блаженстве любви. А все мы, в институте, так много думали, так хорошо говорили о любви!

Плохо действовал на меня ее институтско-парижский нигилизм. Бывало, ночью, встав из-за стола, я шел смотреть на нее, — в постели она казалась еще меньше, изящнее, красивее, — смотрел и с великой горечью думал о ее надломленной душе, о запутанной жизни. И жалость к ней усиливала мою любовь.

Литературные вкусы наши непримиримо расходились: я с восторгом читал Бальзака, Флобера, ей больше нравились Поль Феваль, Октав Фейлье, Поль де-Кок и особенно — «Девица Жиро, моя супруга», — эту книгу она считала самой остроумной, мне же она казалась скучной, как «Уложение о наказаниях». Несмотря на все это, наши отношения сложились очень хорошо, мы не теряли интереса друг к другу, и не гасла страсть. Но на третий год совместной жизни я стал замечать — в душе у меня что-то зловеще поскрипывает и — все звучнее, заметней. Я непрерывно, жадно учился, читал и начал серьезно увлекаться литературной работой; мне все более мешали гости, люди мало интересные, они количественно разрастались, ибо я и жена стали зарабатывать больше и могли чаще устраивать обеды и ужины.

Ей жизнь казалась чем-то вроде паноптикума, а так как на мужчинах не было предостерегающей надписи: «Просят руками не трогать», то иногда она подходила к ним слишком неосторожно, а они оценивали ее любопытство чересчур выгодно для себя, и на этой почве возникали недоразумения, которые я принужден был разрешать. Я делал это порою недостаточно сдержанно и, вероятно, всегда очень неумело; человек, которому я натрепал уши, жаловался на меня:

— Ну, хорошо, сознаюсь, я виноват! Но — драть меня за уши, — да что я, — мальчишка, что ли? Я почти вдвое старше этого дикаря, а он меня — за уши треплет! Ну, ударил бы, все-таки это приличнее!

Очевидно, я не обладал искусством наказывать ближнего в меру его самоуважения.

К моим рассказам жена относилась довольно равнодушно, но это нисколько не задевало меня до некоторой поры: я сам тогда еще не верил, что могу быть серьезным литератором, и смотрел на мою работу в газете только как на средство к жизни, хотя уже нередко испытывал приливы горячей волны какого-то странного самозабвения. Но однажды утром, когда я читал ей в ночь написанный рассказ «Старуха Изергиль», она крепко уснула. В первую минуту это не обидело меня, я только перестал читать и задумался, глядя на нее.

Склонив на спинку дряхлого дивана маленькую, милую мне голову, приоткрыв рот, она дышала ровно и спокойно, как ребенок. Сквозь ветви бузины в окно смотрело утреннее солнце, золотые пятна, точно какие-то воздушные цветы, лежали на груди и коленях женщины.

Я встал и тихонько вышел в сад, испытывая боль глубокого укола обиды, угнетенный сомнением в моих силах.

За все дни, прожитые мною, я видел женщин только в тяжелом, рабском труде, в грязи, в разврате, в нищете или в полумертвой, самодовольной, пошлой сытости. Было у меня только одно прекрасное впечатление детства — Королева Марго, но от него отделял меня целый горный хребет иных впечатлений. Мне думалось, что история жизни Изергиль должна нравиться женщинам, способна возбудить в них жажду свободы, красоты. И — вот, самая близкая мне не тронута моим рассказом, — спит!

Почему? Не достаточно звучен колокол, отлитый жизнью в моей груди?

Эта женщина была принята сердцем моим вместо матери. Я ожидал и верил, что она способна напоить меня пьяным медом, возбуждающим творческие силы, ждал, что ее влияние смягчит грубость, привитую мне на путях жизни.

Это было тридцать лет тому назад, и я вспоминаю об этом с улыбкою в душе. Но в ту пору неоспоримое право человека спать, когда ему хочется, — очень огорчило меня.

Я верил: если говорить о грустном весело, печаль исчезнет.

И я подозревал, что в мире хитроумно действует некто, кому приятно любоваться страданиями людей; мне казалось, что существует некий дух, творец житейских драм, и ловко портит жизнь, я считал невидимого драматурга личным моим врагом и старался не поддаваться его уловкам.

Помню, когда я прочитал в книге Ольденбурга «Будда, его жизнь, учение и община»: «Всякое существование суть страдание» — это глубоко возмутило меня, — я не очень много испытал радостей жизни, но горькие муки ее казались мне случайностью, а не законом. Внимательно прочитав солидный труд архиепископа Хрисанфа «Религия Востока», я еще более возмущенно почувствовал, что учения о мире, основанные на страхе, унынии, страдании, — совершенно неприемлемы для меня. И, тяжело пережив настроение религиозного экстаза, я был оскорблен бесплодностью этого настроения. Отвращение к страданию вызывало у меня органическую ненависть ко всяким драмам, и я не плохо научился превращать их в смешные водевили.

Конечно — можно бы не говорить все это для того только, чтобы сказать: между мною и женщиной назревала «семейная драма», но оба мы дружно сопротивлялись развитию ее. Я немножко пофилософствовал потому, что мне захотелось упомянуть о забавных извилинах пути, которым я шел на поиски самого себя.

Моя женщина, по веселой природе своей, тоже была неспособна к драматической игре дома, — к игре, которой так любят увлекаться чрезмерно «психологические» русские люди обоего пола.

Но — унылые дактили белобрысого лицеиста все-таки действовали на нее, как осенний дождь. Круглым, красивым почерком он тщательно исписывал листики почтовой бумаги и тайно совал их всюду — в книги, в шляпу, в са-

харницу. Находя эти аккуратно сложенные листочки, я подавал их жене, говоря:

— Примите сию очередную попытку уязвить сердце ваше!

Вначале бумажные стрелы Купидона не действовали на нее, она читала мне длинные стихи, и мы единодушно хохотали, встречая памятные строки:

Днями, ночами — я с вами вдвоем,
Все отражается в сердце моем:
Ручки движенье, кивок головы.
Горлинкой нежной воркуете вы,
Ястребом — мысленно — вьюсь я над вами.

Но однажды, прочитав такой доклад лицеиста, она задумчиво сказала:

— А мне его жалко!

Помню — я пожалел не его, а она с этой минуты перестала читать дактили вслух.

Поэт, коренастый парень, старше меня года на четыре, был молчалив, очень пристрастен к спиртным напиткам и замечательно усидчив. Придя в праздник к обеду, в два часа дня, он мог, неподвижно и немо, сидеть до двух часов ночи. Он был, как и я, письмоводителем адвоката, весьма изумлял своего добродушного патрона рассеянностью, к работе относился небрежно и часто говорил сиповатым басом:

— Вообще — все это ерунда!

— А что же не ерунда?

— Как вам сказать? — спрашивал он задумчиво, поднимая к потолку серые, скучные глаза, и — не говорил ничего больше.

Он был как-то особенно тяжело и словно напоказ — скучен, это более всего раздражало меня. Напивался он медленно; пьяный, иронически фыркал носом, кроме этого, я ничего особенного не замечал в нем, ибо — существует закон, по силе которого, с точки зрения мужа, человек, ухаживающий за его женой, всегда плохой человек.

Откуда-то с Украины богатый родственник присылал лицеисту по пятьдесят рублей в месяц — большие деньги в то время. По праздникам лицеист приносил жене моей конфекты, а в день ее именин подарил ей часы-будильник — бронзовый пень, а на нем сова терзает ужа.

Эта отвратительная машина всегда будила меня на час и семь минут раньше, чем следовало.

Жена, перестав кокетничать с лицеистом, начала относиться к нему с нежностью женщины, которая чувствует себя виновной в нарушении душевного равновесия мужчины. Я спросил, чем, по ее мнению, должна окончиться эта грустная история?

— Не знаю, — ответила она. — У меня нет определенного чувства к нему, но — мне хочется встряхнуть его. В нем заснуло что-то, и, кажется, я могла бы его разбудить.

Я знал, что она говорит правду, — ей всех и каждого хотелось разбудить, в этом она очень легко достигала успеха: разбудит ближнего, и в нем проснется скот. Я напоминал ей о Цирцее, но это не укрощало ее стремления «встряхивать» мужчин, и я видел, как вкруг меня постепенно разрастается стадо баранов, быков и свиней.

Знакомые великодушно рассказывали мне потрясающие мрачные легенды о семейном быте моем, а я был прямодушен, груб и предупреждал творцов легенд:

— Я буду бить вас!

Некоторые — лживо оправдывались; обижались — немногие и не очень. А женщина говорила мне:

— Поверь — грубостью ничего не достигнешь, только еще хуже станут говорить! Ведь ты — не ревнуешь?

Да, я был слишком молод и уверен в себе для того, чтобы ревновать. Но — есть чувства, мысли и догадки, о которых говоришь только любимой женщине и не скажешь никому больше. Есть такой час общения с женщиной, когда становишься чужим самому себе и открываешь себя пред нею, как верующий пред богом своим. Когда я представлял себе, что все это — очень и только мое — она, в интимную минуту, может рассказать кому-то другому, мне становилось тяжело, я чувствовал возможность чего-то, очень похожего на предательство. Может быть, это опасение и является корнем ревности?

Я чувствовал, что такая жизнь может вывихнуть меня с пути, которым я иду. Я уже начинал думать, что иного места в жизни, кроме литературы, — нет для меня. В этих условиях невозможно было работать.

От крупных скандалов меня удерживало то, что на ходу жизни я выучился относиться к людям терпимо,

не теряя однако ни душевного интереса, ни уважения к ним. Я уже и тогда видел, что все люди более или менее грешны перед неведомым богом совершенной правды, а перед человеком особенно грешат признанные праведники. Праведники — ублюдки от соития порока с добродетелью, и соитие это не является насилием порока над добродетелью или наоборот, но естественный результат их законного брака, в котором ироническая необходимость играет роль попа. Брак же есть таинство, силою которого две яркие противоположности, соединяясь, рождают почти всегда — унылую посредственность. В ту пору мне нравились парадоксы, как мороженое мальчику, острота их возбуждала меня, как хорошее вино, и парадоксальность слов всегда сглаживала грубые, обидные парадоксы фактов.

— Мне кажется, будет лучше, если я уеду, — сказал я жене.

Подумав, она согласилась:

— Да, ты прав! Эта жизнь — не по тебе, я понимаю!

Мы оба немножко и молча погрустили, крепко обняв друг друга, и я уехал из города, а вскоре уехала и она, поступив на сцену. Так кончилась история моей первой любви, — хорошая история, несмотря на ее плохой конец.

Недавно моя первая женщина умерла.

В похвалу ей скажу: это была настоящая женщина! Она умела жить тем, что есть, но каждый день для нее был кануном праздника, она всегда ждала, что завтра на земле расцветут новые, необыкновенные цветы, откуда-то придут необычно интересные люди, разыграются удивительные события.

Относясь к невзгодам жизни насмешливо, полупрезрительно, она отмахивалась от них, точно от комаров, и всегда в душе ее трепетала готовность радостно удивиться. Но — это уже не наивное восхищение институтки, а здоровая радость человека, которому нравится пестрая суета жизни, трагикомически запутанные связи людей, поток маленьких событий, которые мелькают, как пылинки в луче солнца.

Не скажу, чтоб она любила ближних, нет, но ей нравилось рассматривать их. Иногда она ускоряла или осложняла развитие будничных драм между супругами или влюбленными, искусно возбуждая ревность одних, способ-

ствуя сближению других, — эта небезопасная игра очень увлекала ее.

— «Любовь и голод правят миром», а философия — несчастие его, — говорила она. — Живут — для любви, это самое главное дело жизни.

Среди наших знакомых был чиновник государственного банка: длинный, тощий, он ходил медленной и важной походкой журавля, тщательно одевался и, заботливо осматривая себя, щелчками сухих, желтых пальцев сбивал, никому, кроме его, не видимые, пылинки со своего костюма. Оригинальная мысль, яркое слово были враждебны ему, как будто брезговали его языком, тяжелым и точным. Говорил он солидно, внушительно и, раньше чем сказать что-либо, всегда неоспоримое, расправлял холодными пальцами рыжеватые, редкие усы.

— С течением времени наука химии приобретает все большее значение в промышленности, обрабатывающей сырье. О женщинах совершенно справедливо сказано, что они — капризны. Между женой и любовницей нет физиологической разницы, а только юридическая.

Я серьезно спрашивал жену:

— В силах ли ты утверждать, что все нотариусы — крылаты?

Она отвечала виновато и печально:

— О, нет, у меня не хватит сил на это, но — я утверждаю: смешно кормить слонов яйцами всмятку!

Наш друг, послушав минуты две такой диалог, проницательно заявлял:

— Мне кажется, что вы говорите все это совершенно несерьезно.

Однажды, больно ударив колено о ножку стола, он сморщился и сказал с полным убеждением:

— Плотность — неоспоримое свойство материи...

Бывало, проводив его, приятно возбужденная, горячая и легкая, жена говорила, полулежа на коленях у меня:

— Ты посмотри, как совершенно, как законченно он глуп. Глуп во всем, даже походка, жесты — все глупо. Он мне нравится как нечто образцовое. Погладь мои щеки!

Она любила, когда я, едва касаясь пальцами кожи лица, разглаживал чуть заметные морщинки под милыми

глазами ее. Зажмурясь, поеживаясь, точно кошка, она мурлыкала:

— Как удивительно интересны люди! Даже когда человек неинтересен для всех, — он возбуждает меня. Мне хочется заглянуть в него, как в коробочку, — вдруг там хранится что-то никому не заметное, никогда не показанное, только я одна, и я первая, увижу это.

В ее поисках «никому не заметного» не было напряжения, она искала с удовольствием и любопытством ребенка, который впервые пришел в комнату, не знакомую ему. И порою она действительно зажигала в тусклых глазах безнадежно скучного человека острый блеск напряженной мысли, но — более часто вызывала упрямое желание обладать ею.

Она любила тело свое и, нагая, стоя перед зеркалом, восхищалась:

— Как это славно сделано, — женщина! Как все в ней гармонично!

Она говорила:

— Когда я хорошо одета, я чувствую себя более здоровой, сильной и умной!

Так и было: нарядная, она становилась веселей, остроумней, ее глаза сияли победоносно. Она умела красиво шить для себя платья из ситца, носила их, как шелк и бархат, и, одетая всегда очень просто, казалась мне одетой великолепно. Женщины восхищались ее нарядами; конечно — не всегда искренно, но всегда очень громко, они завидовали ей, и, помню, одна из них печально сказала:

— Мое платье втрое дороже вашего и в десять раз хуже, — мне даже больно и обидно смотреть на вас!

Конечно, женщины не любили ее, разумеется, сочиняли сплетни о нас. Знакомая фельдшерица, очень красивая, но еще более — неумная, великодушно предупреждала меня:

— Эта женщина высосет из вас всю кровь!

Многому научился я около моей первой дамы. Но все-таки меня больно жгло отчаяние непримиримого различия между мной и ею.

Для меня жизнь была серьезной задачей, я слишком много видел, думал, я жил в непрерывной тревоге. В душе моей нестройным хором кричали вопросы, чуждые духу этой славной женщины.

Однажды, на базаре, полицейский избил благообразного старика, одноглазого еврея, за то, что еврей будто бы украл у торговца пучок хрена. Я встретил старика на улице — вывалянный в пыли, он шел медленно, с какой-то картинной торжественностью, его большой черный глаз строго смотрел в пустое знойное небо, а из разбитого рта по белой, длинной бороде тонкими струйками текла кровь, окрашивая серебро волос в яркий пурпур.

Тридцать лет тому назад было это, и я вот сейчас вижу перед собою этот взгляд, устремленный в небо с безмолвным упреком, вижу, как дрожат на лице старика серебряные иглы бровей. Не забываются оскорбления, нанесенные человеку, и — да не забудутся!

Я пришел домой совершенно подавленный, искаженный тоской и злобой. Такие впечатления вышвыривали меня из жизни, я становился чуждым человеком в ней, человеком, которому намеренно — для пытки его — показывают все грязное, глупое, страшное, что есть на земле, все, что может оскорбить душу. И вот в эти часы, в эти дни особенно ясно видел я, как далек от меня самый близкий мне человек.

Когда я рассказал ей о избитом еврее, она очень удивилась.

— И — поэтому ты сходишь с ума? О, какие у тебя плохие нервы!

Потом спросила:

— Ты говоришь — красивый старик? Но — как же красивый, если он — кривой?

Всякое страдание было враждебно ей, она не любила слушать рассказы о несчастиях, лирические стихи почти не трогали ее, сострадание редко вспыхивало в маленьком, веселом сердце. Ее любимыми поэтами были Беранже и Гейне, человек, который мучился — смеясь.

В ее отношении к жизни было нечто сродное вере ребенка в безграничную ловкость фокусника: все показанные фокусы интересны, но самый интересный еще впереди. Его покажут в следующий час, может быть — завтра, но — его покажут!

Я думаю, что и в минуту смерти своей она все еще надеялась увидать этот последний, совершенно непонятный, удивительно ловкий фокус.

О МИХАЙЛОВСКОМ

Пошел к Н. К. Михайловскому, — он встретил меня ласково и весело:

— Вот вы какой! А кто-то говорил мне, что вы похожи на Степана Разина, и, кажется, Тан написал вам письмо стихами, предлагая Стенькину участь, — написал?

— Написал.

— Он хороший человек, много лучше его стихов. Вы не хотите, вероятно, чтоб вас четвертовали? Но — кажется, уже начали растягивать по партиям? Марксист?

Я сказал:

— Нет, не марксист, но, по натуре моей, склоняюсь в ту сторону, где чувствую больше активного отношения к жизни.

— Гм? А у народников вы не чувствуете этой активности?

До этой встречи я знал Николая Константиновича только по портретам. Теперь он показался мне не похожим и на портреты и вообще на русского человека. В его небольшом, ладном теле, в нервных, но мягких и красивых движениях чувствовалась нерусская живость духа и гармоничность его. Он измерял меня ласковым взглядом немножко насмешливых глаз, как боец, его манера говорить выдавала в нем человека, привычного к словесным дуэлям. Иногда его взгляд как бы ослеплял блеском какой-то острой, невеселой мысли. От него веяло нервной силой, возбуждавшей меня.

Я начал рассказывать ему о вечере, Поссе, о всей этой неясной, опечалившей меня борьбе. Он, слушая внимательно, часто восклицал:

— Да? Так. Ого?

Говорил я о том, что среди интеллигенции, куда я поднялся не без тяжелых усилий, я ожидал встретить иные нравы, иное отношение друг ко другу, больше внутренней сплоченности, больше взаимного уважения, дружбы и сердечности.

— Всё слова, вышедшие из употребления, старинные слова, — усмехаясь, вставил Михайловский в мою возбужденную речь.

Говорил я о том, как огромна и тяжела деревня, как она слепа и недоверчива ко всему, что творится вне узкого круга ее прямых интересов, что интеллигенции в стране отчаянно мало и за пределами крупных городов ее влияния не чувствуется, значение ее — непонятно.

Он, видимо, был тронут, мне показалось, что его глаза влажны, когда он заговорил с ласковой насмешкой:

— Эге, бателька, да вы — идеалист и едва ли не романтик! И совсем не такой грубиян, как говорят о вас! Вас, очевидно, встречают по одежке ваших мыслей, — а вы одеваете их не модно, торопливо, да и грубовато немножко...

Потом решительно заявил, что откажется от участия на вечере, если Поссе устранят, и спросил: что я намерен писать?

Я рассказал ему план книги «Мужик» — полуфантастическую историю карьеры архитектора из крестьян.

— Час от часу не легче! — воскликнул он, удивленно разведя руками. — Про него говорят — марксист, а он собирается писать какую-то апологию буржуя! Среду-то эту, купечество, вы хорошо знаете?

Тип героя-«мужика» лепился у меня довольно ясно и прочно из моего знакомства с культурной работой Милютина, череповецкого головы, и моих наблюдений над жизнью поволжских городов.

— Может быть, это будет интересно, — Николай Константинович недоверчиво пожал плечами, — во всяком случае — оригинально. Буржуй как положительный тип —

вы это будете печатать в марксистской «Жизни»? Тоже оригинально!

Засмеялся и потом сказал серьезно:

— А вы бы попробовали написать роман из жизни наших революционеров. Вы симпатизируете людям сильной воли, — сильнее и ярче этих людей вы не найдете в русской жизни!

С глубоким чувством любви к бойцам и волнующе подчеркивая драму их жизни, он заговорил о ничтожной — количественно — группе людей, которые хотели взорвать трон Романовых. Говорил страстно, образно, как поэт, задыхаясь от волнения и как-то вздрагивая всем телом.

Его очень утомила эта речь; посидев еще несколько минут, я встал.

— Хотите идти? Принято, чтоб старые литераторы напутствовали молодых. Я — вдвое старше вас. Вы мне понравились, и я хочу вас обнять, — это и будет моим напутствием...

Тут разыгралась одна из наиболее странных и трогательных сцен, пережитых мною...

Потом, крепко поцеловав друг друга, мы расстались, не сказав ни слова более.

Я видел этого человека не более трех-четырех раз, — с каждым разом он становился мне все более дорог и близок, но, в суете жизни, мне не пришлось уже говорить с ним один на один.

В мою «честь» был устроен обед в редакции «Жизни», различные люди говорили обязательные в таких случаях речи. Н. К. Михайловский сидел рядом со мною и, тыкая меня большим пальцем под ребра, увещевал:

— Отвечайте же, сударь! Вам наложили целую поленницу комплиментов, — надо отвечать! Ну — кураж!

Я не умею говорить речей. Церемония обеда была убийственно скучна, едоки чувствовали себя нелепо, некоторые из них поглядывали на меня явно враждебно, насмешливо. Я сказал Николаю Константиновичу, что это мешает мне дышать.

— Привыкайте, — шутливо-строго сказал он вполголоса. — Ничего, так и следует. Было бы наивно думать, что ваш успех — всем приятен.

Потом я был у него на именинах или в день рождения, — не помню. Великолепно настроенный, Николай Константинович остроумно шутил, отвечал сразу на десяток вопросов, обращенных к нему, удивляя меня юношеской живостью.

Но — рядом со мною сидел П. Ф. Мельшин-Якубович и портил мне жизнь.

— Вы читаете «Искру»? — спрашивал он. — Читаете. Так. А я — жгу, когда она попадает в руки мне. Жгу.

Я впервые видел его и думал — вот фанатик! Потом оказалось, что это обыкновенный русский человек, добродушный и мягкий, несмотря на то, что жизнь ковала его тяжким молотом. Но в этот [день] он был почему-то крайне свирепо настроен против Маркса, марксистов, Струве и все дудел в ухо мне жестокие слова, не позволяя слушать, что говорил Михайловский. А он говорил что-то интересное, возражая Н. Карееву и Н. Ф. Анненскому.

— Нет, — слышал я отрывки его горячей речи, — надобно опуститься как-то ниже философии культуры к философии быта, — к самому обыкновенному содержанию текущего дня, и тогда, может быть, обнаружится...

Мельшин, дергая меня за рукав, спрашивал — знаю ли я его переводы стихов Бодлера?

Я — знал. И, судя по этим переводам, заключил, что Бодлер был весьма неуклюжий стихотворец.

— Странно, — сказал Мельшин. — По-моему — Бодлер должен бы нравиться вам...

А Михайловский говорил кому-то весело и громко:

— Я нажил сердце, которое обеспечивает мне быструю и безболезненную смерть...

В суете праздника я так и не нашел удобной минуты спросить Николая Константиновича — что именно должно «обнаружиться»?

Вскоре я уехал. А в следующий приезд помогал нести гроб Михайловского на Волково кладбище.

ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА. ВОСПОМИНАНИЯ

ГОРОДОК

...Сижу за городом, на лысых холмах, едва прикрытых дерном; вокруг чуть заметны могилы, растоптанные копытами скота, развеянные ветром. Сижу у стены игрушечно маленького кирпичного ящика, покрытого железной крышей, — издали его можно принять за часовню, но вблизи он больше похож на конуру собаки. За дверью его, окованной железом, хранятся цепи, плети, кнуты и еще какие-то орудия пыток, — ими терзали людей, зарытых здесь, на холмах. Они оставлены в память городу: не бунтуй!

Но горожане уже забыли: чьи люди перебиты здесь? Одни говорят: это казаки Степана Разина; другие утверждают: это мордва и чуваши Емельяна Пугача.

И только всегда пьяный старик нищий Затинщиков хвастливо говорит:

— Мы при обоих бунтовали...

С бесплодного, холмистого поля домà города, серые, прижатые к земле, кажутся кучами мусора; там и тут они заросли по крыши густой, пыльной зеленью. В грудах серого хлама торчит десяток колоколен и пожарная каланча, сверкают на солнце белые стены церквей, — это вызывает впечатление чистеньких полотняных заплат на грязных лохмотьях.

Сегодня праздник. До полудня горожане стояли в церквах, до двух часов ели и пили, теперь они отдыхают. Город безмолвен, не слышно даже плача детей.

День мучительно зноен. Серо-синее небо изливает на землю невидимый, расплавленный свинец. В небе есть что-то непроницаемое и унылое; ослепительно белое солнце как будто растеклось по небесам, растаяло. Жалкие, рыжеватые былинки на могилах неподвижны и сухи. Земля потрескивает, шелушится на солнце, как сушеная рыба. Влево от холмов, за невидимой рекою, над голыми полями струится марево, в нем качается, тает ушастая колокольня заречной слободы, — сто лет тому назад слобода эта принадлежала знаменитой Салтычихе, прославившей имя свое изощренным мучительством крепостных рабов.

А город — накрыт облаком какой-то мутной, желтоватой пыли. Может быть, это — дыхание спящих людей.

Странные люди живут в этом городе. Владелец войлочного завода, человек солидный, неглупый, четвертый год читает Карамзина «Историю Государства Российского», дошел уже до девятого тома.

— Велико сочинение! — говорит он, уважительно поглаживая кожаный переплет книги. — Царская книга. Сразу понимаешь — мастак сочинял. Зимним вечером начнешь читать и — все дела житейские забудешь. Приятно. Большое утешение человеку — книга! Ежели она с высоты разума написана...

Однажды, играя пышной бородою своей, он предложил мне с любезной улыбочкой:

— Хотите интересненькое поглядеть? У меня, на задворках, доктор живет, а к нему, на свидания, барыня одна — не наша, приезжая — ходит. Я с чердака в слуховое окно гляжу, как они забавляются; окошко у них наполовину занавешено, и через верхнее стекло очень подробно видать забавы ихние. Я даже бинокль у татарина, по случаю, купил и кое-когда приятелей приглашаю для забавы. Очень интересное распутство...

Парикмахер Балясин называет себя «градским брадобреем». Он — длинный, тонкий, ходит развернув плечи и гордо выпячивая грудь. У него голова ужа — маленькая, с желтыми глазами, взгляд ласково-недоверчивый. Го-

род считает его умным человеком и лечится у Балясина более охотно, чем у земского доктора.

— У нас естество простое, а доктора — это для образованных людей, — говорят горожане.

Парикмахер ставит банки, пускает кровь, недавно срезал пациенту мозоль, и пациент умер от заражения крови. Кто-то пошутил:

— Усердный; ему говорят: срежь мозоль, а он всего человека срезал с земли...

Балясина одолевает мысль о непрочности бытия.

— Я думаю — врут ученые, — говорит он. — Неизвестна им точность ходов солнца. Я вот гляжу, когда солнышко заходит, и думаю: а вдруг не взойдет оно завтра? Не взойдет и — шабаш! Зацепится за что-нибудь, — за комету, скажем, — вот и живи в ночи. А то — просто остановится по ту сторону земли, тут нам и крышка навечной тьмы. Надо полагать — у солнца тоже есть свой характер. Придется нам тогда, для жизни, леса жечь, костры раскладывать.

Похохатывая, щуря глаза, он продолжает:

— Ха-арошее небо у нас будет тогда: звезды есть, а — ни солнца, ни месяца! Вместо месяца черный шарик будет торчать, коли верно, что месяц у солнца свет занимает. Как хошь, так и живи — ничего не видать. Для воров — удобно, а для всех других сословий — очень неприятно, а?

Однажды, подстригая мне волосы, он сказал:

— Ко всему люди привыкли, ничем их не испугаешь, ни пожарами, ничем. В иных местах — наводнения бывают, землетрясения — у нас ничего! Холеры — и то не было, а кругом везде — холера. Человеку же хочется необыкновенного чего-нибудь, страшного. Страх для души, как баня для тела, очень здорово...

Одноглазый арендатор городской купальни — он же «картузник», делает фуражки из ста́рых брюк — человек, которого город не любит, боится. Встречая его на улицах, горожане опасливо сторонятся и смотрят вслед ему волками, а иной идет прямо на картузника, наклоня голову, точно собираясь боднуть его. Тогда картузник усту-

пает дорогу и сам смотрит в затылок дерзкого человека, прищурив глаз, усмехаясь.

— За что вас не любят? — спрашиваю я.

— Я — беспощадный, — хвастливо говорит он. — У меня такой навык, что я — чуть кто неправильно действует, — сейчас его к мировому тащу!

Белок его глаза воспален, пронизан сетью кровавых жилок, и в этой сетке гордо сверкает рыжеватый, круглый зрачок. Картузник коренастый, длиннорукий, ноги у него — колесом. Похож на паука.

— Действительно — меня не уважают, потому как я права знаю, — рассказывает он, свертывая папиросу из махорки. — Чужой воробей в мой огород залетит — пожалуйте к мировому! Я из-за петуха четыре месяца судился. Даже сам судья сказал мне: «Ты, говорит, напрасно человеком родился, по характеру ты — овод!» Даже били меня за мою беспощадность, однако бить меня — невыгодно. Бить меня — все равно как железо каленое, только руки обожгешь. После битья я такое начинаю...

Он пронзительно свистнул. Он действительно кляузник, местный судья завален его жалобами и прошениями. С полицией картузник живет в дружбе; говорят, он любит писать доносы и ведет какую-то книгу, куда вписывает различные прегрешения горожан.

— Зачем вы делаете это?

Он отвечает:

— Потому что уважаю мои права!

Лысый, толстый Пушкарев, слесарь и медник — вольнодумец, атеист. Поджимая дряблые губы, странно изогнутые, цвета дождевых червей, он говорит сиплым басом:

— Бог — это выдумка. Над нами ничего нет, только один синий воздух. И все наши мысли — от синего воздуха. Синё живем, синё думаем — вот где загадка. Вся суть жизни моей, вашей — очень простая: были и сгнили.

Он — грамотен, много прочитал романов, особенно хорошо помнит один: «Кровавая рука».

— Там французский архерей взбунтовался и обложил войском город Ларошел. А против него действовал капи-

тан Лакузон, — что делал, сукин сын! Даже слюнки текут, когда читаешь. Шпагой действовал он — без промаха, ткнет, и — готов покойник! Замечательный воин...

Пушкарев рассказал мне:

— Сижу я, вот эдак же, вечером, праздник, читаю. Вдруг заявляется земский счетчик, — статистик, по-их-нему: «Желаю, говорит, познакомиться с вами». — «Ну, что ж, говорю, познакомьтесь». А сам — боком сижу к нему. Он и то и се, — прикинулся я дураком, мычу и все гляжу в сторону, в стенку. «Слышал я, говорит, что вы в бога не верите?» Ну, тут я на него и вскинулся: «Это — как так? — говорю. — Разве это допускается? А — церкви зачем, попы, монахи, а? А ежели я в полицию заявлю, что вы меня к неверию склоняете?» Испугался он: «Извините, говорит, я думал...» — «То-то, вот, говорю, думаете вы о чем не надо. Мне эти ваши мысли ни к чему». Выкатился он от меня, как мячик. Потом, вскоре, застрелился. Не люблю я этих земских, — фальшивый народ. Сосут мужика, тем и живы. Некуда девать ученых этих, ну — наладили им земство. Считайте! Они считают. Человеку все едино, что делать, только жалованья ему побольше давай...

А часовщик Корцов, по прозвищу Лягавая Блоха, маленький, волосатый человечек с длинными руками, — патриот и любитель красоты.

— Нигде нет таких звезд, как наши, русские! — говорит он, глядя в небо круглыми глазами, плоскими, как пуговицы. — И картошка русская — первая по вкусу на всей земле. Или — скажем — гармонии, лучше русских нет! Замки. Да — мало ли чем можем мы нос утереть Америкам этим.

Он сочиняет песни и, выпивши, сам поет их. Стихи его как будто нарочно, надуманно нелепы, но песня, которую он поет чаще других, такова:

Сиза птичечка, синичка,
Под окном моим поет,
Она маленько яичко
Послезавтрея снесет.

Я скраду яичко это,
Положу в гнездо сове,
Пусть что будет, то и будет
Моей буйной голове.

Ах, к чему мне ночью снится,
Будто череп мой клюет
Та сова, ночная птица,
Что, одна, в лесу живет?

Корцов поет эту песню на удалой, веселый мотив. А череп у него аккуратно кругл, совершенно гол, только от уха до уха на затылке висит рыжеватая бахрома кудрявых волос.

Он любит восхищаться красотой природы, хотя окрестности города пустынны, вспухли бесплодными холмами, изрезаны оврагами, нищенски некрасивы. Но часовщик, стоя на берегу мутной, пахучей реки, отравленной войлочными заводами, восклицает с искренним чувством лирического восторга:

— Эх, красота же! Ширь, гладь. Иди куда хошь. До смерти люблю я эту красоту нашу!

Двор его дома грязен, густо зарос крапивой и репьем, забросан обломками дерева, железа, посреди двора гниет широкий диван, из его сиденья торчат клочья волоса. В комнатах пыльно, неуютно, все сдвинуто с места, к цепям стенных часов привешен, вместо гири, кусок свинцовой трубы. Где-то в углу стонет и ворчит больная жена, а по двору молча шмыгает сестра ее, старая дева, желтая, худая, с оскаленными зубами; на ногах у нее опорки мужских сапог, подол подоткнут до колен и обнажает икры ног в синих узлах вен.

Корцов изобрел замок, который заряжается тремя ружейными патронами и стреляет, если в него всунуть ключ. Замок весит двенадцать фунтов и имеет вид продолговатого ящика. По-моему — он должен стрелять в небеса, а не в того, кто решится отпереть его.

— Нет, прямо в морду угодит! — заверяет изобретатель.

Его любят как чудака. А может быть, горожанам нравится, что он несчастливо играет в карты, все обыгрывают его. Ему нравится сечь детей, говорят, что сына

своего он засек до смерти, но это не мешает знакомым приглашать Корцова как знатока дела для экзекуций над мальчишками, опустошающими сады и огороды.

Не спеша, заложив руки за спину, ходит по городу Яков Лесников, высокий, тощий, с длинной и узкой бородою и большим, унылым носом. Нечесанный, грязный, он одет в какой-то балахон, подобие монашеской рясы, на вихрах его полуседых и жестких волос торчит студенческая фуражка. Большие, водянистые глаза напряженно вытаращены, как будто этого человека одолевает сон, а спать ему нельзя. Позевывая, он смотрит вдаль, через головы людей и спрашивает встречных:

— Ну — как?

Ответы, видимо, не интересуют его, да они, наверное, знакомы ему:

— Так себе. Ничего. Живем.

Он славится как женолюб и великий распутник. Корцов, не без гордости, говорил мне:

— Он даже с испанкой жил! Ну, а теперь, конечно, и мордовками не брезгует...

Говорят, что Лесников — «незаконный» сын знатного лица — архиерея или губернатора. У него есть несколько десятин огородной земли и лугов, он сдает землю эту в аренду слобожанам и одиноко живет на квартире у моего соседа, больного чиновника казначейства.

Как-то вечером он валялся в саду, на траве, под липой, пил пиво со льдом и рычал, зевал. К нему подошел домохозяин, худенький, кисловато-любезный человечек в очках.

— Что, Яша?

— Скушно, — сказал Лесников. — Вот думаю, — чем бы заняться?

— Поздно тебе заниматься делами...

— Пожалуй — поздно.

— Староват.

— Да.

Помолчали. Потом Лесников не торопясь проговорил:

— Очень скушно. В бога, что ли, поверить?

Чиновник — одобрил:

— Это — не плохо. Все-таки — в церковь ходить будешь...

А Лесников, с воем зевнув, сказал:

— Во-от...

Зимин, торговец галантерейным товаром, хитрый мужик, церковный староста, сказал мне:

— От ума страдают люди, он всей нашей путанице главный заводчик. Простоты нет у нас, потеряли простоту. Сердце у нас — честное, а ум — жулик!..

Сижу, глотая знойный воздух, вспоминаю речи, жесты, лица этих людей, смотрю на город, окутанный горячей, опаловой мутью. Зачем нужен город этот и люди, населяющие его?

Здесь Лев Толстой впервые почувствовал ужас жизни — «арзамасский», мордовский ужас, но — неужели только для этого жил и живет город от времени Ивана Грозного?

Я думаю, что нет страны, где люди говорили бы так много, думали так бессвязно, беспутно, как говорят и думают они в России, а особенно — в уездной.

Арзамасские мысли случайны и похожи на замученных мальчишками, полуощипанных птиц, которые иногда, со страха, залетают в темные комнаты, чтоб разбиться насмерть о непроницаемый обман прозрачных, как воздух, стекол окна. Бесплодные «синие» мысли.

Подсматриваю я за этими людьми, и мне кажется, что, прежде всего, они живут глупо, а потом уже — и поэтому — грязно, скучно, озлобленно и преступно. Талантливые люди, но — люди для анекдотов.

С реки доносится шум и плеск воды, — прибежали мальчишки купаться. Но их мало в городе, большинство ушло в лес, в поле и овраги, где прохладно. В садах поднимается голубой дымок, это проснулись хозяйки и разжигают самовары, готовясь к вечернему чаю.

Пронзительно верещит тонкий голос девочки:

— Ой, ма-амонька, ой, рòдная, ой, не бей меня по животику...

И — точно в землю ушел этот вопль.

Зной все тяжелее. Солнце как будто остановилось. Земля дышит сухим, пыльным жаром. Кажется, что небо стало еще более непроницаемым, — очень неприятна и даже тревожна эта тусклая непроницаемость небес. Можно думать, что это не то небо, как везде, а — особенное, здешнее, плоское, отвердевшее, созданное тяжелым дыханием людей странного города. Мреет сизая даль, приобретая цвета стекла, выгоревшего на солнце, и, как будто становясь плотнее, она близится к городу прозрачной, но непроницаемой стеною.

Черненькими точками бестолково мелькают мухи, это снова напоминает о непроницаемости стекла.

А тяжелое, горячее безмолвие — все гуще, тяжелее.

В тишине певуче звучит полусонный, разнеженный голос женщины:

— Таисья, — одеваисся?

И такой же голос, но более низкий, томно отвечает:

— Одеваюся.

Молчание. И — снова:

— Таисья, ты — голубо?..

— Я — голубо-о...

ПОЖАРЫ

Темной ночью февраля вышел я на Ошарскую площадь — вижу: из слухового окна какого-то дома высунулся пышный, лисий хвост огня и машет в воздухе, рябом от множества крупных снежинок, — они падали на землю нехотя, медленно.

Возбуждающе красив был огонь. Как будто в окно, под крышу дома, прыгнул из тепловатой, сырой тьмы красный зверь, изогнулся и грызет что-то; был слышен сухой треск, так трещат на зубах птичьи кости.

Смотрел я на эти лисьи хитрости огня и думал: «Надо стучать в окна домов, будить людей, кричать — пожар!» Но кричать и двигаться не хотелось; я стоял, очарованно наблюдая быстрый рост пламени, а на коньке

крыши уже мелькали петушиные перья, верхние ветки деревьев сада золотисто порозовели, и на площади стало светлее.

«Надо будить людей», — внушал я сам себе и — молча смотрел до поры, пока не заметил фигуру человека посреди площади; человек прижался к нелепой, чугунной колонне фонтана и, зрительно, был почти неотделим от нее. Я подошел к нему. Это — Лукич, ночной сторож, кроткий старик.

— Ты что же? Свисти, буди людей!

Не отрывая глаз от огня, он сонным или пьяным голосом ответил:

— Сейчас...

Я знал, что он не пьет, но видел в глазах его пьяную улыбку удовольствия, и меня не удивило, когда он, вполголоса, захлебываясь словами, начал бормотать:

— Ты гляди, как хитрит, а? Ведь что делает, гляди-ко ты! Так и жрет, так и жрет, ну — сила! А малое время спустя назад маленький огонечек высунулся около трубы, с долото, не больше, и начал долбить, и пошел козырять. До чего это интересно, пожар, ах, господи...

Он сунул в рот себе свисток и, качаясь на ногах, огласил пустынную площадь режущим уши свистом, замахал кистью руки — торопливо затрещала трещотка. Но глаза его неотрывно смотрели вверх, — там, над крышей, кружились красные и белые снежинки, скоплялся шапкой черный, тяжелый дым.

Лукич ворчал, усмехаясь в бороду:

— Ишь ты, разбойник... Ну, давай будить людей... Давай, что ли...

Мы бегали по площади, стучали в окна и двери, завывая:

— Пожа-ар!

Я чувствовал, что действую энергично, однако — неискренно, а Лукич, постучав в окно, отбегал на средину площади и, задрав голову вверх, кричал с явной радостью:

— Пожа-ар, э-ей!

...Велико очарование волшебной силы огня. Я много наблюдал, как самозабвенно поддаются люди красоте злой игры этой силы, и сам не свободен от влияния ее.

Разжечь костер — для меня всегда наслаждение, и я готов целые сутки так же ненасытно смотреть на огонь, как могу сутки, не уставая, слушать музыку.

Пожар на Суетинском съезде в Нижнем; горят дома над узкой щелью оврага; овраг, разрезав глинистую гору, круто спускается из верхней части города в нижнюю, к Волге. Пожарная команда не могла, по условиям местности, подъехать близко к пожару, машины и бочки воды стоят на съезде, внизу, шланги протянуты вверх по срезу оврага, а сверху падают вниз головни, катятся огненные бревна. Густая толпа зрителей стоит на другой стороне съезда, оттуда пожар прекрасно виден, но несколько десятков людей спустились вниз, где их сердито ругают пожарные и где падающие по откосу бревна легко могут переломать им ноги.

Чтоб видеть, как огонь пожирает старое дерево ветхих домов, люди должны неудобно задирать головы вверх, на лица им сыплется пепел, кожу кусают и жалят искры. Это не смущает людей, они ухают, хохочут, орут, отбегая от бревна, которое катится под ноги им, ползут на четвереньках по крутому срезу противоположной пожару стороны оврага и снова, черными комьями, прыгают вниз. Эта игра особенно увлекает солидного человека, в щегольском пальто, в панаме на голове и в ярко начищенных ботинках. У него — круглое, холеное лицо, большие усы, в руке — палка с золотым набалдашником, он держит ее за нижний конец, размахивает ею, как булавой, и, отбегая от бревна, падающего сверху, орет басом:

— Ур-ра!

Зрители подзадаривают его криками, над его головою кружится, сверкая, золотой шарик палки, на полях панамы — черные пятна погасших угольков, черной змеею развевается под его подбородком развязавшийся галстук. Но человек этот ничего не видит и, кажется, не слышит, у него цель храбреца мальчишки: подождать, пока горящее бревно подкатится вплоть к ногам людей, и отпрыгнуть от него последним. Это неизменно удается ему, он очень легок, несмотря на высокий рост и плотное тело.

Вот-вот бревно ударит его, но — ловкий прыжок назад, и опасность миновала:

— Ур-ра-а!

Он даже несколько раз прыгал вперед, через бревно, и за это какие-то дамы, в толпе зрителей наверху, рукоплескали ему. Их много наверху, пестро одетых женщин, некоторые стоят, раскрыв зонты, защищаясь от красного дождя искр.

Я подумал: наверное, этот человек влюблен и показывает даме своей ловкость и бесстрашие, — достоинства мужчины.

— Ур-рра-а! — кричит он. Панама его съехала на затылок, лицо побагровело, а вокруг шеи все развевается черная лента галстука.

Потрясающе ухнув, заглушив криком жадный треск огня, пожарные вырвали баграми несколько бревен сразу, и бревна, дымясь, сверкая золотом углей, неуклюже подпрыгивая, покатились по откосу оврага. Чем ниже, тем быстрее становилось их тяжелое движение, вот, взмахивая концами, переваливаясь одно через другое, они бьют по булыжнику мостовой.

— Ур-ра-а, — дико кричит человек в панаме и, взмахнув палкой, перепрыгивает через бревно, а конец другого лениво бьет его по ногам, — человек, подняв руки, ныряет в землю, и тотчас же пылающий конец третьей, огромной головни тычется в бок ему, как голова огненной змеи.

Толпа зрителей гулко ахнула, трое пожарных быстро отдернули игривого человека за ноги, подняли и понесли его куда-то, а среди горящих бревен, на булыжнике мостовой, осталась панама, пошевелилась, поежилась и вдруг весело вспыхнула оранжевым огнем, вся сразу...

В 96 году в Нижнем-Новгороде горел «Дом трудолюбия»; в нижнем этаже его вспыхнула пакля, огонь быстро накалил железную лестницу во второй этаж и застиг там старух-работниц. Все они, кажется более двадцати, были задушены смолистым дымом и сгорели.

Я застал уже конец пожара; провалилась крыша, в огромном, кирпичном ящике с железными решетками

на окнах буйно кипел и фыркал огонь, извергая густейший, жирный дым. Сквозь раскаленное железо решеток на окнах дым вырывался какими-то особенно тяжелыми, черными клубками и, невысоко вздымаясь над пожарищем, садился на крыши, угарным туманом опускался в улицы.

Со мною рядом стоял человек дурной славы, домовладелец Капитон Сысоев, крепкий здоровяк, несмотря на его пятьдесят лет и распутную, пьяную жизнь.

На бритом, скуластом лице его глубоко в костлявых ямах спрятаны узкие, беспокойные глазки. Одет он неловко, небрежно, все на нем как бы с чужих плеч, весь остро неприятен и, видимо, знает об этом, — он смотрит на людей вызывающе, с подчеркнутой наглостью.

А на пожар смотрел взглядом человека, для которого вся жизнь и всё в ней — только зрелище. Говорил цинично о «зажаренных» старушках и о том, что хорошо бы всех старушек сжечь. Но что-то беспокоило его, он поминутно совал руку в карман пальто, выдергивал ее оттуда, странно взмахивал ею и снова прятал, искоса поглядывая на людей. Потом в пальцах его явился маленький сверток бумаги, аккуратно перевязанный черной ниткой, он несколько раз подбросил его на ладони и вдруг ловко метнул в огонь, через улицу.

— Что это бросили вы?

— Примета у меня есть одна, — ответил он, подмигнув мне, очень довольный, широко ухмыляясь.

— Какая?

— Ну нет, не скажу!

Недели через две я встретил его у адвоката Венского, кутилы, циника, но очень образованного человека; хозяин хорошо выпил и заснул на диване, а я, вспомнив о пожаре, уговорил Сысоева рассказать мне о его «примете». Прихлебывая бенедиктин, разбавленный коньяком, — пойло, от которого уши Сысоева вспухли и окрасились в лиловый цвет, — он стал рассказывать в шутливом тоне, но скоро я заметил, что тон этот не очень удается ему.

— Я бросил в огонь ногти мои, остриженные ногти, — смешно? Я с девятнадцати лет сохраняю остриженные ногти мои, коплю их до пожара, а на пожаре бросаю

в огонь. Заверну в бумажку вместе с ними три, четыре медных пятака и брошу. Зачем? Отсюда и начинается чепуха...

— Когда мне было девятнадцать лет, был я забит неудачами, влюблен в недосягаемую женщину, сапоги у меня лопнули, денег — не было, заплатить университету за право учения — нечем, а посему увяз я в пессимизме и решил отравиться. Достал циан-кали, пошел на Страстной бульвар, у меня там, за монастырем, любимая скамейка была, сижу и думаю: «Прощай, Москва, прощай, жизнь, чорт бы вас взял!» И вдруг вижу: сидит рядом со мною эдакая толстая старуха, черная, со сросшимися бровями, ужасающая рожа! Вытаращила на меня глаза и — молчит, давит.

— «Что вам угодно?»

— «Дай-ко мне левую руку, студент», — так, знаете, повелительно требует, грубо...

Рассказчик посмотрел на храпевшего хозяина, оглянул комнату — особенно внимательно ее темные углы — и продолжал тише, не делая усилий сохранить искусственно веселый тон.

— Протянул я ей руку и — честное слово — почувствовал на коже тяжесть взгляда ее выпуклых глаз. Долго она смотрела на ладонь мою и наконец говорит:

— «Осужден ты жить» — так и сказала: «осужден!» — «Осужден ты жить долго и легко, хорошо».

— Я говорю ей: — «Не верю в эти штучки — предсказания, колдовство...»

— А она:

— «Потому, говорит, и уныло живешь, потому и плохо тебе. А ты попробуй, поверь...»

— Спрашиваю, посмеиваясь:

— «Как же это можно — попробовать верить?»

— «А вот, говорит, остриги себе ногти и брось их в чужой огонь, но — смотри, — в чужой!»

— «Что значит — чужой огонь?»

— «Ну, говорит, как это не понять? Костер горит на улице в морозный день, пожар, или сидишь в гостях, а там печь топится...»

— Потому ли, что умирать мне, в сущности, не хотелось, — ведь все мы умираем по нужде даже и тогда, когда нам кажется, что это решено нами свободно, — или же потому, что баба эта внушила мне какую-то смутную надежду, но самоубийство я отложил, до времени. Пришел домой, остриг ногти, завернул в бумажку, ну-ко, попробую колдовство?

— Не прошло недели, как утром вспыхнул пожар на Бронной, против дома, где я жил. Привязал я к ногтям моим старый гвоздь и швырнул их в огонь. «Ну, думаю, готово! Жертва принесена, — чем ответят мне боги?» Был у меня знакомый математик, он знаменито играл на биллиарде и бил меня, как слепого. Предлагаю ему, чтоб испробовать силу колдовства: «Сыграем?» Пренебрежительно спрашивает: «Сколько очков дать вперед?» — «Ничего, ни нуля». Можете себе представить, что со мной было, когда я обыграл его! Помню — ноги дрожали от радости и точно меня живою водой спрыснуло. «Стой, думаю, в чем дело? Совпадение?»

— Иду к моей недосягаемой даме, — а вдруг и у нее выиграю? Выиграл, и с такой необыкновенной легкостью, что это испугало меня, да — так, что я даже сна лишился. Еще одно совпадение? Живу между двух огней: между любовью, первой, жадной, и — страхом. По ночам вижу эту бабу: стоит где-нибудь в углу и требовательно смотрит на меня тяжелым взглядом, молча двигает бровями. Сказал возлюбленной моей, а она была, как все актрисы, — а плохие особенно, — суеверна, разволновалась страшно, ахает и убеждает: стриги ногти, следи за пожарами! Я — стригу и обрезки храню, ни на минуту не забывая, что все это глупо и что, может быть, вся штука в том, что, когда человек потерял веру в себя, ему необходимо запастись верой в какую-нибудь темную ерундищу. Но соображение это не гасит тревоги моей. Накопил я обрезков ногтей порядочно, бросил в огонь, и — снова чертовщина: является ко мне лысенький человечек с портфелем. «У вас, говорит, в Нижнем-Новгороде померла двоюродная тетка, девица, и вы единственный наследник ее». Никогда ничего не слышал я о тетке и вообще родственниками был беден, так же, как они — деньгами. Да и было их всего двое: дед со стороны

матери, в богадельне, да какой-то многодетный дядя, тюремный инспектор, которого я никогда не видал. Спрашиваю лысенького: «Вы не дьявол будете?» Обиделся: «Нет, говорит, я частный поверенный и тети вашей старый друг». — «А может, говорю, вас старуха прислала?» — «Ну, да, говорит, конечно, старуха, ей пятьдесят семь лет было». Смотрю на него почти с ненавистью и предупреждаю: «Платить мне за труды ваши — нечем». — «Заплатите, когда я введу вас во владение имуществом». Чрезвычайно гнусный старичок, навязчивый такой, надутый и явно презирал меня. Привез он меня сюда, и очутился я домовладельцем. Почему-то мне казалось, что получу я деревянный домик в три окна, пятьсот рублей деньгами и корову, но оказалось: два дома, магазины, склады, квартиранты и прочее. Богато. Но чувствую я себя неладно, управляет жизнью моей какая-то чужая, таинственная воля, и растет у меня эдакое особенное отношение к Его Сиятельству — огню: отношение дикаря к существу, обладающему силою обрадовать и уничтожить. «Нет, думаю, чорт меня возьми, этого я не хочу, нет!» И начал превращать богатства мои в дым и пепел: завертелся, как пес на цепи, закутил. А ноготки стригу, храню и на пожарах бросаю в «чужой огонь». Не могу точно сказать вам, зачем делал это и верил ли я в колдовство, но бабищу забыть не мог и не забыл до сего дня, хотя, надеюсь, она давно уже скончалась. Одолело меня эдакое жуткое любопытство — в чем дело? Университет бросил, живу скандально, чувствую в себе эдакую беспокойную дерзость, всячески испытываю терпение полиции, силу здоровья, благосклонность судьбы. И все сходит мне с рук благополучно. Но вместе с этим кажется мне: вот кто-то придет и скажет: «Пожалуйте!» Кто придет, куда поведет — не знаю, но — жду. Начал читать Сведенборга, Якова Беме, Дю-Преля — ерунда. Явная ерундища, даже обидно. А ночью проснусь и — жду. Чего? Вообще. Ведь если одна чертовщина возможна, почему же не быть другой, еще хуже или еще лучше? Решительно ничего не делаю в поощрение удач и удивляюсь: почему я не схожу с ума? Богатый холостяга, женщины любят, в карты играю до отвращения удачно. И даже среди друзей — ни одного негодяя, ни одного жулика, все пья-

ницы, но — порядочные люди. Так жил я до сорока лет, а в эти годы каждый мужчина должен пережить некий кризис, — будто бы это обязательная повинность. Жду кризиса.

— В Киеве, на контрактах, повздорил я с каким-то гонористым поляком, он меня вызвал на дуэль. Ага, вот он, кризис! Накануне дуэли пожар на Подоле, загорелись какие-то еврейские лачуги. Поехал я на пожар, бросил ногти в огонь и мысленно требую, чтобы завтра убили меня или тяжело ранили, по крайней мере. Но вечером в тот же день мой поляк ехал верхом, а лошадь испугалась чего-то, сбросила поляка, он переломил себе правую руку и разбил голову. Извещает меня об этом секундант его, я спрашиваю: «Как это случилось?» — «Старуха какая-то бросилась под лошадь». Старуха? Старуха, чорт вас возьми? Совпадение, дьяволы?

— Тут, первый и единственный раз в жизни, я испытал припадок какой-то бешеной истерии, и меня отправили в Саксонию, в горы, в санаторию. Там я рассказал все это профессору. «О, — говорит немец, — это интереснейший случай». И определил случай, как насекомое, по латыни. Потом он поливал меня водой, гонял по горам месяца два, толка из этих прогулок не вышло. Чувствую я себя скверно и скучаю о пожарах. Понимаете? Скучаю. О «чужом огне». И — коплю остриженные ногти. Сам внутренно усмехаюсь: ведь — ерунда же все это, дрянь и пакость. А дома я уже заложил, деньги у меня на исходе. «Ну-ко, что теперь будет?» — думаю. Путешествую. Нюренберг, Аугсбург — скучно. Сидя в вестибюле гостиницы, бросил ногти в камин. Через день, лежу в постели, ночью, стучат в дверь: телеграмма, один из трех моих билетов внутреннего займа выиграл пятьдесят тысяч, а другой — тысячу. Помню, сидел я в постели, озирался и ругал кого-то дикими словами. Страшно было мне, как никогда, так глупо, по-бабьи страшно.

— Ну, всю эту ерундовую канитель долго рассказывать, да и однообразна она. Тридцать четыре года живу я в ней. Честное слово — я делал все для того, чтоб разориться, свернуть себе голову, но, как видите, благополучен. В конце концов я устал от этого и махнул рукою: будь что будет!

Ему, видимо, стало тяжко, скуластое лицо обиженно и сердито надулось, узенькие, зоркие глазки потускнели.

— И все еще бросаете ногти в огонь? — спросил я.

— Ну, а — чем же мне жить, чего ждать? Ведь должна же кончиться эта идиотская чертовщина? Или — нет? Может быть, я и не умру никогда?

Он усмехнулся и закрыл глаза. Потом, закурив сигару, глядя на конец ее, сказал негромко:

— Химия — это химия, но все-таки в огне скрыто, кроме того, что мы знаем, нечто, чего нам не понять. И прячется огонь невероятно искусно. Так — никто не прячется. Кусочек прессованного хлопка или несколько капель пикриновой кислоты, несколько гран гремучей ртути, а между тем...

Он щелкнул языком и замолчал.

— Мне кажется, — сказал я, — что все это очень удачно объяснено вами в словах: когда нет веры в свои силы, нужно верить во что-нибудь вне себя. Вот вы и поверили...

Он утвердительно кивнул головою, но, очевидно, не понял или не слышал моих слов, потому что спросил, нахмурясь:

— Но — ведь глупо же это? Зачем ему нужны мои ногти?

Года через два он умер на улице от «паралича сердца», как сказали мне.

Священник Золотницкий за какие-то еретические мысли тридцать лет просидел в монастырской тюрьме, кажется — в Суздале, в строгом одиночном заключении, в каменной яме. В медленном течении одиннадцати тысяч дней и ночей единственной утехой узника христолюбивой церкви и единственным собеседником его был огонь: еретику разрешали самосильно топить печку его узилища.

В первых годах столетия Золотницкого выпустили на свободу, потому что он не только забыл свое еретичество, но и вообще мысль его не работала, почти угаснув. Высушенный долголетним заключением, он мало чем напоминал жителя поверхности земли, ходил по ней низко

склоня голову и так, как будто он идет все время вниз, опускается в яму, ищет, куда бы спрятать хилое, жалобное тело свое. Мутные глаза его непрерывно слезились, голова тряслась, и бессвязная речь была непонятна. Волосы бороды уже не седые, а «впрозелень»; зеленоватый, гнилой оттенок волос был ясно заметен даже на темных щеках тряпичного, старческого лица. Полуумный, он, видимо, боялся людей, но из боязни пред ними скрывал это. Когда с ним заговаривали, он поднимал сухонькую, детскую руку так, как будто ждал удара по глазам и надеялся защитить их этой слабой, дрожащей рукою. Был он тих, говорил мало и всегда вполголоса, робко шелестящими звуками.

Он вышел из тюрьмы огнепоклонником и оживлялся только тогда, если ему позволяли разжечь дрова в печке и сидеть пред нею. Усаживаясь на низенькой скамейке, он любовно зажигал дрова, крестил их и ворчал, тряся головою, все слова, какие уцелели в памяти его:

— Сущий... Вечный огонь. Иже везде сый. Попаляяй грешные...

Тыкал горящие поленья коротенькой кочергою, качался, как бы готовясь сунуть в огонь голову свою; воздух тянул в печь зеленые, тонкие волосы его бороды.

— Всесилен есть. Никому же подобен. Лик твой да сияет во веки веков. И бегут... Тако да бегут... От лица огня... Яко дым от лица огня... Тебе хвала, тебе слава, купина...

Его окружали сердобольные люди, искренно изумляясь и тому, до чего можно замучить человека, и тому, как все-таки живуч и вынослив человек.

Велик был ужас Золотницкого, когда он увидал электрическую лампочку, когда пред ним таинственно вспыхнул белый, бескровный огонь, заключенный в стекло.

Старик, присмотревшись, замахал руками и жалобно стал бормотать:

— И его — ох! — и его... Почто вы его? Не дьявол ведь! Ох, — почто?

Долго не могли успокоить старого узника; из его мутных глаз текли маленькие слезинки, весь он дрожал и, горестно вздыхая, уговаривал окружающих:

— Ой, рабы божие... — почто? Лучик солнечный в плен ввергли... Ох, людие! Ох, побойтесь гнева огненного...

И дрожащей сухонькой рукою он осторожно дотрагивался до людей, всхлипывал:

— Ой, пустите его...

...Мой патрон А. И. Ланин, войдя в кабинет, сказал раздраженно и устало:

— Был в тюрьме, у подзащитного, оказался такой милый, тихий парень, но — обвиняется в четырех поджогах. Обвинительный акт составлен убедительно, показания свидетелей тяжелые. А он, должно быть, запуган, очумел, молчит. Чорт знает, как я буду защищать его...

Через некоторое время, сидя за столом и работая, патрон, взглянув в потолок, сердито повторил:

— Наверное, парень невиновен...

А. И. Ланин был опытный и счастливый защитник, он красиво и убедительно говорил на суде; раньше я не замечал, чтоб судьба подзащитного особенно волновала его.

На другой день я пошел в суд. Дело о поджоге слушалось первым. На скамье подсудимых сидел парень лет двадцати, в тяжелой шапке рыжеватых, кудрявых волос. Очень белое «тюремное» лицо, широко раскрытые серо-голубые глаза, золотистые, чуть намеченные усики и под ними яркокрасные губы. Серый халат обидно искажает парня, его хочется видеть в малиновой рубахе, плисовых шароварах, в сапогах «с набором», с гармоникой или балалайкой в руках. Когда председательствующий В. В. Бер или обвинитель обращаются к подсудимому с вопросами, он быстро вскакивает и, запахивая халат, отвечает очень тихо.

— Громче, — говорят ему.

Он откашливается, но говорит все так же тихо. Это сердит судей, сердит присяжных. В зале скучно и душно, мотылек бьется о стекло окна, и этот мягкий звук усиливает скуку.

— Итак, вы не сознаетесь?

Перед судьями длинный, одноглазый старик, лицо у него железное, от ушей с подбородка висят прямые седые волосы. На вопрос, чем он занимается, старик глухо, могильно отвечает:

— Христа ради живу...

Потом, склонив голову набок, он гудит:

— Шел я из города, сильно запоздамши, солнышко давно село, и подхожу к ихой деревне, и вот светится маленько в темноте-то, да вдруг — как полыхнет...

Обвиняемый сидит, крепко держась за край скамьи, и, приоткрыв рот, внимательно слушает. Взгляд его странен, светлые глаза сосредоточенно смотрят не в лицо свидетеля, а в пол, под ноги его.

— Я — бежать, а он — чешет...

— Кто?

— Огонь, пожар...

Обвиняемый качнулся вперед и спросил неожиданно громко, с явным оттенком презрения, насмешки:

— Это когда же было?

— Сам знаешь когда, — ответил нищий, не взглянув на него, а парень встал, строго нахмурив брови и говоря суду:

— Врет он; с дороги из города не видать того места, где загорелось...

В него вцепился обвинитель, остроносенький товарищ прокурора; взвизгивая, он стал кусать парня вопросами, но тот снова отвечал тихо, неохотно, и это еще более восстановило суд против его. Так же неясно, нехотя обвиняемый отвечал и на вопросы защитника.

— Продолжайте, свидетель, — предложил Бер.

— Бегу, а он прыг через плетень прямо на меня.

Парень усмехнулся и что-то промычал, двигая по полу ногами в тяжелых «котах» арестанта.

Нищего сменил толстый мужик, быстро и складно, веселым тенорком он заговорил:

— Давно у нас догадка была на него, хоша он и тихий, и некурящий, ну, заметили мы однако: любит баловать с огнем... Еду я из ночного, облачно было, вдруг у шабра на гумне ка-ак фукнет, вроде бы из трубы выкинуло...

Обвиняемый, толкнув локтем солдата тюремной команды, вскочил на ноги и отчетливо, с негодованием почти закричал:

— Да — врешь ты! Из трубы, — эх! Что ты знаешь? Чать не сразу бывает — фукнуло, полыхнуло! Слепые. Сначала — червячки, красные червячки поползут во все стороны по соломе, а потом — взбухнут они, собьются, скатятся комьями, вот тогда уж и полыхнет огонь. А у вас — сразу...

Лицо его покраснело, он встряхивал головою и сверкал глазами, очень возбужденный, говоря поучительно и с большой силою. Судьи, присяжные, публика — все замерли, слушая, А. И. Ланин, привстав, обернулся к подзащитному и удивленно смотрел на него. А он, разводя руки кругами и все шире, все выше поднимая руки, увлеченно рассказывал:

— Да — вот так, да — вот так и начнет забирать, колыхается, как холст по ветру. В это время у него повадка птичья, тут уж его не схватишь, нет! А сначала — червяки ползут, от них и родится огонь, от этих красных червячков, от них — вся беда! Их и надо уследить. Вот их и надо переловить да — в колодцы. Переловить их — можно! Надо поделать сита, железные, частые, как для пшеничной муки, ситами и ловить, да — в болото, в реки, в колодцы! Вот и не будет пожаров. Сказано ведь: «Упустишь огонь — не потушишь». А — они, как слепые все равно, врут...

Ловец огня тяжело шлепнулся на скамью, потряс головою, приводя в порядок растрепавшиеся кудри, потом высморкался и шумно вздохнул.

Судебное следствие покатилось, как в яму. Подсудимый сознался в пяти поджогах, но озабоченно объяснил:

— Быстры они больно, червячки-то, не устережешь их...

В. В. Бер скучно сказал обычную фразу:

— Ввиду полного сознания подсудимого...

Защитник возбудил ходатайство о психиатрической экспертизе, судьи пошептались и отказали ему. Обвинитель произнес краткую речь, Ланин говорил много, красноречиво, присяжные ушли и через семь минут решили:

— Виновен...

Задумчиво выслушав суровый приговор, осужденный, на предложение А. И. Ланина обжаловать решение суда, сказал равнодушно, как будто все это не касалось его:

— Ну, что ж, пожалуйтесь, можно...

Солдат, вкладывая саблю в ножны, что-то шепнул парню, парень, резким движением запахнув халат, ответил громко:

— Я ж говорю: как слепые...

В 93 или 94 году за Волгой, против Нижнего-Новгорода, горели леса, — огонь охватил сотни десятин. Горький, опаловый дым стоял над городом, в дыму висело оранжевое солнце, без лучей, жалкое, жуткое; особенно неприятно было видеть, как тусклое отражение ощипанного солнца колеблется в мутной воде Волги, как бы нехотя опускаясь на грязное дно ее.

Луга за Волгой окрасились в бурый цвет, в городе тоже все краски поблекли. В дымной, чадной мгле все звучало глуше, сады обеднели пчелами, бабочками, и даже неукротимо бойкие воробьи стали тише чирикать, медленней летать.

Тяжело было смотреть, как за Волгой снижается обесцвеченное солнце, уходя в землю, а пышных красок вечерней зари — нет. По ночам из города видно: над черною стеной дальнего леса шевелит зубчатым хребтом огненный дракон, ползет над землей и дышит в небо черными облаками, напоминая Змея Горыныча древних сказок.

Дым наполнял улицы, просачивался в комнаты домов, город превратился в коптильню людей. Ругаясь, кашляя, люди по вечерам выходили на крутой берег реки, на Откос и, глядя на пожар, ели мороженое, пили лимонад, пиво, убеждая друг друга, что это мужики подожгли леса. Кто-то мрачно сказал:

— Первая репетиция пьесы «Гибель земли».

Знакомый поп, глядя в даль красными глазами пьяницы, бормотал:

— Апокалипсическая штучка... а пока выпить надо...

Шутки казались неуместными, очень раздражали, и все, что говорилось в эти мутные, удушливые дни, как-то особенно едко обнажало нищету и скуку обыденной жизни.

Пехотный офицер, мечтатель, сочинявший «Ботанику в стихах для девиц среднего возраста», предложил мне ехать с ним на пожар, — там работала часть солдат его роты. Мы поехали душной ночью на паре обозных лошадей, паро̀м перевез нас в село Бор, и сытые лошади, сердито фыркая, побежали по песчаной дороге в чадную мглу. Недвижимо обняв тихие поля, она кутала дали серой кисеей, сквозь нее медленно пробивался скучный рассвет, и чем ближе к лесам подъезжали мы, тем более голубел дым, горько царапая горло, выедая глаза.

Солдат на козлах громко чихал, а офицер, протирая пенснэ, покашливая, хвастал красотою своих стихов, отважно рифмуя гелиотроп и гроб.

Трое мужиков с лопатами и топорами уступили нам дорогу, пехотный поэт крикнул им:

— Где работает воинская часть?

— Не знаем...

Солдат, придержав лошадей, спросил:

— Где тут солдаты?

Мужик в красной рубахе указал топором влево от дороги:

— А — эвон...

Через несколько минут мы подкатились к перелеску, в густой чаще ельника и сосняка возились люди в белых рубахах, подбежал фельдфебель и, козыряя, отчеканил, что все благополучно, только чувашин обжегся немного. Затем он «осмелился доложить», что, по его разуму, работать здесь бесполезно:

— Место погибшее, огонь идет верхом, полукольцом, сожжет клинушек этот, а дальше ему есть нечего, сам погаснет...

И, указав длинной рукою вправо, предупредил:

— А там — торфяник, сухое болотце, там огонь низом ползет сюда. Люди беспокоятся...

Офицер тоже обеспокоился, видимо, не зная, как нужно распорядиться, но тут из леса медведем выломился

большой, бородатый мужик, с палкой в руке, с медной бляхой на груди, снял шапку, осеянную пеплом, и замер, глядя на офицера немым взглядом синих глаз.

— Староста?

— Так точно.

— Ну, что?

— Горит.

— Надо бороться с огнем, — посоветовал офицер. — Лес — наше богатство. Да... Лес, это, брат, не просто деревья, а — общество разумных существ, как, например, ваше село...

— У нас — деревня...

По земле, под ногами у меня, темной, кружевной полосою ползли муравьи, обегая навозного жука, он поспешно катил свой шарик. Я пошел посмотреть, откуда переселяется муравейник. Странный хруст колебался вокруг, некто невидимый шел рядом со мною, приминая траву, шелестя хвоей. И в движении ветвей было что-то неоправданное, непонятное.

Сзади меня очутился староста, жалуясь:

— Третьи сутки гуляю. Начальство будете? А-а, поглядеть желательно? Это — ничего! Идемте, я вас на холмик провожу, недалеко тут, с него хорошо видать...

Песчаный холм осеняли десятка два мощных сосен, кроны их, точно чаши, были налиты опаловой мутью. Перед холмом, в котловине, рассеянно торчали чахлые елки, тонкоствольные березы, серебристая осина трепетала пугливо; дальше деревья соединялись всё плотнее, и между ними возвышались сосны, покрытые по бронзовым стволам зеленоватой окисью лишаев.

У корней деревьев бегали, точно белки, взмахивая красными хвостами, веселые огни, курился голубой дымок. Было хорошо видно, как огонь, играя, влезает по коре стволов, извивается вокруг их, прячется куда-то, а вслед за ним ползут золотые муравьи, и зеленоватые лишаи становятся серыми, потом чернеют. Вот снова откуда-то выбежал огонь, грызет порыжевшую траву, мелкий кустарник и — прячется. И вдруг между корней кружится, суетится целая толпа красных бойких зверьков.

Опираясь руками на палку, староста ворчит:

— Наши там... спаси бог...

Людей не видно, но сквозь хруст, шорох и отдаленный глухой вой доносились из леса дробные удары топоров, гулкое уханье и тяжкий, скрипучий шум падения деревьев. Темненьким комочком подкатилась под ноги мне полевая мышь, белым мячом мелькнул по болоту зайчонок.

А щебета птиц не слыхать, хотя леса Заволжья богаты певчей птицей. И — ни пчел, ни шмелей, ни ос в тяжелом воздухе, в синеватой, опьяняющей, жаркой мгле. Было грустно видеть, как зеленое мертво сереет или покрывается рыжей ржавчиной и часто, не вспыхнув огнем, листья осины сыплются на землю пепельными бабочками, жалобно обнажая тонкие ветки. Но иногда лист, иссушенный жарою, вдруг весь вспыхнет и осыпается сотнями желтых и красных мотыльков. Я видел, как нижние лапы пышных елей там, далеко, быстро теряют бархатный, темнозеленый лоск, рыжеют, ржавеют и, сразу озолотясь, брызгают во все стороны густым дождем красноватых искр, похожих на запятые. Вот искры с легким, веселым треском дружно взвились вверх, осеяв всю пирамиду елки, взвились, исчезли, а дерево стало черным, и лишь кое-где на концах голых веток мелькают маленькие, желтые цветы огней. Вот еще так же быстро расцвела и погибла ель, еще и еще... Что-то прозвучало, лопнув, как гнилое яйцо, и по болоту, извиваясь, поползли во все стороны красно-желтые змеи, поднимая из травы острые головки, жаля стволы деревьев. Быстро желтел мелкий березовый лист, когда по белому стволу, по смолистым стружкам коры гибко вползал огонь, ветви курились синим дымом, удивительно красиво вились, тихонько посвистывая, его тонкие струйки. И в тихом свисте горения, казалось, звучат начала каких-то песен, странных и глубоких.

Непобедимо влекло вперед, ближе и ближе к огню. Староста ахал и тоже незаметно спускался с холма, помахивая палкой, восклицая:

— А, господи, чудеса твои... ах ты, господи!

Гул в лесу вдруг замолк, его сменил тревожный волчий вой:

— У-у-у...

— Побежали, — сказал староста, прислушиваясь, хмурясь.

И — точно: слева от нас, далеко, в деревьях замелькали фигуры людей; их словно выбрасывало из леса, так быстро выскакивали они. А справа, на болоте, явилось два солдата, в сапогах, серых от пепла, в рубахах без поясов; они вели коротконогого мужика, держа его под руки, как пьяного. Мужик фыркал и плевался, кропя встрепанную бороду и разорванную рубаху свою брызгами крови; нос и губы у него были разбиты, а неподвижные, точно слепые, глаза улыбались жалкой ребячьей улыбкой.

— Куда это вы его? — строго спросил староста.

Солдат-татарин, добродушно ухмыляясь, ответил:

— Поджог делал, огонь тащил место на местам!

Его товарищ сердито добавил:

— Поджигал, мы видели! Раздувал.

— Ну-у, видели, как жа-а! Закуривал я...

— Нам за вами приказано глядеть, а он зажег ветку и подкладывает...

— Ну-у, ка-ак жа-а! Зажег! К сапогу пристала...

Солдат ударил мужика по шее.

— Нет, погоди, ты не бей, — внушительно сказал староста. — Этот — наш мужик. Этот мужик, я тебе скажу, — не в разуме...

— Сади его на цепь...

Сердито, но неохотно заспорили, а по болоту кружились огни, встречая мужиков, бежавших из лесу. Человек семь, тяжело подпрыгивая, направлялось к нам, вот они подбежали и свалились на песок у холма, кашляя, хрипя, ругаясь.

— Чуть не захватило...

— Птицы сколь погибло...

При виде злых, измученных мужиков солдаты стали миролюбивее и, оставив избитого ими, ушли сквозь теплый дым, — он становился синее и все более едким. По болоту хлопотливо бегали огоньки, окружая стволы деревьев, блекла и скручивалась, желтея, листва ольхи и берез, шевелились лишаи на стволах сосен, превращаясь во что-то живое, похожее на пчел.

На холме стало жарко, трудно дышать, мужики, передохнув, один за другим уходили в чащу, выше на холм; староста угрюмо журил избитого:

— Завсегда у тебя скандал, Микита. Ни пожар, ни крестный ход, ничего тебе не скушно...

Мужик молчал, ковыряя черным пальцем передние зубы.

— И верно, что на цепь тебя сажать надобно...

Вынув палец изо рта, мужик крепко вытер его подолом рубахи. Он ворочал головою, неподвижные глаза его шарили по болоту, следя за струйками дыма. Все болото курилось, всюду из черной земли возникали голубые и сизые кудри дыма. И везде, вслед за ними, из торфа острым бугорком выскакивал огонь, качался, кланялся, исчезал, на месте его являлось красновато-золотое пятно, и во все стороны от него тянулись тонкие, красные нити, сами собою связываясь в узлы новых огней.

Вдруг у подножия холма вспыхнул неопалимой купиною куст можжевельника, староста, взмахнув палкой, попятился.

— Ишь ты, как... Уходить надо отсюдова...

И, тяжело шагая по песку между сосен, он ворчал:

— Хожу вот, а — чего хожу? Что может сделать человек против такого огня? А своя работа стоит! Может, не мене тыщи людей время теряют эдак-то вот...

Спустились по зарослям кустарника в лощину, на дне ее тускло блестел ручей, дым здесь осел гуще, и даже ручей казался густою струей дыма. Поднялась из травы куропатка и камнем упала в кусты, быстро прополз маленький ужишка, а за ним к ручью скатился комком еж.

— Догонит, — сказал Никита и быком, наклоня голову, полез сквозь кусты.

— Ты, гляди, не дури, — крикнул ему староста и, сбоку осторожно взглянув на меня, заговорил:

— Не в разуме маленько он. Троекратно горел, ну, и того... Солдаты, конечно, хвастают, поджогами он не занимается, ну, все-таки разум свихнулся, к озорству тянет...

Дым выедал глаза, они заливались слезами, крепко щекотало в носу, и было трудно дышать. Староста громко чихнул, озабоченно оглянулся, помахивая палкой.

— Скажи на милость, куда его метнуло.

Впереди нас по можжевельнику в лощину воробьиными прыжками спускались огоньки, точно стая красно-

грудых снегирей, в траве бойко мелькали остренькие крылья, кивали и прятались безмолвно птичьи головки.

— Микита? — крикнул староста и прислушался. Был слышен сухой хруст, предостерегающее шипение и тихонький свист. Где-то, очень далеко, шумели люди.

— Пес, — сказал староста. — Не сгорел бы. Ему огонь — как пьянице вино. Где пожар — он первый бежит сломя голову. Прибегет, вытаращит глаза и стоит, как все равно гвоздями пришитый к земле. Ни помочь людям, ничего, стоит и стоит, ухмыляется. Бивали его за это. Прогонят с одного места, он на другом приклеится. Полонен огнем...

Оглядываясь назад, я видел, что огни, спускаясь все ниже, торопятся поспеть вслед за нами, а вода ручья, кое-где покраснев, светится золотом.

— Мики-ита-а?

Встречу нам, лесом, бежал кто-то, староста остановился, протирая слезящиеся глаза, из-за деревьев выскочил парень без рубахи, она была наверчена на голове его чалмою.

— Куда гонишь?

Сильно двигая ребрами, отмахивая рукою назад, парень задыхался, бормотал:

— Там все разбежались... верхом пошло... не ходите туда. Сразу настигло... Ух, испугался я, господи...

— Ну, куда ж тут идти? — сам себя спросил староста. — Айдате прямо, что ли! Не знаем мы этот лес, зря согнали нас сюда. Плутай тут, а — какой толк? Только одним живешь, как бы от начальства укрыться.

Он говорил все более озлобленно.

— Житье! Утопленник ли, покойника ли, жертву убийства, найдут где, на дороге, лес ли горит, — на всякий этот случай требуется мужик. А у него — свое дело! Он чего требует? Одного: дайте ему спокой жизни. Боле — ничего... Микита-а? Чорт бы те драл...

Пройдя с версту редким, молодым сосняком, мы вылезли на поляну, на ней сидело и лежало полсотни мужиков, несколько баб принесли на коромыслах ведра квасу, хлеб. Увидав старосту, люди хором завыли:

— Долго мы тут дым глотать будем? Работа у нас...

Синеватые дымки ползали в траве, гладили заступы, топоры. Сверху дождем сыпался мелкий, серый пепел, невидимый в опаловой мгле, от него посерели бороды мужиков, посерела трава и широко распростертые лапы сосен покрылись как бы пенькою. Это был верный признак, что пожар идет верхом.

— Убирайсь отсюдова! — командовал староста. — Иди в поле...

Мужики тяжело поднялись и, покрикивая друг на друга, на баб, пошли просекой в бесконечную серую дыру.

Вплоть до ночи бродил я с ними по лесу и полю, вокруг нас воинственно гарцовали на сытых лошадях двое урядников, бестолково перегоняя толпу с места на место. Один из них, черненький, бойкий, размахивая нагайкой, кричал:

— Дьяволы, небойсь, как бы ваше горело...

Вечером я лежал в поле на сухой, жаркой земле, — смотрел, как над лесом набухает, колеблется багровое зарево и Леший кадит густым дымом, принося кому-то обильную жертву. По вершинам деревьев лазили, перебегали красные зверки, взмывали в дым яркие, ширококрылые птицы, и всюду причудливо, волшебно играл огонь, огонь.

А ночью лес принял неописуемо жуткий, сказочный вид: синяя стена его выросла выше, и в глубине ее, между черных стволов, безумно заметались, запрыгали красные, мохнатые звери. Они припадали к земле до корней и, обнимая стволы, ловкими обезьянами лезли вверх, боролись друг с другом, ломая сучья, свистели, гудели, ухали, и лес хрустел, точно тысячи собак грызли кости.

Бесконечно разнообразно строились фигуры огня между черных стволов, и была неутомима пляска этих фигур. Вот, неуклюже подпрыгивая, кувыркаясь, выкатывается на опушку леса большой, рыжий медведь и, теряя клочья огненной шерсти, лезет, точно за медом, по стволу вверх, а достигнув кроны, обнимает ветви ее мохнатым объятием багровых лап, качается на них, осыпая хвою дождем золотых искр; вот зверь легко переметнулся на соседнее дерево, а там, где он был, на черных, голых ветвях зажглись во множестве голубые свечи, по сучьям

бегут пурпуровые мыши, и при ярком движении их хорошо видно, как затейливо курятся синие дымки и как по коре ствола ползут, вверх и вниз, сотни огненных муравьев.

Иногда огонь выползал из леса медленно, крадучись, точно кошка на охоте за птицей, и, вдруг подняв острую морду, озирался — что схватить? Или вдруг являлся сверкающий, пламенный медведь-овсяник и полз по земле на животе, широко раскидывая лапы, загребая траву в красную, огромную пасть.

Выбегала из леса толпа маленьких человечков в желтых колпаках, а вдали, в дыму, за ними, шел кто-то высокий, как мачтовая сосна, дымный, темный, — шел, размахивая красной хоругвью, и свистел. Прыжками, как заяц, мчится куда-то из леса красный ком, весь в огненных иглах, как еж, а сзади его машет по воздуху дымный хвост. И по всем стволам на опушке леса ползают огненные черви, золотые муравьи, летают, ослепительно сверкая, красные жуки.

Воздух все более душен и жгуч, дым — гуще, горчей, земля все жарче, сохнут глаза, ресницы стали горячими, и шевелятся волосы бровей. Сил нет лежать в этой жгучей, едкой духоте, а уйти не хочется: когда еще увидишь столь великолепный праздник огня? Из лесу, горбато извиваясь, выползает огромная змея, прячется в траве, качая острой башкой, и вдруг пропадает, как бы зарываясь в землю.

Я съеживаюсь, подбираю ноги, ожидая, что змея сейчас появится где-то близко, это она меня ищет. И жуткое сознание опасности опьяняет, мучает еще более остро, чем жара, дым.

...Облака на западе грубо окрашены синим и рыжим. В жемчужном небе, над мохнатой ватагой ельника, повис истаявший, почти прозрачный обломок луны. Ельник разбрелся по болоту, дошел до горизонта и сбился в темную кучу, — там ему грозит красным каменным пальцем труба фабрики.

В полдень пролил обильный дождь, а потом, вплоть до вечера, землю сушило знойное солнце; теперь земля

сыра, воздух влажно душен. Болото вспухло скукой; скука тоже влажная, потная.

Фельдшер Саша Винокуров ходит медведем, на четырех лапах, по холму, засеянному рожью, ставит сеть на перепелов, а я лежу под кустом калины и думаю вслух:

— Хорошо бы начать жизнь сначала, лет с пятнадцати...

Продолжая беседу, Саша говорит жирным шопотом:

— Существующая обстановка жизни — никому не нравится.

Он скатился с холма под куст ко мне, вытер испачканные грязью ладони о голенища сапогов и осматривает «манки» — перепелиные дудки. По лбу его, на лысину, вздымаются волнистые морщины, глаза округлились, точно у рыбы.

Он — интересный. Сын судейского чиновника, он, «не в силах поднять тяжесть гимназической науки и гонимый варварством отца», убежал из дома, года два путешествовал по тюрьмам и этапам, как безымянный бродяга, затем «измученный до потери памяти даже о том, чего нельзя забыть», возвратился к отцу, «был сунут, как мертвая мышь в муравьиную кучу», вольноопределяющимся в пехотный полк и попал в школу военных фельдшеров. Отслужив положенный срок в солдатах, семь лет плавал на пароходах «Добровольного флота» и —

— Пил всемирные алкогольные напитки, не потому, что пьяница, а — надо чем-нибудь заявить людям об оригинальности характера! Пил в таком количестве, что на меня приходили смотреть даже англичане. Стоят истуканами, пожимают плечами, улыбаются, им — лестно: вот это — потребитель! Есть для кого джин и виски делать. Один даже намекнул мне: «А вы, говорит, не пробовали ванну брать из виски?» А впрочем, англичане — хороший народ, только язык у них хуже китайского...

— Незаметно для себя очутился я в Персии, женатым на горничной английского купца; очень милая женщина, но — оказалась пьяница, а может быть, что я ее споил. Через два года она скончалась от холеры, а я перебрался в самый безобразный город на свете, в Баку, потом — сюда, в этот лягушатник. Тоже — город, чорт его раздери на тонкие полоски.

— Саша, — прошу я, — расскажите, как вы путешествовали в Китай?

— Путешествуют обыкновенно: садятся на пароход, остальное — дело капитаново, — говорит он, разбирая дудки. — А капитаны — все пьяницы, ругатели и драчуны, таков закон их природы. Дайте папироску!

Зажег папиросу, понюхал одной ноздрею струйку дыма.

— Табачок — легковейный, пур ля дам *.

Винокурову за пятьдесят, но это человек крепкий. Его солдатское, деревянное лицо освещают ясные глаза; взгляд их спокоен, — взгляд человека, который много видел, отвык удивляться и чужд тревог. Смотрит он как-то через людей, мимо их, относится к ним снисходительно, немножко по-барски. Он не занимается медициной:

— Догадался, что медицина — наука слепая.

У него в городе — «Кефирное заведение и торговля болгарской сывороткой с доставкой на дом по способу И. Мечникова».

— Расскажите что-нибудь, — настаиваю я.

— Удивляюсь вашей ненасытности! И куда вы складываете всю эту труху слов людских? Что же рассказать?

— Что видели.

— Н-ну-у! Это — на год. Видел я все, что полагается, все препятствия. Почему — препятствия? А — как это назвать? Отвалит пароход от пристани, перекрестишься, ну, везите куда назначено. И плывешь день, ночь, день, ночь; кругом — пустота моря и небес, а я человек спокойный, мне это нравится. Однако — гудок, значит: приехали куда-то. Остановка эта и кажется препятствием. Как будто — шел ночью и вдруг наткнулся на забор.

— Н-ну, тотчас на палубе зачинается истерическая суета этих бесподобных пассажиров. Пассажиры — совершенно особенный тип народа, самый бессмысленный тип. Человек в море, на палубе судна, приобретает смешную детскость, не говоря о том, что почти всех унизительно тошнит. И вообще — в море замечаешь, что человек — еще больше пустяк, чем на суше, — в этом я и вижу

* Дамский *(искаж. франц.)*. — *Ред.*

поучительное достоинство морских путешествий. В заключение же прямо скажу: на поверхности земли и воды нет ничего хуже пассажиров.

— Для бездельника — везде скучно, а на морях скука особенно ядовита, пассажиры же, по натуре своей, все — бездельники. От скуки они даже сами себя теряют до того, что, несмотря на высокий чин, ордена, богатство и прочие отличия, обращаются с кочегаром как с равным себе; я самолично наблюдал такой случай. Как собаки на овсянку, бросаются они к бортам наслаждаться окрестностями чужих берегов. Пожалуйста, наслаждайся, но — не суетись! Однако у них немедленно начинается топот ног и разногласие: «Ах, смотрите, ах, поглядите». Между прочим — смотреть не на что: все вполне обыкновенно — земля, постройки, люди меньше мышей. И всегда, в этот час, разыгрывается какая-нибудь несчастная случайность: в Александрии проклятая горничная растяпала у меня драхмовую склянку ацидум карбоникум, конечно запах по всему первому классу, помощник капитана обрушил на меня такие слова, что какая-то дама, в раздражении чувств, подала жалобу капитану, но, по ошибке, тоже на меня. Или, например: прищемило девочке палец амбулаторной дверью, а папаша ее тычет мне палкой в селезенку, потому что он дипломат. И всё в этом роде: неожиданно и глупо.

— Кратко говоря — на этом земноводном шаре я не видел ничего необыкновенного; везде одинаково оскорбляют и словом и действием; особенно прилежно на азиатском полушарии, но и на других тоже. Два полушария, говорите? Я считаю это ошибкой умозрения: если, взглянув на дело строго практически, резать этот шар наш по линии любого градуса от полюсов, то мы обязательно получим столько полушарий, сколько имеем градусов, а можно и больше. Дайте папироску!

Закурив, прищурясь, он сказал:

— Курить не следовало бы, перепел дыма не любит.

И продолжал спокойно, вполголоса:

— Изредка бывают случайности интересные, но для спокойствия души лучше, чтоб их не было. Например: в Китайском море, — есть и такое, хотя от других морей ничем не отличается, — так вот: идем мы этим самозван-

ным морем в Гонконг с большим опозданием, и ночью, в кромешной тьме, замечен был вахтой необыкновенный огонь. Я, младший помощник капитана, боцман и буфетчик играли в преферанс, вдруг слышим:

— «Пожар на море...»

— Конечно — пошли смотреть, даже не доиграв пульку. Когда люди находятся в долгом плавании, то всякие пустяки возбуждают их интерес, даже на дельфинов смотрят с удовольствием, хотя несъедобная рыба эта похожа на свинью, в чем и заключается весь комизм случая. Итак — наблюдаю: обыкновенная, душная ночь, жарко, точно в бане, небеса покрыты черным войлоком и такие же мохнатые, как это море. Разумеется — кромешная тьма, далеко от нас цветисто пылает небольшой костерчик и так, знаете, воткнулся остриями огней и в небо и в море, ощетинился, как, примерно, еж, но — большой, с барана. Трепещет и усиливается. Не очень интересно, к тому же мне в картах везло.

— У людей, как я заметил, есть эдакое идольское пристрастие к огню. Вы тоже знаете, что высокоторжественные царские дни, именины, свадьбы и другие мотивчики человеческих праздников — исключая похороны — сопровождаются иллюминациями, игрою с огнем. Также и богослужения, но тут уже и похороны надо присоединить. Мальчишки даже и летом любят жечь костры, за что следует мальчишек без пощады пороть во избежание губительных лесных пожаров. В общем скажу, что пожар — зрелище, любезное каждому, и все люди стремглав летят на огонь, подобно бабочкам ночным. Бедному приятно, когда богатый горит, и у всякого зрячего человека есть свое тяготение к огню, это известно.

— Пассажиры выметнулись на палубу и, наслаждаясь зрелищем, ведут легкий спор: что горит? Как будто им неизвестна очевидность — в море могут гореть только суда различных наименований; среди таких обширных вод все другие человеческие постройки невозможны, как это понятно даже и глухонемому ребенку. Удивительно, что пассажиры не понимают простого: обилие лишних слов не может способствовать рассеянию скуки жизни.

— Ну-у, я скромно слушаю оживленный разговор заинтересованных зрелищем, и — вдруг женский возглас:

— «Но ведь там должны быть люди!»

— Я даже усмехнулся: какое легкомыслие! Само собою понятно, что ни одно судно не может выйти в море без людей, а она только сейчас догадалась об этом. И снова кричит:

— «Их нужно спасти!»

— Начался спор: одни соглашаются — нужно, другие, поделовитее, указывают, что мы и без этого идем с опозданием. Но дама оказалась женщиной навязчивой и бойкой, — после я узнал, что она ехала из Карса в Японию, к сестре, которая была замужем при посольстве, а также по причине туберкулеза легких, — так, говорю, оказалась она весьма назойливой, — требует спасения погибающих людей и подбивает пассажиров послать капитану депутацию просить его о помощи горящему судну. Ей основательно возражают, что, может быть, судно китайское и люди на нем — тоже китайцы, но это нисколько не успокоило ее, наборот: истерическим визгом она довела каких-то троих до того, что они отправились просить капитана и, хотя он опирался на опоздание, доказали ему, что будто есть морской закон о подаче помощи в несчастиях, и даже пригрозили составить протокол.

— К полному торжеству забияки, капитан изменил курс, и потёпали мы по мохнатому морю, по кочкам волн, в кромешную тьму, на огонь этот. Команда, серчая, трудится, готовясь спустить шлюпки; подъехали мы близко, видим: горит дрянненькое китайское суденышко о двух мачтах, около него ныряют две лодочки с людьми, орут люди, воют, а на горящем судне, на носу его, стоит высокий, тонкий человек; стоит и стоит. Огонь полышет совершенно серьезно, корма уже вся в огне, мачты — как свечи, даже на кубрике хлещет пламя, а человечек этот точно часовой — недвижим. Видно его очень прозрачно.

— Наша команда приняла людей из лодки, — было их семь человек, из другой лодки трое, от преждевременного страха, бросились в воду, все утонули. Спасенные объявили, что на судне остался хозяин их и желает погибнуть вместе с имуществом. Матросы наши очень звали его: «Прыгай, чорт, в воду!» Но — ведь не арканом же его тащить? Возиться с его упрямством было некогда,

капитан пронзительно свистит. В самые те минуты, когда огонь охватил носовую часть судна, видел я очень прозрачно, как этот азиат запрыгал, вдруг весь вспыхнул огнем, схватился за голову руками и нырнул в огнище, словно в омут.

— Но суть случая, конечно, не в поведении китайца, народ этот совершенно равнодушен к себе по причине своей многочисленности и тесноты населения; они даже до того дошли, что в случаях особо заметного избытка людей жеребий бросают: кому умирать? И жеребьевые умирают вполне честно. Когда же у них в семье родится вторая девочка, так ее швыряют в реку; больше одной девицы на семью не выносят они.

— Но суть, говорю, не в них, а в поведении чахоточной этой дамы, кричит она капитану, почему он не приказал погасить огонь на судне? Он ей внушает:

— «Сударыня, я не пожарный!»

— А она кричит:

— «Но ведь погиб человек!»

— Ей объясняют, что это очень обыкновенный случай даже и на суше, а она — свое:

— «Знаете ли вы, что такое человек?»

— Конечно, — все насмешливо улыбаются.

— А она, как собачка комнатная, прыгает на всех и верещит:

— «Человек, человек...»

— Зрители, обижаясь, отходят от нее, тут она — к борту и плакать. Подошел к ней один сановник, так сказать — вельможа, — забыл я имя его! — и внушительно предложил успокоиться:

— «Сделано, — сказал, — все, что можно было сделать...»

— Но она с ним обошлась невежливо. Тогда я говорю ей совершенно почтительно:

— «Сударыня, позвольте предложить вам валерьяновых капель...»

— Она, не глядя на меня, шепчет:

— «О, идиоты...»

— Признаюсь, что, несмотря на мою скромность, это обидело меня. Но все же как можно деликатнее говорю:

— «Сударыня, скандал, вызванный благородством вашего сердца, возмущает и мое...»

— Но и деликатность мою отвергла она, — кричит стремительно прямо в нос мне:

— «Уйдите прочь...»

— Ну, тут я, разумеется, отошел, великодушно оставив пред нею рюмку с эфирно-валериановыми каплями. Встал в сторонку, слушаю, как она сморкается, хлюпает. Стою и чувствую: есть что-то очень обидное для меня в этих слезах о неизвестном китайце. Не может же быть, чтобы она всегда искренно плакала обо всех погибающих на ее глазах от разных причин. В Сингапуре сотни индейцев от голода издыхали, — никто из наших пассажиров слез не проливал. Положим, это — чужой народ, но однако на моих глазах десятки наших, русских, матросов, портовых рабочих и других людей рвало, ломало, давило при полном равнодушии пассажиров, если не считать страха и содрогания нервов, от непривычки видеть обильную кровь.

— Думал я, думал по поводу этого случая с женщиной, неприятно много думал, но так ничего и не решил...

Винокуров подергал свои усы, прислушался, потом сердито сказал:

— Подозреваю в этом поступке бесполезность.

Ночь. В мутносинем небе тусклые звезды. Обломок луны куда-то исчез. Низенькая, тощая ель, недалеко от нас, потемнев, стала похожа на монаха.

Саша Винокуров предлагает идти в сторожку лесника и там подождать до рассвета, когда проснутся перепела. Идем. Тяжело шагая по мокрой траве, он внятно говорит:

— Когда очень горячо — не разберешь: солоно ли?

А. Н. ШМИТ

По Большой Покровке, парадной улице Нижнего-Новгорода, темным комом, мышиным бегом катится Анна Николаевна Шмит, репортерша «Нижегородского листка». Извозчики говорят друг другу:

— Шмитиха бежит скандалы искать.

И ласково предлагают:

— Мамаша, — подвезти за гривенничек?

Она торгуется, почему-то всегда дает семь копеек. Везут ее и за семь, — извозчики и вообще все «простые» люди считают Анну Шмит «полуумной», блаженной, называют «мамашей», хотя она, кажется, «дева», они любят услужить ей даже — иногда — в ущерб своим интересам.

С утра, целый день Анна Шмит бегает по различным городским учреждениям, собирая «хронику», надоедает расспросами «деятелям» города, а они отмахиваются от нее, как от пчелы или осы. Это порою заставляет ее употреблять приемы, которые она именует «американскими»: однажды она уговорила сторожа запереть ее в шкаф и, сидя там, записала беседу земцев-консерваторов, — подвиг бескорыстный, ибо сведения, добытые ею, не могли быть напечатаны по условиям цензуры.

Глядя на нее, трудно было поверить, что этот кроткий, благовоспитанный человек способен на такие смешные подвиги соглядатайства.

Она — маленькая, мягкая, тихая, на ее лице, сильно измятом старостью, светло и ласково улыбаются сапфировые глазки, забавно вздрагивает остренький, птичий нос. Руки у нее темные, точно утиные лапы, в тонких пальцах всегда нервно шевелится небольшой карандаш, — шестой палец. Она — зябкая, зимою надевает три и четыре шерстяных юбки, кутается в две шали, это придает ее фигурке шарообразную форму кочана капусты.

Прибежав в редакцию, она, где-нибудь в уголке, спускает две, три юбки, показывая до колен ноги в толстых чулках крестьянской шерсти, сбрасывает шали и, пригладив волосы, садится за длинный стол, среди большой комнаты, усеянной рваной бумагой и старыми газетами, пропитанной жирным запахом типографской краски.

Долго и молча пишет четким, мелким почерком и вдруг, точно ее невидимо толкнули, вздрогнув, быстрым движением вскидывает голову, оглядывается, как будто впервые и случайно нашла себя в этой комнате. Ее глаза строго синеют, мятое лицо резко изменяется, на нем выступают скулы, — видимо, она крепко сжала зубы. Так, оглядывая всех и все потемневшим взглядом, она сидит недвижимо минуту, две. Казалось, что в эти минуты

Анна Шмит преодолевает припадок острого презрения ко всему, что шумело и суетилось вокруг ее, а один из сотрудников А. А. Яровицкий шептал мне:

— Анюту захлестнула волна инобытия...

Многочисленные юбки Анны Шмит сильно потрепаны, ботинки в заплатах, кофточки простираны до дыр и неискусно заштопаны. Ее мать, больная старуха лет восьмидесяти, могла питаться только куриным бульоном, для нее необходимо было покупать ежедневно курицу, это стоило шестьдесят-восемьдесят копеек, то есть — тридцать-сорок строк, а печатала Шмит, в среднем, не более шестидесяти строк.

Говоря о матери, она становилась похожа на девочку-подростка, которая любит мать и считает ее высшим авторитетом во всех вопросах жизни. Было странно и трогательно слышать из уст старухи мягкое, детское слово — мама.

Мне говорили, что эта мама старчески эгоистична и раздражительна; если курица оказывалась жестка или надоедала ей, старуха топала ногами на дочь и бросала в нее ложками, вилками, хлебом. Ко мне Анна Шмит относилась очень внимательно, но, не замечая в ней ничего интересного, я уклонялся от ее несколько назойливых вопросов, — они почти всегда касались интимных сторон жизни. Обычно же она говорила мало и почти всегда о «делах» города, газеты. В бесцветных речах ее я не мог уловить ни одного оригинального, меткого слова, которое навсегда всосалось бы в память, а я был очень лаком до таких слов, — они, точно лучики солнца, освещая темноту души ближнего, вдруг покажут какую-то неожиданную частицу ее и тем причастят тебя духу человека.

Убогость внешнего облика Анны Шмит безнадежно подчеркивалась убожеством ее суждений о политике города и государства, и это давало право всем в редакции относиться к ней так же, как относились извозчики, — считать ее «блаженной», недоумком.

Тем более сокрушительно изумлен был я, когда священник Ф., талантливый организатор публичных прений с бесчисленными сектантами нижегородского края, сказал мне, неприязненно наморщив свой нос:

— Хитрейшая старушонка эта ваша Шмит! Весьма искусный ловец человеков. Вредное существо.

Не веря искренности изумления моего, иронически ухмыляясь, он говорил в ответ на мои вопросы:

— Будто не осведомлены? Трудновато допустить сие при наличии хорошо известного мне любопытства вашего в отношении к людям...

Он страдал какой-то неизлечимой болезнью, его аскетически костлявое, христоподобное лицо было обтянуто темной кожей, глаза лихорадочно сверкали, он часто облизывал губы бурым языком и нервозно ломал длинные пальцы, так что они трещали. В спорах с «еретиками» он был ехиден, ловко пользовался искусством эристики и умел раздражать противников так, что они оплошностями своими всегда облегчали ему словесные победы. Мне очень нравилось наблюдать его фокусы, но казалось, что этот человек с лицом великомученика не любит ни бога, ни веры, ни людей, жизнь опротивела ему, он ходит на прения, как ходил бы в трактир играть на бильярде, — он напоминал мне актера, который читает роль правоверного еврея в пьесе «Уриэль Акоста». Похрустывая пальцами, он выспрашивал меня:

— И того якобы не знаете, что эта Шмит находится в переписке с философом Владимиром Соловьевым, коего справедливо обвиняют в уклоне к ереси католической?

Я сказал:

— Это так же неожиданно для меня, как если бы вы, отец Александр, оказались вдруг не священником, а пожарным.

К вящему изумлению моему священник расхохотался и, сквозь смех, стал уличать меня:

— Вот вы и проговорились! Ох, плохой дипломат вы! Значит — с учеником ее, пожарным Симаковым, — знакомы?

После настоятельных и даже сердитых заявлений моих, что я не знаю пожарного, священник, не скрывая недоверия своего, лениво рассказал мне, что Анна Шмит организовала религиозный кружок, способный развиться в секту, в кружке этом — извозчики, мастеровые, какой-то тюремный надзиратель и пожарный.

— Народ наш любит словесность и привержен к сказкам. Пожарный этот беспоповцем был, а ныне Шмитихин пламенный адепт. Но, по природе своей дурак, он есть самый болтливый из прозелитов новой секты, и, ежели вы желаете ознакомиться, как ерундословие старухи этой укладывается в мозгах простецов, вы с ним познакомьтесь. Он бывает на прениях у меня, рычит нелепо...

Лука Симаков, рядовой гренадерского полка — большой, грузный человек с черными, щеткой, усами и синим, гладко обритым черепом. Щеки у него тоже синие, а толстая нижняя губа — цвета сырой говядины. Левый, темный глаз меньше правого и тревожно забегает к виску, особенно далеко в те минуты, когда Лука волнуется, и жесткой ладонью, размером с небольшую лопату, крепко трет череп свой, трет так, что слышен треск волос. А правый глаз его, большой, выпуклый, почти неподвижен, тускл и, окруженный очень длинными ресницами, напоминает какое-то насекомое.

В темненьком трактире, навалясь грудью на стол, он глухим голосом поучал меня:

— По-твоему — как надо Христа понимать?

Луку не надо было выспрашивать, слова лились из его рта, как ручей из трещины в камне. Он говорил с тем буйным напором верующего, который исключает возможность возражений:

— Христос — это лёгость!

«Лёгостью» зовется тонкая веревка, с грузом на конце, ее матросы пароходов бросают на пристань, подчаливаясь к ней.

— Не то-о! — с досадой сказал Лука. — Лёгость — легкость, понял? Христос — легкость, с ним жить легко. Насчет чалки — это подходящее, — причаливай через Христа к истинной вере. Только — ты пойми! — Христос не естество и не существо, он просто одно слово...

— Логос?

Симаков удивленно вскричал:

— Во-от!

И еще подвинулся ко мне, спрашивая:

— Откуда знаешь? Кто научил? Мамаша? Какова старушка-то? — уже шопотом продолжал он. — Ведь — так себе, вроде нищей. Мы — наряжаемся, хвастаем, а она, святость, неприметна. И в мухе сокрыта премудрость...

— А слово это ты никому не говори, — предупредил он меня. — Особенно, чтобы попы не услыхали, — попам оно яд. Ежели они услышат это слово — тебе будет плохо!

Потом он сообщил мне как великую тайну, что Христос — жив, живет в Москве, на Арбате.

— Это все выдумано попами, будто он на кресте помер, а после воскрес, вознесся, нет, — он на земле, около людей. Слово — не убьешь! Ну-ко, убей-ко — да? Вот я тебе говорю слово — да, а ты его убей! Понял?

Часа два слушал я темные речи пожарного; уходя, он покровительственно обещал:

— Ты погоди, я тебя сведу с самой мамашей! Она тебя обучит.

О моем знакомстве с пожарным Шмит узнала раньше, чем я успел сказать ей. Беспокойно постукивая карандашиком по ногтям, она спрашивала:

— Что говорил вам этот простец божий?

Узнав, что Лука рассказал мне о Христе, живущем в Москве, на Арбате, она еще более тревожно стала шаркать карандашом по ногтям, говоря:

— Он — не совсем разумен, он несколько раз сильно угорал на пожарах, это очень отразилось на нем.

Глаза ее потемнели, и что-то суровое светилось в них, она плотно сжала губы, и маленькое личико ее огорченно сморщилось.

— Если вы серьезно интересуетесь этими вопросами, — можно поговорить, я свободна в троицын день...

И тотчас же спросила, усмехаясь:

— Но — ведь вы из любопытства, от скуки, да?

Я сказал, что мне жить — не скучно и что желание знать, как думают люди, я бы не назвал простым любопытством.

— Конечно — нет, конечно! — тихонько воскликнула Шмит, и вдруг вполголоса, складно, языком привычного оратора, быстро крутя карандаш темными пальцами мумии, она заговорила о том, как люди далеки друг другу, как мало у них желания и умения проникнуть в сокровенное души ближнего.

— В мутном потоке жизни мы плаваем немы, как рыбы. «Мир мирови твоему даруй», молимся мы, но ведь мир — гармония душ, их всеобщая связь, а — как связаться с немой, непостижимой?

Ее позвали в контору, и, уходя, она ласково попросила:

— А над Лукою вы не смейтесь, это безумец Христов, такими строится истинная вера.

В троицын день, вечером, она пришла ко мне одетая празднично: в коричневой юбке, с заплатой на подоле, — кусок юбки был, очевидно, вырван гвоздем или зубами собаки; синюю сарпинковую кофточку украшал на груди голубой бант, а на ногах блестели новые калоши, хотя погода стояла сухая и жаркая. Оказалось, что Шмит отдала ботинки чинить, но сапожник не успел сделать это, и вот она гуляет в калошах.

Мы пили чай с вишневым вареньем и сушками, — я знал, что это любимые лакомства Анны Николаевны. А к полуночи я узнал, что старенькая, забавная репортерша провинциальной газеты Анна Шмит — воплощение одной из жен-мироносиц, кажется — Марии Магдалины, которая, в свою очередь, была воплощением Софии, Вечной Премудрости. На расстоянии от Марии Магдалины до Анны Шмит Вечная Премудрость воплощалась, разумеется, не однажды, одним из ее воплощений была Екатерина Сиенская, другим — Елизавета Тюрингенская, был и еще ряд воплощений, уже не помню имен их.

В начале речи Анны Шмит мне было несколько неловко слушать ее, — все, что говорила она, никак не объединялось с ежедневной курицей, резиновыми калошами и всем прочим во внешнем облике воплощения Вечной Премудрости. Я сидел, опустив голову, стараясь

не видеть, как это воплощение, разламывая сушки, поддевая их рогульками липкие ягоды варенья, обсасывает их тонкими губами; смешно было слушать, как сушки хрустят на зубах.

Но — предо мною сидел незнакомый мне человек, он говорил очень складно, красиво уснащал речь свою цитатами из творений отцов церкви, говорил о гностиках, о Василиде и Энойе; голос его звучал учительно и властно, синие зрачки глаз расширились и сияли так же ново для меня, как новы были многие мысли и слова. Постепенно все будничное и смешное в этом человеке исчезло, стало невидимо, и я хорошо помню радостное и гордое удивление, с которым наблюдал, как из-под внешней серенькой оболочки возникают, выбиваются огни мышления о зле жизни, о противоречии плоти и духа, как уверенно и твердо звучат древние слова искателей совершенной мудрости, непоколебимой истины. Об Анне Шмит напоминал только карандашик, неустанно и все быстрей вертевшийся в ее сухоньких, темных пальцах мумии. Она как будто немного охмелела, рисуя карандашом в воздухе капризный узор путей мысли, она подскакивала на стуле и, улыбаясь, с радостью говорила:

— Вы представьте себе безысходный ужас Дьявола...

На подбородке Анны Шмит блестела рубиновая капелька варенья.

Подняв правую руку над головою, она сказала:

— И Христос — жив есть!

Я узнал, что Христос это — Владимир Соловьев, он же — Логос; Христос непрерывно воплощается в того или иного человека и вечно — среди людей. Но воплощения Софии не подвергаются воздействию разрушительных влияний суетного мира сего с той легкостью, как воплощения Логоса, особенно враждебные Дьяволу.

— Чистая духовность Логоса не претерпевает искажения, но человек, воплощающий в себе Логос, нередко затемняет ее черной мудростью Сатаны.

Она вынула из кармана юбки кожаный пакетик, а из него осторожно достала несколько писем:

— Это письма Соловьева, — вот, послушайте, как трудно ему...

Многозначительно подчеркивая отдельные слова, она прочитала несколько отрывков; я ничего не понял в них, но в одном Соловьев цитировал слова Фридриха Великого, сказанные им на поле какой-то битвы солдатам своим, которые побежали от врага:

«Подлецы! Разве вы хотите жить вечно»?

Слова эти напомнили мне четверостишие Соловьева:

В лесу — болото,
В болоте — мох;
Родился кто-то,
Потом — издох.

Вспомнил я и эпитафию его:

Под камнем сим лежит
Владимир Соловьев.
Сначала был пиит,
А после — философ.
Прохожий! Научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

Я спросил Шмит: что думает она об этих шутках?

Она откинулась на спинку стула, ее острый носик покраснел, зрачки стали совершенно синими, и в голосе ее мне послышался гнев:

— Кто сказал вам, что это его, что это им написано? Нет, нет, это клевета! Это шутки его товарищей...

Но вскоре серенькая старушка, похожая на самку воробья, говорила о человеке шумной славы, о философе, искуснейшем диалектике и талантливом поэте, тоном матери, встревоженной поведением сына.

— Вы знаете, — даже самого Христа Дьявол соблазнял славою земной.

Эти слова она сказала, как бы утешая кого-то, и так вопросительно, почти умоляюще посмотрела на меня, что я счел нужным откликнуться ей:

— О, да...

— Он слишком тяготеет к людям, потому что добр. Но человек только тогда силен против соблазнов, когда умеет во всех окружениях оставаться самим собою. Христос тяготел к людям после того, как укрепил дух свой в пустыне, а Соловьев идет к ним преждевременно...

Она именовала Соловьева хрустальным сосудом Логоса, святым Граалем, величайшим сыном века и —

ребенком, который, плутая в темной чаще греха, порою забывает невесту, сестру и матерь свою — Софию, Предвечную Мудрость.

— Понимаете? Невесту и мать...

Иногда мне казалось, что в словах Анны Шмит слышу я обиду влюбленной женщины, даже сентиментальность старой девы, но это мелькало в ее речах бледненькими искрами, тотчас же заменяясь покровительным отношением к Соловьеву, как человеку, которым надо руководить на путях жизни.

Понизив голос, она рассказывала как тайну:

— Его соблазняют люди, но еще более настойчиво — черти. Он знает это. В одном письме он пишет, что черти заглядывают в окна к нему, а один даже спрятался в сапог и всю ночь сидел там, дразнился, шумел...

О чертях она говорила так же просто, как говорят о реальном: тараканах, комарах.

— И еще — слава; слава делает человека актером, — памятно сказала она. — Если на человека пристально смотрят, он начинает прятаться в различных выдумках, он хочет быть таким, как приятнее людям. Вы знаете это?

Я, к сожалению, это знал. И все с бо̀льшим трудом верил ушам и глазам своим, наблюдая, какие верные мысли горят в душе этого незаметного человечка. Она снова заговорила о пустыне, о великом значении самосозерцания и одиночества и говорила на эту тему так много, что, помню, у меня скользнула мысль: не слишком ли одинок этот человек, и не потому ли он так откровенен со мною? Как маленькая птица, отбившись от стаи, она летит над морем к далекому, в ночи, огню, к маяку на невидимый и неведомый берег. Этот маяк — Владимир Соловьев, и это все, чем освещена и осмыслена ее тихая, одинокая жизнь среди здравомыслящих людей.

— Разве Христос не испытал человеческого страха пред судьбою? — вдруг спросила она и тотчас, закрыв глаза, стала читать нараспев, как псалом, чьи-то стихи:

Душа во плоть с небес сошла,
Но ей земная жизнь мила,
Душа срастается с землею
И, как усталая пчела,
Пьет сладкий яд земного зла.

Стихи были длинные, Анна Шмит читала их тихо, для себя, и только две последние строки выговорила громко, с торжественной угрозой, открыв влажные глаза и высоко взмахнув карандашом:

И вечности колокола
Души умершей не разбудят.

Поздно заполночь я пошел провожать ее. По улицам шмыгал ветер, вздымая пыль, шелестя березками; березки были привязаны к тумбам, а некоторые уже валялись на земле. Бродили пьяные, где-то неистово закричала женщина, из подворотни выскочил черный котенок, Шмит брезгливо оттолкнула его ногою:

— Точно чортик.

К нам привязался пьяный почтальон, бестолково рассказывая о какой-то обиде, нанесенной ему, он стучал кулаком в грудь свою и спрашивал, всхлипывая:

— Разве я ему — враг?

— Идемте скорее, — сказала Шмит и, быстро шагая, тоже пожаловалась:

— Разве это — праздник? Разве так надо праздновать?

После этого, встречая в редакции Анну Шмит, я стал ощущать непобедимую неловкость; я не мог относиться к ней, как относился раньше, не мог говорить о пустяках лениво текущих буден. Она же, видимо, иначе истолковав мою сдержанность, стала говорить со мною сухо и неохотно. Ее сапфировые глаза смотрели мимо меня на карту России, засиженную мухами так, как будто на всю русскую землю выпал черный град.

Мне очень хотелось познакомиться с учениками Шмит, но она сказала:

— Едва ли это интересно для вас, простые люди, очень простые...

А Лука Симаков, потирая череп, тревожно двигая косым глазом, сообщил мне:

— Не понравился ты мамаше, не велела она мне говорить с тобой.

Но минуты через две, прижимая меня тяжким телом своим в угол казарменной клетки, где он жил, пожарный шептал:

— Христос прячется от попов, попы его заарестовать хотят, они ему враги, конечно! А Христос скрылся под Москвой, на станции Петушки. Скоро все будет известно царю, и вдвоем они неправду разворотят в трое суток! Каюк попам! Истребление!

В нелепых словах Луки чуялось слепое озлобление сектанта и страх пред чем-то, чего он не мог выразить; неизбывный, темный страх этот сверкал в его левом глазу, все время забегавшем к виску. Из двух, трех бесед с ним я вынес впечатление почти жуткое: Христос чудился пожарному мстительным и мрачным существом, оно враждебно присматривается к жизни людей откуда-то из темного угла и ждет минуты, чтоб выпрыгнуть оттуда.

— Церквы разрушить хочет, — шептал мне пожарный. — Он с того начал, — помнишь, в Ерусалиме? Во-от...

Все-таки он познакомил меня с одной ученицей Анны Шмит, портнихой-одиночкой Палашей, девицей лет тридцати. Коротконогая, сутулая, без шеи, с плоским лицом и остренькими стеклянными глазками, она была фальшиво мягка на словах и, видимо, очень недоверчива к людям. Жила она в глухом переулке над оврагом, в ее двух комнатах неустанно гудели черные, большие мухи, звонко стукаясь в тусклые стекла окон. На подоконнике недвижимо сидел жирный кот, очень редкий — трех шерстей: рыжей, белой и черной; меня очень удивило отношение кота к мухам: они садились на голову его, ползали по спине, — кот неподвижно смотрел в окно и ни разу не встряхнул шерстью, чтоб согнать мух.

Нараспев, словами, неестественно и как бы нарочно искаженными, Палаша говорила, ловко пришивая пуговицы к пестрой батистовой кофточке:

— Жисть нашая, миленький мой господин, совсем безбожная и настолько грешная, что даже — ужасть! А Христос невидимо коло ходит, печалуется, сокрушается: ох вы, людие бесчастное! И на что разделил я душеньку свою промеж вас? На поругание, на глумление...

Потом она читала стихи из апокрифа «Сон богородицы», а кончив неприятно унылое чтение, объявила мне:

— Истинное имечко богоматери — не Мария, а Енохия, родом же она от пророка Еноха, который был не еврей, а грек.

Когда я спросил ее, знает ли она Анну Николаевну Шмит, Палаша, наклонив голову, перекусывая нитку, ответила вопросом:

— Шмит? Не русская, значит.

— Но ведь вы знаете ее!

— А — кому это известно? — спросила Палаша, почесывая мизинцем свой широкий нос и озабоченно разглядывая кофточку. — Ежели это вам Симаков сказал, — вы ему веры ни в чем не давайте, он человек испорченный, вроде безумного.

А Симаков говорил мне о Палаше:

— Это, брат, девица мудрая, она вроде крыла мамаше служит, она да еще один человек высоко возносят ее над людьми...

Я не сумел понять, как и что восприняла портниха от Анны Шмит; чем настойчивее расспрашивал я об этом, тем более многословно и фальшиво Палаша говорила о Симакове, о кознях Дьявола.

— Бросает нас злой дух, как мальчишка камни с горы, катимся мы, вертимся, бьем друг друга, и не видать нам спасенья...

Приглаживая ладонями рыжеватые волосы, и без того гладко, туго наклеенные на череп, Палаша смотрела стеклянными глазками на меня, и взгляд ее говорил:

«Ничего ты у меня не выпытаешь!»

Заходил я к ней еще раза два, она принимала меня ласково, охотно и даже сладострастно рассказывала мне жития великомучениц, я слушал и смотрел на кота.

— И секли ее злодеи римляне по белому телу, по атласным грудям каленым прутьем железным, и лилась, кипела ее кровушка, — выпевала Палаша.

Мухи гудели. Кот равнодушен, неподвижен, в комнате пахнет кислой помадой...

Вскоре, заболев, я уехал в Крым и с той поры не встречал больше Анну Шмит, нижегородское воплощение Софии Премудрости.

ЧУЖИЕ ЛЮДИ

В журнале «Врач» напечатана корреспонденция из Владивостока:

> Здесь среди босяков умер врач А. П. Рюминский. Когда иесчастиый заболел, его отвезли было в городскую больницу, но там его не прииялли за иеуплату деиег за прежиее время, и А. П. пришлось умирать в участке. Босяки устроили покойиому теплые проводы, причем одии из иих сказал следующую прощальную речь: «Ты жил между иами, покинутый и забытый своими... То горе жизии и те пороки, которые мы иосили и делили вместе, были нашим общим иесчастием. И вот мы здесь... собрались проводить тебя в желанную для всех нас могилу...»

Я дважды встречал этого человека: в 91 году около Майкопа, на Лабе, а потом, лет через десять, в Ялте. На шоссе, над Лабою, компания ростовских босяков «била щебенку». Я набрел на них вечером, когда они, кончив работу, готовились пить чай. Толстый бродяга с длинной седою бородой озабоченно прилаживал чайник над маленьким костром; в стороне, под кустами, лежало трое его товарищей и сидел на куче булыжника кто-то в чесунчовом костюме, в широкой соломенной шляпе и белых туфлях. Он держал в пальцах папиросу, отсекал взмахами тоненькой трости серый дымок табака и, не глядя на людей, спрашивал их:

— Так — как же, а?

На синеватой воде быстрой Лабы колыхались кумачовые отблески зари; рыжая, бритая степь дышала жаром, за рекою сверкали, точно груды парчи, огромные ометы соломы, в туманной дали поднимались к небу лиловые горы, и где-то далеко торопливо тарахтела молотилка.

Человек с опухшим лицом больного водянкой грубовато сказал:

— Вы, барин, бросьте очки втирать мне, я сам фельдшер...

— Вот как?

— Да. Так-то вот...

— Вот как? — повторил барин, помахивая тростью, отсекая дым. И, взглянув на меня странными глазами, спросил:

— А вы кто, молодой человек?..

— Молодой человек, — ответил я; босяки одобрительно взглянули на меня.

Выпуклые глаза «барина» очень ярки и, улыбаясь насмешливой улыбкой, точно присасывались к лицу моему. Этот сухой, хватающий взгляд вызвал у меня неприятное ощущение щекотки и навсегда остался в памяти моей. Тонкое, холеное, чисто выбритое лицо человека было надменно. Когда один из босяков, лениво переваливаясь с бока на бок, коснулся его ног, человек быстро отдернул маленькие ноги свои и предостерегающе поднял трость белой, изящной рукою. На пальце его золотой перстень с крупным опалом, «камнем несчастия», в радужной игре опала было что-то общее с блеском глаз надменного человека. Ленивеньким, но раздражающим, задорным баритоном он все выспрашивал людей: кто они? Отвечали ему неохотно, грубо, но это не смущало его, он переводил крепко обнимающий взгляд с одного лица на другое и назойливо говорил:

— А что же будет, если все начнут жить так же безответственно, как вы?

— Мне какое дело? — сердито пробормотал фельдшер, а бородатый, у костра, спросил хрипящим голосом:

— Вы — кому отвечаете?

И победоносно добавил:

— То-то!

С чудесной быстротою, незаметно, степь покрылась южной ночью, на потемневшем небе вспыхнул густой посев звезд, на реке заколыхался черный бархат, засверкали золотые искры. В торжественной траурной тишине стал почему-то сильнее слышен горький запах дыма.

Люди, достав из котомок хлеб и вкусное сало, начали есть, а барин, щелкая тростью по своим туфлям, все спрашивал:

— Но что же будет, если порвать все связи с жизнью?

Седой угрюмо ответил:

— Ничего и не будет.

Где-то за рекою уныло скрипела арба, посвистывали суслики. Костер угасал, красненькие искры прыгали в воздух, бесшумно откатывались в сторону круглые угли сгоревших веток.

— Аркадий Петрович! — донесся издали звонкий, женский голос. Человек с перстнем ловко встал на ноги, сбил пыль с брюк ударами трости и, сказав: «До свидания!» — пошел берегом реки в темноту. Его проводили молча.

— Кто это? — спросил я.

— А чорт его знает...

— Тут, у казаков живет, на даче, что ли...

— Назвался — доктором.

Отвечали намеренно громко, явно желая, чтоб человек слышал, как говорят о нем. Тоненький, рыжий босяк с язвами на лице вытянулся на земле вверх лицом и сказал:

— До звезды — не доплюнешь.

А фельдшер сердито проворчал:

— В Турцию надо пробираться, братья. Хороший народ турки. Надоело мне здесь...

...Однажды, не встретив Д. Н. Мамина-Сибиряка в городском саду Ялты, обычном месте наших свиданий, я пошел к нему в пансион и, войдя в комнату Мамина, сразу наткнулся на выпуклые глаза. Яркий блеск их тотчас напомнил мне вечер на Лабе, босяков и доктора в чесунче.

— Вот, знакомьтесь, — сказал Дмитрий Наркисович, махнув на гостя короткой, толстой рукою, — интересная миазма!

Гость приподнял голову и снова опустил ее, упершись подбородком в край стола; так — голова его казалась отрезанной. Сидел он согнувшись, далеко отодвинув стул, руки его были скрыты под столом. С обеих сторон лысого черепа рогато и задорно торчали вихры сивых волос, открывая маленькие уши. Мочки ушей оформлены резко, как будто вспухли. На бритом лице воинственно топорщились серые усы. На нем синяя рубаха, оторванный ворот ее не застегнут, обнажает кусок грязной шеи и мускулистое правое плечо. Сидит он так, как будто приготовился перепрыгнуть через стол, а под столом торчат его босые ноги в татарских туфлях. Зорко присматриваясь ко мне, он говорит знакомым, ленивеньким баритоном:

— Есть такой грибок, по-латыни его зовут: мерулиус лакриманс, — плачущий; он обладает изумительной способностью втягивать влагу воздуха. Дерево, зараженное им, гниет с чудовищной быстротой. Достаточно, чтоб одна балка построенного вами дома была поражена этим грибком, и — весь дом начинает гнить.

Подняв голову, доктор стал медленно высасывать пиво из стакана, двигая острым кадыком; кадык и щеки его были покрыты темной густой шерстью.

Мамин, уже сильно выпивший, внимательно слушал, выкатив свои огромные, круглые глаза. Под его армянским носом дымилась любимая коротенькая трубка, он покачивал головою и сопел, втиснув круглое, тучное тело свое в плетеное кресло.

— Все врет, миазма, — сказал он, когда гость начал пить, а гость, опустошив стакан, снова наполнил его и, облизывая намокшие в пене усы, продолжал:

— Так вот: русская литература — нечто очень похожее на этот грибок; она впитывает всю сырость жизни, грязь, мерзость и неизбежно заражает гниением здоровое тело, когда оно соприкоснется с нею.

— А? — спросил Мамин, толкнув меня локтем. — Каково?

— Литература — такое же болезнетворное, гнилостное начало, как этот плачущий грибок, — невозмутимо и настойчиво повторил гость.

Мамин начал тяжело ругать злого критика и, схватив пустую бутылку, застучал ею по столу. Боясь, как бы он не стукнул по лысому черепу гостя, я предложил ему пойти гулять, но гость встал и бесцеремонно — кажется, искусственно — зевнул.

— Это я пойду гулять, — сказал он, усмехаясь, и ушел, шагая легко, быстро, как привычный пешеход.

Дмитрий Наркисович рассказал мне, что человек этот привязался к нему в порту, заинтересовал его своим злоречием и второй день раздражает, всячески порицая литературу.

— Присосался, как пиявка. Отогнать — духа не хватает, все-таки он интеллигентный подлец. Доктор Аркадий Рюминский, фамилия от рюмки, наверное. Умная бестня, злая! Пьет, как верблюд, а не пьянеет. Вчера я с ним

целый вечер пил, он рассказал мне, что пришел сюда повидаться с женой, а жена у него будто бы известная актриса...

Мамин назвал имя громкое в те годы.

— Действительно, она здесь, но, наверное, эта миазма врет!

И, свирепо вращая глазами, он стал издеваться надо мною:

— Это — ваш товар, ваш герой, очень хорош! Лгунище. Все неудачники — лгуны. Пессимизм — ложь потому, что пессимизм — философия неудачников...

...Дня через два, поздно ночью, гуляя на холме Дарсан, я снова встретил доктора: он сидел на земле, широко раскинув ноги, пред ним стояла бутылка вина и на листе бумаги лежала закуска — хлеб, колбаса, огурцы.

Я снял шляпу. Вздернув голову, он присмотрелся ко мне и приветствовал жестом, воскликнув бойко:

— Ага, узнал! Хотите составить компанию? Садитесь.

И, когда я сел, он, подавая бутылку, измерил меня цепким взглядом.

— Из горлышка, стакана нет. Странная штука: как будто я уже встречал вас в детстве моем?

— В детстве — нет.

— Ну, да, я лет на двадцать старше вас. Но — детством я называю время лет до тридцати; все то время, которое я прожил в условиях так называемой культурной жизни.

Барский баритон его звучал весело, слова соскакивали с языка легко. Крепкая, холщовая рубаха солдата, турецкие шаровары и сапоги на ногах показывали, что человек этот хорошо заработал.

Я напомнил ему, где видел его впервые; он внимательно выслушал меня, ковыряя в зубах былинкой, потом знакомо воскликнул:

— Вот как? Чем же вы занимаетесь? Литератор? Ба! Вот как! Ваше имя? Не знаю, не слыхал. Впрочем, я вообще ничего не знаю о современной литературе и не хочу знать. Мое мнение о ней вы слышали у этого, у Сибиряка — он, кстати, удивительно похож на краба! Литература, — особенно русская, — гниль, ядовитое дело для людей вообще, маниакальное для вас, писателей, списателей, сочинителей.

В этом тоне, но очень добродушно и с явным удовольствием он говорил долго, я же слушал его терпеливо, не перебивая.

— Не возражаете? — спросил он.

— Нет.

— Согласны?

— Нет, разумеется.

— Ага! Возражать мне — ниже вашего достоинства, так?

— Тоже нет. Но — ниже достоинства литературы.

— Вот как? Это — хорошо...

Запрокинув голову, закрыв глаза, он присосался к горлышку бутылки, выпил и, крякнув, повторил:

— Это — хорошо. Слышу голос человека церкви. Вот так, когда для кузнеца церковь — кузница, для матроса — его судно, для химика — лаборатория, только так и можно жить, никому не мешая своей злобой, капризами, привычками. Жить хорошо — значит жить полуслепым, ничего не видя и не желая, кроме того, что нравится. Это — почти счастье, уютный уголок, куда человек воткнулся носом, эдакий маленький, полутемный чуланчик. Шатобриан — читали «Записки из могилы»? — говорит: «Счастье — пустынный остров, населенный созданиями моего воображения».

Он говорил, как человек, только что освобожденный из камеры одиночного заключения, точно желая убедиться: не забыты ли им слова?

В городе, где-то близко, звучал рояль, по набережной щелкали подковы лошадей, черная пустота висела над городом, вдали ползал золотой жук — огонь судна, напоминая о широте моря. Человек смотрел вдаль, и глаза его напомнили мне опал перстня, хвастливо блестевший вечером, на берегу Лабы.

— Счастье — это когда человек хорошо выдумал себя и любит выдумку о себе, — негромко говорил он, и вспыхивала папироса, освещая тонкий, прямой нос, щетку усов и темный подбородок.

— Любить себя доступно и свинье, собаке, каждому животному, это — инстинкт. Человек должен любить только то, что он сам создал для себя.

Я спросил:

— А что любите вы?

— Мое завтра, — быстро ответил он, — только мое завтра! Я имею счастье не знать, каково оно будет. Вы — знаете это: проснувшись, вы будете писать или делать что-то другое, обязательное для вас, потом увидите толстого рака Мамина или еще каких-то знакомых; вы, наверное, носите ваш костюм уже не первый месяц. А я не знаю, что стану завтра есть, что буду делать, с какими людьми позволю себе говорить. Вы, конечно, думаете, что пред вами алкоголик, беспутный, отверженный человек? Вы ошибаетесь, если так. Я терпеть не могу водку, пью только вино, редко — пиво, и я не отверженный, а — отвергнувший.

Воодушевление этой речи не позволяло сомневаться в искренности человека. Я попросил: не расскажет ли он, что побудило его отвергнуть обычные условия жизни интеллигентного человека? Хлопнув меня ладонью по колену, он шутливо воскликнул:

— Хотите запастись материальцем?

Затем охотно и немножко хвастливо, любуясь своей речью, как адвокат, он начал рассказ о себе, — рассказ, в котором, вероятно, было не меньше правды, чем во всякой другой автобиографии.

— Сознательную жизнь мою я начал ошибкой: увлечением естественными науками, биологией, физиологией — науками о человеке. Естественно, что это увлечение толкнуло меня на медицинский факультет. С первого же курса, препарируя трупы, я задумался о ничтожестве человека, почувствовал чью-то злую иронию надо мною, и у меня стала развиваться брезгливость к людям и отвращение к себе, человеку, который обязан быть трупом. Мне следовало бросить это грязное дело, но — я упрям и захотел победить себя. Вы пытались побеждать себя? Это так же невозможно, как, отрезав свою голову, заменить ее головою ближнего, это невозможно не только потому, что ближний едва ли согласится на такой обмен.

Ему понравилась шутка, он сочно засмеялся, потом, закрыв глаза, глубоко вдохнул соленый, свежий ветер.

— Хорошо пахнет море... Итак, я задумался: что такое и где — душа, разум и так далее. Скоро мне стало ясно, что разум, навеки полуслепая собака Сатаны, зависит

от функций организма, а мир особенно отвратителен, когда у меня ноют зубы, болит голова или печень. Мышление — функционально, только воображение независимо. Это недурно понимал один английский епископ, но — не думайте, что я идеалист или какой-либо другой «ист». Неистово враждую со всякой философией, хотя — хотя, конечно, понимаю, что философия — неизлечимая болезнь мозга. Кратко говоря, я — человек, который отказался принимать пустяки серьезно, обманывая себя и других. То, что именуется культурой, вся внешняя и внутренняя мишура, увлекающая людей все глубже и далее в хаотическую бесполезность... впрочем, вы, наверное, поклонник культуры? Я не хотел бы огорчить вас...

— Огорчайте, — и разрешил ему и попросил я. — Мне так хочется понять, что за человек вы?

— Вот как? Ну, что ж...

Сотней ловко сказанных слов этот человек разрушил культуру в пыль и прах. Он сделал это с веселой яростью, подобной ярости гимназиста, который, кончив учиться, уничтожает учебник. Свежесть ночи, сжимая, умаляла доктора; засунув руки в рукава рубахи, он скорчился и, тоненький, гибкий, стал похож на подростка. Внизу, далеко, во тьме, повис растрепанный пучок огней, он плыл на север, откуда тьма дышала сыростью. В окнах домов города, вздрагивая, исчезали желтые пятна, и казалось, что дома, один за другим, быстро низвергаются в черноту моря.

— Я был красив, ловок, умел говорить забавно, и меня очень любили женщины. На одной из них, актрисе, я женился, когда мне было тридцать лет; женился из упрямства, она любила меня меньше других. В то время я уже чувствовал, что все это — театрики, концертики, разговорчики о литературе, ахи и охи по вопросам политики — не для меня. После того, как увидишь человек двадцать, тридцать, а то и сотню людей, которых неизвестно зачем грызут и убивают мучительнейшие болезни, — Чайковский, Островский, Достоевский и прочие подобные напоминали мне равнодушнейшую и противную старуху Букину, сиделку больницы; она имела гнусную привычку утешать больных и умирающих, сладко рассказывая им про ужасы ада. Я чувствовал себя в культуре чем-то вроде приказ-

чика в магазине модных вещей: лично мне эти вещи не нужны, а приходилось возиться с ними, даже пользоваться ими и хвалить — из вежливости. Жизнь суть драка; вежливость же — тот фиговый лист, которым можно прикрыть скотское и звериное в человеке. У меня хорошая талия, я не любил подтяжек, брюки и без них сидели хорошо, а жена требовала, чтоб я носил подтяжки, — все носят! И — представьте! — на этой почве — подтяжки, галстухи, книги — мы с женою драматически ссорились. Я думаю, что она часто устраивала мне сцены из профессиональных побуждений, для практики. Она часто говорила мне: «О, Аркадий, нигилизм не в моде!» Она — не глупая женщина, и даже говорили, писали — талантлива.

Доктор засмеялся, — не очень весело, как показалось мне. Потом, извиваясь на земле, сказал:

— Кажется, будет дождь, чорт его возьми!

Вынул из кармана брюк войлочную крымскую шляпу и туго натянул ее на свой лысый череп.

— Рассказывать — долго. И — скучно. Мораль — проста: если я осужден на смерть, я имею право жить, как хочу. Человеческие законы совершенно не нужны мне, если стихийный закон всеобщего уничтожения обязателен и для меня. Вы меня встретили там, на Кубани, как раз в те дни, когда я догадывался об этом. Но, разумеется, идея пришла постфактум, как говорили римляне, лучшие люди мира, ибо всякий сентиментализм, гуманизм и прочее такое было органически, решительно враждебно им. Идеи всегда являются после фактов, их вызывает наша дурная привычка оправдываться, объясняться. Зачем оправдываться? Не знаю. Да. В сущности, я отошел, потому что захотел, а объяснение явилось потом. Уродливо много в жизни нашей обязанностей, ответственностей и прочих комедий. Не хочу комедии, сказал я сам себе и — раскланялся с культурой. С того дня прошло — лет десять. Я прожил их очень интересно, вполне независимо и надеюсь так же прожить еще лет десяток. Ну-с, спасибо за компанию и — до свидания в лучшем мире!

— Это — в каком?

— О, разумеется — здесь, на земле, но в том, где я живу. Надеюсь, что вы сопьетесь и это возвратит вас на правильный путь — прочь от пустяков, прочь!

Он быстро пошел вниз, в сторону Мордвиновского парка, и вслед ему стеклянными бусами посыпался дождь, зашуршала трава... Дня два искал я его в кофейнях базара, в ночлежках, в порту, но не нашел. Хотелось еще раз послушать его речи.

Мамин-Сибиряк написал рассказ о встрече босяка-доктора с его женою, знаменитой артисткой. Не помню, как озаглавлен этот рассказ. Босяк изображен в нем несчастненьким пьяницей и не похож на человека, каким доктор Рюминский захотел показаться мне.

Людей такого типа, — людей, по их словам, сознательно ушедших от «нормальной» жизни, — должно быть, немало на Руси. Вот еще заметка «Нового времени» о человеке, видимо, подобном доктору Рюминскому.

Оригинальный бродяга

Во время одиой из облав, устроениых чииами полиции, задержаи, — по словам «Варшавского курьера», — орнгниальыый бродяга, некто Г., человек уже пожнлой, лет 50. Все докумеиты его оказалнсь в порядке, н он не мог только указать своего места жительства. По наведенным справкам, Г. оказался состоятельным человеком, любящнм сильные ощущеиня. Интересуясь жизиью бродяг и бездомных, он, после смерти жены, поместил дочь в однн нз пансноиов, а сам начал бродячую жизиь профессиональиых бродяг, ночуя в печах кирпичных заводов н т. п. Только знмой, во время сильиых морозов, Г. возвращается в Варшаву и переживает морозы в одной нз гостиииц. Захвачеиный вместе с толпой бродяг, Г. обещал перемеиить образ жизни, «хотя, — добавил он, — ручаться за это ие могу».

В девяностых годах я собирал заметки на эту тему и собрал их десятка три, но в 905 году пакет, в котором они хранились, отобранный у меня при обыске, был потерян в Петербургском жандармском управлении. Лично я встретил таких людей тоже немало. Особенно памятен для меня Башка, человек, которого я видел на постройке железной дороги Беслан — Петровск.

В тесной горной щели, среди суетливой толпы рабочих, он сразу привлек мое внимание: он сидел на солнечной стороне ущелья, в груде взорванных динамитом камней, а у ног его сверлили, дробили и возили камень

пестрые, шумные люди. Полагая, что этот человек — «начальство», я пробрался к нему и спросил: нет ли работы? Тоненьким, сверлящим ухо голосом он ответил:

— Я не идиот, я не работаю.

Уже не впервые слышал я слова такого тона, они не удивили меня.

— Что же вы делаете здесь?

— Видишь — сижу, курю, — сказал он, оскалив зубы.

В широкой разлетайке, в котелке с оторванными полями, он напоминал летучую мышь. Его маленькие острые уши торчали настороженно. У него большой лягушачий рот; когда он улыбнулся, нижняя губа дрябло опустилась, открыв плотную линию мелких зубов. Это сделало улыбку холодной и злой. Глаза его — необыкновенны: в узком золотистом кольце белков мерцают темные, круглые зрачки ночной птицы. Лицо — голое, точно у пастора, ноздри длинного, тонкого носа уродливо сплющены. В длинных пальцах музыканта он держал толстую папиросу, быстрым жестом совал ее в рот, глубоко втягивал дым и кашлял.

— Вам вредно курить.

Он ответил очень быстро:

— А тебе — говорить, сразу видно, что глуп...

— Спасибо.

— Носи на здоровье.

И, помолчав минуту, искоса посмотрев на меня, он посоветовал несколько мягче:

— Уходи, здесь работы нет!

В небесах над ущельем озабоченно хлопотал ветер, сгоняя облака, точно стадо овец. На солнечной стороне ущелья качались рыжие, осенние кусты, сбрасывая мертвый лист. Где-то близко рвали камень, гулкий гром перекатывался по горам; визжали колеса тачек, мерно стучал молот, загоняя в горную породу стальные «иглы», высверливая глубокие дыры для зарядов.

— Жрать хочешь? — спросил горбун. — Сейчас засвистят к обеду. Сколько вас шляется по земле, — заворчал он, сплюнув.

Пронзительный свисток разрезал воздух, — точно металлическая струна хлестнула по ущелью, заглушив все звуки.

— Иди, — сказал горбун.

Быстро разбрасывая по камням свои руки, ноги, ловко цепляясь ими, он, точно обезьяна, бесшумно и уродливо скатился вниз. Обедали сидя на камнях и тачках вокруг котлов, ели кашицу из проса с бараньим салом, горячую и очень соленую. За нашим котлом шесть человек, не считая меня. Горбун вел себя, как власть имущий; отведав кашицу, он сморщил голое свое лицо и, грозя ложкой старику в дамской соломенной шляпе, закричал сердито:

— Опять пересолил, подлец!

Пятеро людей зарычали, большой черный мужик предложил:

— Вздуть его надо...

— Кашу варить можешь? — спросил меня горбун. — Не врешь? Смотри же! Вот этого попробуем, — распорядился он, и все согласились с ним.

После обеда горбун ушел в барак, а старик кашевар, добродушный и красноносый, показывая мне, где лежит сало, просо, хлеб и соль, вполголоса говорил:

— Ты не гляди, что он горбат, он — барин, помещик, предводителем дворянства был, да-а! Голова! Он у нас вроде бы старосты, да-а! Все счета-расчеты ведет, ух строгой! Он — редкой, да-а...

Через час в ущелье снова загрохотала работа, забегали люди, а я стал мыть в ручье котлы и ложки, зажег костер, повесил над ним чайники с водой, потом принялся чистить картофель.

— Был поваром? — раздался тонкий голос горбуна; он подошел неслышно, встал сзади и внимательно смотрел, как я действую ножом. Когда он стоял, его сходство с летучей мышью увеличивалось.

— В полиции не служил? — спросил он и тотчас же сам себе ответил:

— Впрочем — молод.

Взмахнув крыльями разлетайки, точно нетопырь, он прыгнул на камень, на другой, быстро взобрался на гору и сел там, густо дымя папиросой.

Моя стряпня понравилась, рабочие похвалили меня и разбрелись по ущелью, трое начали играть в карты, человек пять стали мыться в горном холодном ручье; где-то, среди камней и кустов, запели казацкую песню. В этой

группе было двадцать три человека, считая меня и горбуна, все они обращались к нему на «ты», но уважительно и даже как будто со страхом.

Он молча сел на камень у костра, разгребая угли длинной палкой, около него, не спеша, собралось человек десять; черный мужик, точно огромная собака, растянулся у его ног, тощенький, бесцветный парень просительно сказал:

— Да — не возитесь! Тише...

Горбун заговорил, ни на кого не глядя, внушительно и звонко:

— Значит: есть судьбы, подсудьбинки и доли...

Я удивленно взглянул на него; заметив это, он строго спросил:

— Ну?

Все уставились на меня, чего-то ожидая; смотрели — неприязненно. Помолчав, плотнее окутав плечи, горбун продолжал:

— Доли — это вроде ангелов-хранителей, только их приставляет к человеку Сатана.

— А — душа? — тихонько спросил кто-то.

— А душа — птица, которую ловит Сатана, — вот!

Говорил он чепуху, но — страшную. Он, видимо, знал статью Потебни «О доле и сродных с нею существах», но серьезное содержание научной статьи у него смешалось со сказками и мрачными вымыслами. К тому же он скоро утратил простоту речи и заговорил литературно, почти изысканным языком.

— С начала дней своих человечество окружено таинственными силами, понять их оно не может, бороться с ними — не умеет. Древние греки...

Его острый, напряженно звенящий голосок, непонятные сочетания слов и, должно быть, жутковатый внешний облик его — все это действовало на людей подавляюще: они слушают молча и смотрят в лицо учителя, как верующие — на икону. Птичьи глаза горбуна мерцают напряженно, дряблая губа его шевелится и как будто пухнет, становясь все толще, тяжеле. И мне кажется, что в его мрачных выдумках есть нечто, чему он сам верит и чего боится. Лицо его умывают красноватые отблески костра, а оно становится все более темным и угрюмым.

Над ущельем недвижимо повисли серые облака; в сумраке огонь костра густеет, становясь все красней, камни растут, суживая глубокую щель горы. За спиною у меня ползет, плещет ручей и что-то шуршит, точно еж идет в сухой траве.

Когда стало совсем темно, рабочие, озираясь, пошли в барак, кто-то сокрушенно, вполголоса сказал:

— Вот она, наука-то...

Ему — еще тише — ответили:

— До чертей дошла...

Горбун остался у костра, ковыряя палкой угли. Когда конец палки загорался, он, подняв ее, держал в воздухе, как факел, и смотрел совиными глазами на желтые перья огня. Перья, отрываясь, улетали в воздух, тогда он быстро крутил палкой, и в воздухе, над головой его, являлся красный нимб. Голова его, в котелке без полей, напоминала чугунную гирю, воткнутую дужкой в широкие плечи горбуна.

Два дня наблюдал я, стараясь понять: что это за человек? Он тоже присматривался ко мне подозрительно и зорко, но не разговаривал со мною и на вопросы мои отвечал грубо. После ужина, у костра, он рассказывал людям устрашающее:

— Тело человека построено, как пемза, или губка, или хлеб, оно ноздревато, понимаете? И по всем ноздрям его течет кровь. Кровь — жидкость, в которой плавают миллионы невидимых глазу пылинок, но пылинки эти живые, как мошки, только — мельче мошек.

И, повысив голос почти до визга, он сказал:

— Вот в эти пылинки и вселяются черти!

Я хорошо видел, что его рассказы пугают людей. Мне хотелось спорить с ним, но, когда я ставил ему вопросы, он не отвечал мне, а слушатели, толкая меня ногами и локтями, ворчали:

— Молчи!

Если осколок камня рассекал человеку кожу на лице или на ноге, горбун таинственным шопотом заговаривал кровь. У одного парня вздулся огромный флюс, горбун слазил на гору, собрал там каких-то корней, трав, сварил их в чайнике, сделал из бурой, горячей кашицы припарку и, трижды перекрестив парня, сказал что-то смешное о камне Алатыре и о том, как Аллилуйя сидела на нем.

— Ну, ступай!

Я не заметил, чтоб он усмехнулся, хотя он имел достаточно оснований смеяться над людьми. Его лицо всегда было недоверчиво надуто, уши насторожены. С утра он влезал на солнечную сторону ущелья и черной птицей сидел там в камнях, покуривая, наблюдая за возней людей внизу. Люди иногда звали его:

— Башка!

Он быстро скатывался оттуда, и меня всегда удивляла ловкость, с которой он цеплялся руками и ногами за камни, изуродованные динамитом. Он примирял ссоры, беседовал с десятником, и его тонкий голосок не тонул в грохоте работы.

Десятник, толстый человек с деревянным лицом солдата, слушал его почтительно.

— Кто этот человек? — спросил я десятника, когда он раскуривал трубку у костра.

Оглянувшись, он ответил осторожно:

— Пес его знает. Колдун, что ли. Оборотень какой-то...

Все-таки мне удалось побеседовать с горбуном. Когда он, прочитав очередную лекцию о чертях и микробах, о болезнях и преступлениях, остался у костра, я спросил его:

— Зачем вы говорите им все это?

Он взглянул на меня, сморщив переносье, отчего нос стал еще острей, и горящей палкой хотел ткнуть в ногу мне. Отодвинув ногу, я показал ему кулак. Тогда он уверенно пообещал мне:

— Завтра тебя вздуют.

— За что?

— Вздуют.

Странные глаза его сердито блеснули, дряблая губа отвалилась, обнажив зубы; он сказал:

— У-у, р-рожа!

— Нет, серьезно! Ведь не верите же вы в эту чепуху?

Он долго молчал, ковыряя палкой угли, размахивая ею над головою своей, и снова над нею мелькал, кружился красный нимб.

— В чертей? — неожиданно спросил он. — Почему же не верить в чертей?

Голосок горбуна звучал ласково, но фальшиво, и смотрел он на меня нехорошо.

«Велит избить», — подумал я.

А он, все так же ласково, стал спрашивать: кто я, где учился, куда иду? И, видимо, незаметно для себя, изменил тон, в словах его я почувствовал барское снисхождение, смешную небрежность «высшего» к «низшему». А когда я снова спросил его о вере в чертей, он, усмехаясь, заговорил:

— Ведь ты веришь во что-нибудь? В бога? В чудеса?

И — подмигнув:

— Может быть — в прогресс, а?

Огонь румянил его желтое лицо, и над верхней губой сверкали серебряные иголочки редких, коротко подстриженных усов.

— Семинарист? Сеешь в народе «разумное, доброе, вечное»? Так?

Качнул головою, добавив:

— Дурачина! Я сразу понял, какая ты птица, я знаю эти ваши штуки...

Но, говоря, он подозрительно озирался, и что-то беспокойное явилось в нем.

На золоте углей извивались лиловые языки, цвели голубые цветы. В темноте над костром возник светлый колокол, мы сидели под его куполом, отовсюду на него давила сыроватая тьма, он дрожал. Тяжелая тишина осенней ночи наполняла воздух, разорванные камни казались сгустками тьмы.

— Подложи дров.

Я бросил на угли охапку сучьев, колокол наполнился густым дымом, стало еще темнее и тесней, потом сквозь сучья с треском поползли желтые змеи, свились в клубок и, ярко вспыхнув, раздвинули границы тьмы. И в то же время раздался голос горбуна, первые слова его прозвучали неясно, исчезли, не понятые мною. Он говорил тихо, как будто засыпая.

— Да, да, черти — не шутка... Такая же действительность, как люди, тараканы, микробы. Черти бывают разных форм и величин...

— Вы — серьезно?

Он не ответил, только качнул головою, как бы стукнув лбом по невидимому, беззвучному, но твердому. И, глядя в огонь, тихонько продолжал:

— Есть, например, черти лиловые; они бесформенны, подобны слизнякам, двигаются медленно, как улитки, и полупрозрачны. Когда их много, их студенистая масса похожа на облако. Их страшно много. Они занимаются распространением скуки. От них исходит кислый запах и на душе делается сумрачно, лениво. Все желания человека враждебны им, все...

«Шутит?» — подумал я. Но если он шутил, то — изумительно, как тонкий артист. Глаза его мерцали жутковато, костлявое лицо заострилось. Он отгребал угли концом палки и легкими ударами дробил их, превращая в пучки искр.

— Черти голландские — маленькие существа цвета охры, круглые, как мячи, и лоснятся. Головки у них сморщены, как зерно перца, лапки длинные, тонкие, точно нитки, пальцы соединены перепонкой и на конце каждого красный крючок. Они подсказывают странное: благодаря им человек может сказать губернатору — «дурак!», изнасиловать свою дочь, закурить папиросу в церкви, да — да! Это — черти неосмысленного буйства...

— Черти клетчатые — хаос разнообразно кривых линий; они судорожно и непрерывно двигаются в воздухе, образуя странные, ими же тотчас разрушаемые узоры, отношения, связи. Они страшно утомляют зрение. Это похоже на зарево. Их назначение — пресекать пути человека, куда бы он ни шел... куда бы ни шел...

— Драповые черти напоминают формой своей гвозди с раздвоенным острием. Они в черных шляпах, лица у них зеленоватые и распространяют дымный, фосфорический свет. Они двигаются прыжками, напоминая ход шахматного коня. В мозгу человека они зажигают синие огни безумия. Это — друзья пьяниц.

Горбун говорил все тише и так, как будто затверживал урок. Жадно слушая, я недоумевал — что это: болтовня шарлатана или бред безумного?

— Страшны черти колокольного звона. Они — крылаты, это единственно крылатые среди легионов чертей. Они влекут к распутству и даже внешне напоминают женский орган. Они мелькают, как ласточки, и, пронизывая человека, обжигают его любострастием. Живут они,

должно быть, на колокольнях, потому что особенно яростно преследуют человека под звон колоколов.

— Но еще страшнее черти лунных ночей. Это — пузыри. В каждой точке окружности каждого из них непрерывно возникает, исчезает одно и то же лицо, прозрачно голубоватое, очень печальное, с вопросительными знаками на месте бровей и круглыми глазами без зрачков. Они двигаются только по вертикали, вверх и вниз, вверх и вниз, и внушают человеку неотвязную мысль о его вечном одиночестве. Они внушают: «На земле, среди людей, я живу только еще в предчувствии одиночества. Совершенное же одиночество наступит для меня после смерти, когда мой дух унесется в беспредельность вселенной и там навсегда, неподвижно прикованный к одной точке ее, ничего, кроме пустоты, не видя, будет навеки осужден смотреть в самого себя, вспоминая свою земную жизнь до ничтожных мелочей. Тысячелетия — только это одно: всегда жить воспоминаниями о печальной глупости земной жизни. И — неподвижность. Пустота...»

Он держал палку в костре неподвижно, и зубастые огоньки тихонько подбирались по ней к его руке. Когда коже руки стало горячо, горбун, вздрогнув, взмахнул палкой, согнал с нее огни, соскреб угольки обгоревшего конца палки о камни, — она густо дымилась. Потом он снова начал дымящейся палкой отгребать угли из костра и дробить их, брызгая искрами. Замолчал.

Прошла минута, две. Было очень странно. Я спросил:

— Вы серьезно верите...

Он не дал мне кончить, крикнув звонко:

— Пошел прочь!

И погрозил мне дымившейся палкой:

— Завтра вздуют тебя!

Этого мне не хотелось, но я был уверен, что это вполне возможно. И, когда горбун отправился в барак, спать, — я ушел по дороге во Владикавказ.

ЗНАХАРКА

...На завалине ветхой избы сухонький старик Мокеев, без рубахи, греет изношенную кожу свою на ярком солнце июня, чинит бредень крючковатыми пальцами. Под ко-



А. М. ГОРЬКИЙ
Берлин. 1922 г.

жей старика жалобно торчат скобы ключиц, осторожно двигаются кости ребер.

День — великолепен; честно работает солнце, отлично пахнет цветущая липа, в жарком воздухе — тихая музыка: гудят пчелы; во дни косьбы они трудятся как будто особенно упорно.

— Прохожий один сказывал, — сипит Мокеев, — дескать, человечье житье — благо, и выходит так, что не одни господа, а всяк человек, хоша бы и мужик, тоже — благородие. А мы говорим: благой, так это будет несуразен, буен, — нехорош, стало быть. У нас всё — по-своему...

Он уже с полчаса упражняется в словесности, и его сиплое воркованье хорошо слито с тихим гулом пчел, с чириканьем воробьев, с песнями невидимых жаворонков. Из-за речки доносится звон кос, шарканье точильных лопаток, но все эти звуки не мешают слышать спокойную тишину синего, благоуханно чистого, очень высокого неба. Все вокруг по-русски просто и чудесно.

— Князья-то, Голицыны-то, конешно — князи; тут как хошь дрягайся, оно так и будет — князи. Я и вначале внушал мужикам — бросьте, али князей пересудишь? А Иваниха натравила их, мужиков. Здорово, Иваниха!

Неслышно подойдя, с нами поравнялась коренастая баба в темном сарафане, в синем платке на уродливо большой голове, с палкой в одной руке, с плотной, лыковой корзиной — в другой; корзина полна пахучими травами, кореньями. С трудом приподняв тяжелую голову, баба глухо и сердито ответила:

— Здравствуй-ко, болтун...

Ее грубое, мужское лицо, скуластое и темное, украшено седыми усами, исчерчено частой сетью мелких морщин, щеки ее обвисли, как у собаки. Коровьи глаза мутны, красные жилки на белках делают взгляд ее угрюмым. Пальцы левой руки непрерывно шевелятся, я слышу сухой шорох их кожи. Указав на меня палкой, она спросила:

— Это кто?

Мокеев стал многословно объяснять, что я приехал от адвоката, по делу деревни с князьями Голицыными, что в воскресенье будет мирской сход, — не дослушав его, старуха осторожно склонила голову и дотронулась палкой до моего колена.

— Зайди ко мне.
— Куда?
— Скажут. Через часок...

И пошла прочь, странно легко для ее возраста и тяжелого, неуклюжего тела.

С тою гордостью, с какой старики в деревнях рассказывают о своем, необыкновенном, Мокеев рассказал мне, что Иваниха — знахарка, известная всему уезду:

— Ты только не считай, что ведьма, — нет, это у ней от бога! Ее и в Пеньзю возили, девицу лечить безногу, дак она безногу эту сразу — замуж! И пошла ведь девица, пошла, братец мой. «Дураки, — говорит родителям ейным, — детей, говорит, родите, а — для чё, не знаете». А родители — пребогатые фабриканты. Скота, человека, даже гуся, куру — она всех лечит, ей все едино. В Нижний требовали: обмер там чей-то мальчик и лежит, недели две лежал, хоть в землю закопать. А она ему где-то иглой уколола, дак он к потолку взвился, мальчонко-то, ей за то — двадцать пять рублев да шерстяное платье — получи!

— У нас она — первый человек, ее и на сходе уважают, слушают, даже становой боится. Она ему три зуба выдрала с корнями, дак корни-те по вершку оказались, и с крючьями на концах. Никто не мог выдрать их, а она — все может. Она — бесстрашной жизни и всем тайностям владыка. Взглянет на тебя да как спросит, внезапу: «Ты чего думаешь?» Дак ты ей тут, в душу твою, как дверь отворишь: на, гляди!

Мокеев начал говорить с хвастливой гордостью, но скоро, понизив сипучий, старческий голосок, он сказывал уже со страхом. Крючковатые пальцы его, запутавшись в нитях невода, перестали работать, бессильно легли на острые колени.

Я узнал, что Иваниха — дочь некрещеного мордвина, охотника на медведей и колдуна, убитого во время мордовского движения сороковых годов.

— Отец-то ее самому Кузьке, мордовскому богу *, бунтарю, приятелем был...

---

* В пятидесятых годах XIX столетия мордвин Кузьма пытался развить культурно-национальное движение среди мордвы — мокши и ерзи, — населяющей Нижегородскую губернию.

После смерти отца Иваниха осталась подростком-сиротою, ее окрестили, когда она была уже взрослой девицей, и вскоре после этого на ней женился лесник. Три года она бездетно прожила с ним, а на четвертый, весною, лесника задрал медведь. Иваниху оставили в лесной сторожке, и она начала бить медведей, — леса Сергача славились обилием этого зверя, и до семидесятых годов XIX века мужики «сергачи» были лучшими дрессировщиками и «поводырями» медведей на всю Россию. Била Иваниха зверя «по-мордовски»: обкладывала правую руку лубками, окручивала ее, до плеча, сыромятным ремнем, в кисть брала нож, а в левую руку — короткую, вроде тяпки, секиру. Когда зверь шел на нее, разинув пасть, она била его тяпкой по лапам и, сунув нож в пасть, вспарывала горло медведю.

— Эдак только мордва била медведей, это требует силы зверячьей. Семнадцатый зверь все-таки ребро ей вышиб, а тридцать который-то шею свернул ей несколько, — видал ты, как неладно она шеей владает? От этого. До сорокового зверя она не дошла, забоялась, сороковой медведь — сроковой, судьбинный охотнику, редкие от него уходят живы. Это всему миру известно, — сороковому медведю указан срок жизни охотника.

— У меня, годов с двадцать назад время, жил один индей, знаменитый охотник, из столицы наехал, дак у него ружья были и двустволки, и всякие, и рогатины, и ножики страшенные, а сороковой ничем не постеснился, ободрал ему ухо и бороду, вместе со щекой.

— Почему — индей? Так уж родился, чин у него был — граф, а родом он индей, такой народ есть за Каспийским морем. Там их много живет; волосом синеваты и пьяницы. Персияне? Нет, это другой народ, эти нам подвластны, вроде бы пленные наши, как татара али — чуваша, мордва, а индей — вольный народ, люди самобытного царя. Им, индеям, полагается золотой зуб во рту, для отлички от других людей. Народ — важный, басовитый. Девок индей этот перепортил у нас за зиму, весну штук пять, не мене. После увезли его лечить. Без бороды у них не допускается жить, стыдно, тем они и похожи на нас, а во всем ином — народ своего обычая. Звали-то его как? А звали его — Федор Карлыч. Ха-арошей барин...

Мокеев говорил, точно с горы ехал извилистой дорогой, и, вероятно, кончил бы речь не раньше ночи, но мне показалось, час истек, и я спросил: где живет Иваниха?

— А во-он-те, избеночка аккуратная на отшибе. Такого дела люди завсегда в сторонке живут...

Когда я подошел к чистенькой избе Иванихи, в открытых воротах стоял воз свежескошенной травы, ось телеги задела за верею, белоголовый подросток тужился попятить буланую лошадь и не успевал в этом. Иваниха, стоя на крыльце, мыла руки под глиняным рукомойником, сердито покрикивая:

— Выпряги! Выпряги, говорю...

Парнишка молча бил лошадь по морде и шипел. Старуха сошла с крыльца, быстро выпрягла коня, приподняла оглобли, наклонилась, упираясь в землю чугунными ногами, вытолкнула телегу на аршин за ворота, ловко обернулась, впряглась в оглобли и легко вкатила телегу во двор, сказав:

— Неслух. Дурак.

— Дак у тея — сила, — обиженно отозвался парнишка, уводя лошадь под поветь.

— Мне — семой десяток. На что годитесь, баловни?

Увидав меня, испытующе смерила взглядом и пригласила:

— Пожалуй-ко, в избу-то...

Вечернее солнце пристально смотрело в открытые окна избы, на чисто вымытом полу катались пушистые котята, аромат сухих трав наполнял светлую комнату, в переднем углу фыркал паром чистенький самовар. У печи, на полках, блестели бутылки, стеклянные банки, жестяные коробки из-под сардин. Под полатями висели пучки трав: зверобой, буквица, медвежья капуста — некрасивое растение сырых мест, — корешки бодяги, болиголова и какие-то сучья в маленьких связках.

Купечески держа блюдце на растопыренных пальцах, Иваниха спрашивала:

— Что в городе говорят? Земли-то мужикам дадут ли? Глядите — сердятся мужики. Сказал бы ты Голицыным-то, — чего они? Девять лет судятся бесстыдно, а толку ни себе, ни людям. Мотают мужиков. Будто волю

дали, а где она, воля? Повесили мужиков над землей, толкутся они, как мошки, вот и вся воля.

Ее темное лицо с тряпичными щеками угнетающе безобразно. Кровавые глаза смотрят в блюдечко, на верхней губе шевелятся мокрые, белые усы, на шее, под левым ухом, волосатая бородавка. Иваниха грызет сахар, чмокает, и ничто, кроме высоко вспухшей груди, не напоминает в ней женщину.

Я осторожно выспрашиваю ее, как она била медведей, она отвечает неохотно и как бы нарочито углубляя глухой, ворчливый голос.

— Сильна была. Меня, в те поры, только два мужика могли одолеть во всей округе. Кроме мужа. Да и мужа я поборола бы, только — нельзя: муж. Шутя я его и борола, а всерьез — нельзя, не смела этого. Тут у нас мужик лесной, крепкий.

Вспотев, она сняла платок с головы, и в жесткой гриве ее волос обнажились толстые, седые пряди. Вытерла платком иссеченное морщинами лицо и окутала им надломленную шею. Ладони рук ее были емки, точно ковши, пальцы же непрерывно шевелились, как бы разбирая, распутывая моток пряжи. Это было неприятно видеть. И вся Иваниха как-то нечеловечески тяжела.

О сороковом медведе она сказала:

— Медведь-зверь — богу служит, Кереметь на медведях в небе ездит, солнце возит. Солнце-то большое, с хороший пруд, тяжелое, все из чистого золота. Люди тоже богу нужны. Пчела служит человеку, человек — богу. Кереметь сказал: «Бей медведя, покуда я терплю, побьешь много — солнце встанет, помни! Тогда пошлю на тебя сильного, он тебя убьет». Человек согласился: человеку скота жалко. Меды жалко, овсы. Медведь много портит.

Почесав концом ножа кожу на голове, она плюнула на ладонь и, пригладив слюною взбитые волосы, уставила в лицо мне свой мутный, подавляющий взгляд. Нос у нее широкий, ноздри вывернуты, как у верблюда.

— Вот тебе, молодому, надо знать: баба есть такая, как сороковой медведь. С тремя любишься — ничего, и с девятью — ничего, а встанет на пути твоем четвертая, или там седьмая, и — конец тебе. Приворожит, привяжет, кроме ее нет у тебя свету, будешь жить, как слепой. Это —

судьбинная баба, ее Кереметь в наказание посылает. Богу — детей надо, людей. А когда одна голая игра, без детей, это он не любит. Не надо это ему...

— Вы в церковь ходите? — спросил я. Она как будто удивилась, отвечая угрюмо:

— Мы ходим. Зачем не ходить? У нас церковь хорошая, князьями строена. И поп хороший, умный. Его пчела любит. Мы тут смирно живем, хорошо. Леса округ.

Котята влезли ей на колени, она сгребла огромной лапой своей двух, подняла зверьков к лицу, спросила:

— Ну, что?

И, налив молока в свое блюдце, тут же, на столе, сунула им блюдечко, — этого не сделала бы простая баба.

— Лакайте. А третий где? Братишка?

Братишка грыз мой сапог, я поднял котенка и поставил его на стол.

— Это вот умные звери, они никому не верят, — сказала Иваниха. — И память у них крепка: побей его, он это помнит. Через пять лет вспомнит, когда и не ждешь. А у людей память слаба: не помнят они, кто их бьет...

Сильно завечерело, уже пригнали стадо, по улице шли мужики, плыли мимо окон косы, отражая красноватый, заревой свет, в окна заглядывали бабы.

— Ну, надо мне сходить в улицу, — сказала Иваниха. — Ты почто остановился у Мокеева? Эта семья несчастливая. Ты вдругорядь у меня остановись. Я заезжих люблю.

И, провожая меня за ворота, крикнула какой-то бабе:

— Марь, ногу перевязала?

— Ой, матушка, неколи...

— Дура. Не тронь уж, я сама...

После ужина Мокеев, позвав меня на реку ставить верши, дорогой рассказал, что Иваниха еще недавно, лет десять тому назад, занималась обучением парней технике любви.

— Пятак брала али фунт баранок, она баранки любит с анисом. Сначала — смеялись над ней, после — привыкли. А она ругалась. «Дураки», — кричит. Это у нее первое дело, дураком ругать. «За лошадями, кричит, следите, за коровами следите, скот — жалеете, а девок не жалеете?» Это она, пожалуй, верно кричала. Парни — мед-

веди, делу этому у собак, у скотов глазами учатся, а женятся и начнут девок зря ломать, ничего не умеют. Иной с первого разу жену испортит, а после бьет — не сладка, не охоча...

Светила луна, в воздухе стоял густой, влажный запах свежескошенной травы. Старик запнулся за обнаженный корень дерева, выругался крепко, потом призвал бога и, прихрамывая, перескочил к другому рассказу.

— Ее боятся, Иваниху. Почитают. Она, брат, ух какая. Прямо скажу...

Подумав, он сказал:

— Полезная. Хотели ее из лесу, из сторожки прогнать, чиновник приехал, — гонит и гонит. «Нет, говорит, ни моды такой, ни закону, чтобы лес сторожила баба. Никогда, говорит, не было этого». Ему докладывают: «Да она хоть и баба, а страшнее лешего». Не верит. Дак она сама пошла на него, как на медведя, обернула кожей руку, нож взяла, все, как надо. Тут он испугался: «Ну те, говорит, к лешему! В Сибирь бы, говорит, надо тебя, чорта!» Так она и осталась сторожихой, а после сама ушла из лесу, на ее место кум Яков вступил, его в ту же зиму, пьяного, волки сожрали. Край у нас хороший, тихий край, — заключил старик, несколько неожиданно, а все же с полным убеждением.

Ласково, осторожно выходила из лесов ночь, покрывая луга и поля теплыми тенями, тишина замерла над синей, ленивенькой речкой, и вокруг луны, как пчелы над цветком, сверкали звезды...

...Месяца через три, в праздничный день, мне снова довелось быть в Березянке. Я остановился у Иванихи, собрал мужиков, рассказал им, насколько за это время подвинулось их дело, и осенним вечером, сидя со старухой за чаем, слушал ее речи. Она рассказывала о событиях лета, о пожаре, уничтожившем, по счастью, только три избы, о том, кто чем болел, кто кого избил, о людях, объевшихся грибами, о девочке, которая чего-то испугалась в лесу и обезумела.

— Сидит на печи, в темном уголку, и поет днем, ночью: «Мамонька, бежим, родная, бежим!»

Потом, шевеля пальцами, спросила строго:

— Про землю-то не решили там, у вас?

И когда я ответил: нет еще, — она, недоверчиво взглянув на меня, посоветовала:

— Ты не скрывай. Гляди, болеют мужики об земле...

За окном ветер тряс деревья, хлестал в стекла дождем, гудел в трубе, деревню удушливо обняла осенняя, русская скука, та скука, тоскливей которой только безнадежная, смертельная болезнь.

Мне хотелось спросить знахарку о Керемети: какой это бог? И когда она, кончив пить чай, перемыв и убрав посуду, села к столу вязать чулок, я осторожно начал выспрашивать.

Неприятно поджав толстые губы, быстро шевеля пальцами, поблескивая сталью спиц, она отвечала неохотно, верблюжьи ноздри ее съежились и темный нос стал острей.

— Я не поп, бога не знаю, — говорила она.

— А Кереметь — хороший бог?

— Бог — не лошадь, по зубам не узнаешь. Не взглянешь ему в зубы-то...

Она долго отвечала так, сердито и сдержанно, но мне удалось какими-то словами задеть ее, и, раздув ноздри, обнажив зеленоватые зубы овцы, еще быстрее перебирая спицы, она заворчала раздраженно:

— Что ты стучишь, как бондарь, — бог, бог? Человека нельзя отдавать богу, как девку старику, нельзя насильно тащить к богу. Не семья будет. Правды не будет.

С удивлением я заметил, что старуха строит речь свою как будто не по-русски, хотя вообще она говорила сочно и складно. Резким жестом она дернула платок на голове, лоб ее стал выше, а из-под мохнатых бровей на меня внушительно уставились другие глаза — светлее, меньше. И все мятое лицо ее тоже стало меньше, тверже.

— Ваш бог — веру любит, Кереметь — правду, — говорила она. — Правда выше веры. Кереметь знает: бог с человеком в дружбе — будет правда! Человечья душа — его душа, он ее чорту не даст. Ваш бог, Христос, ничего не хочет, только веры хочет. Кереметь — человека хочет, он знает: бог с человеком — правда, а один бог — это неправда. Он — бережливый. Зверя, рыбу, пчелу — это он дает человеку. Землю дает. Он человеку пастух. Не поп пастух, бог пастух. А у вас — поп. Христос говорит: верь, а Кереметь: делай правду! Сделаешь — друг мой будешь.

За деньги правду не сделаешь. Попы — деньги любят. Они Христа с Кереметью стравили, как собак, дерутся оба, сердятся, ваш — на нас, наш — на вас.

Она перестала вязать чулок, бросив на стол шерсть и спицы, и, шлепая губами, говорила глухо, угрюмо:

— Мордва не люди стали, кому верить — не знают. И вы — не люди. Кереметь сердит на вас, мешает жить, оба они мешают, один — вам, другой — нам. Злые оба. Бог человеком питается, а человек стал тоже злой, горький стал...

Посветлевшие глаза старухи блестели укоризненно и жестко, она становилась все меньше похожа на русскую, и что-то властное звучало в ее словах. Медленно разгибая сломанную шею, она точно намеревалась ударить меня головою, и это было так неприятно, что я выпрямился на стуле. И все чаще встречались в ее речи слова чужие мне, мордовские слова. Мое движение, видимо, несколько успокоило ее, она схватила чулок со стола, и снова быстро замелькали спицы. Помолчав, она заговорила тише:

— Бог злой, человек злой, поп хуже всех злой. Людей надо разделить честно: тех — этому богу, этих — тому. Тогда боги будут жить дружно. У каждого свое стадо. Хорошие хозяева враждой не живут. Вы говорите: «Бог правду любит, да не скоро скажет» — зачем не скоро? Знаешь — сейчас скажи! Кереметь знает: правда лучше веры. Он говорил, а когда его травить стали — замолчал. Обиделся, — живите без меня. Это плохо нам. Это чорту — хорошо...

Ко мне пришли мокрые мужики; отфыркиваясь, вытирая ладонями бороды, они уселись на лавку и повели осторожную беседу о городе, о земле, нащупывая: нет ли каких признаков, что жизнь станет легче? Не нащупали.

А когда они, тяжко вздыхая, ушли, Иваниха попросила меня:

— Ты не сказывай в городе, как мужики говорили. Губерпатору не сказывай, пожалуйста...

Спать она легла на печи, а я — на полатях, в душном запахе сушеных трав.

Среди ночи меня разбудил визг ветра в трубе и тяжелый, булькающий шопот. Осторожно взглянув с полатей вниз, я увидал, что Иваниха, стоя на коленях, молится.

Сверху она казалась бесформенной грудой чего-то серого, угловатого, похожего на камень. Ее необыкновенный, глухой голос странно булькал, казалось — это яростно кипит вода или полощут горло. Потом из этого кипения возникли странные сочетания слов.

— Ая-яй, Христос, ая-яй... Стыдно, Христос... Илья сердится, ты сердишься, Кереметь тоже. Ты — сильный, за тобой идет много людей. Тебе надо быть добрым. Кто будет добрый к людям, когда бог злой? А-я-яй, Христос! Ты слушай меня, слушай, я много знаю! Бабы твои мучаются, мужики мучаются, зачем? Э-эх...

Не крестясь, она размахивала руками, то простирая их к темным пятнам икон, то прижимая к бедрам, или била ладонями по грудям. И все шептала, глухо, но горячо упрекая, захлебываясь словами:

— Кереметь попы твои гонят, ох! Как можно? Кереметь — хуже тебя разве? Э-э, плохо, Христос! Бог бога гонит — чему учит людей? Ох, ты, Христос, нехороший бог, завистлив ты, злой, не человечий ты бог, нет! Трудно людям с тобой. Что делаешь? Иван — зачем помер молодой? Мишка, — одно дитя, такой светлый Мишка, — зачем? Корова Гусевых пала, ай-ай-яй! Не жалко тебе своих, а? Чужих ты уж не пожалеешь, нет! Ой, плохо. Кому служишь, Христос? Каким людям служишь, а? Вот я, баба, людям служу, твоим помогаю, и татарам, и чуваше — мне все равно, видишь? А ты — кому? Поп твой говорит: ты — для всех, а ты и своих не любишь, нет. Стыдно тебе, ох, не так надо. Я правду говорю: эй, стыдно тебе! Смотри на твои люди — хорошие люди, а как живут? Э, — Христос! Ты знаешь: бог живет хорошо, когда слушает людей, люди — когда бога слушают. Ты слушай меня, я говорю не плохо, я правду говорю, ты понимай: богу надо знать правду лучше людей, а я, человек, старуха, знаю правду лучше тебя, прежде тебя знаю, э-эх ты, Христос...

Так она укоряла Христа долго; очень жутко гудел ее глухой голос, кипящие слова, булькая в горле ее, звучали то жалобно, то горько и гневно.

Тонкими плетями хлестал дождь по соломе крыши, тонко и зло взвизгивал ветер, приглушая сердечную жалобу человека.

...На рассвете я уехал из деревни и увез в памяти моей одну из лучших бесед человека с богом, может быть, самую лучшую из всех, какие довелось слышать мне.

«Э, Христос...»

ПАУК

Ермолай Маков, старик, торговец «древностями», — человек длинный, тощий и прямой, как верстовой столб. Ходил он по земле, как солдат на параде, смотрел на все огромными глазами быка, в серовато-синем, мутном блеске их было что-то унылое и тупое. Он казался мне глупым, в этом особенно убеждала меня своенравная и капризная черта его характера: принесет продавать чернильницу подьячего, жалованный ковш целовальника или древнюю монету, упорно торгуется, продаст и вдруг могильным голосом скажет:

— Нет, не хочу.

— Почему?

— Охоты нет.

— Зачем же ты целый час болтал зря?

Он молча сунет вещь в бездонный карман своей поддевки, вздохнет тяжко и уходит, не простясь, как будто крепко обиженный. Но через день, а иногда — через час, неожиданно является, кладет вещь на стол:

— Бери.

— А что ж ты прошлый раз не продал?

— Охоты не было.

Он был не жаден на деньги, помногу давал нищим, а к себе относился небрежно: ходил зиму и лето в старенькой, на вате, поддевке, в теплом измятом картузе, в худых сапогах. Жил — бездомно, переходя от поместья в поместье из Нижнего в Муром, из Мурома в Суздаль, Ростов, Ярославль, и снова являлся в Нижнем, всегда останавливаясь в грязненьких «Номерах» Бубнова; их населяли торговцы канарейками, шулера, сыщики и всевозможные искатели счастья; они искали его лежа на продавленных диванах, в облаках табачного дыма. Среди этого человечьего мусора Маков пользовался особым вниманием, как «ходовой» человек и хороший рассказчик; рассказывал же он всегда о том, как разрушаются — «хиз-

нут» — старые «дворянские гнезда». Говорил он об этом с глухой, унылой злобой, особенно густо и настойчиво подчеркивая легкомыслие помещиков.

— Шары гоняют. Очень любят они шары гонять деревянными молотками, — игра такая. И сами как шары эти стали, — совсем безмысленно катаются туда-сюда по земле.

Однажды, туманной ночью осени, я нашел Макова на пароходе, по дороге в Казань. Едва шевеля колесами, пароход слепо и осторожно сползал, сквозь туман, по течению; в серой воде и сером тумане расплывались, таяли его огни, глухо и непрерывно ревел гудок; было тоскливо, как в тяжелом сне. Маков сидел на корме, одиноко, точно прячась от кого-то. Мы разговорились, и вот что он рассказал:

— Двадцать третий год живу я в неизбывном страхе, и нет мне спасения от него. А страх мой, сударь, особый: вселена в плоть мою чужая душа. Было мне, сударь, тридцать годов, и водился я с одной бабой, не иначе как — ведьмой. Муж у нее — приятель мой — был добрый человек, а — больной, умирал. И в ночь, когда помер он, а я — спал, бабенка эта окаянная изняла из меня мою душу, а его душеньку заключила в мою плоть. Ей было выгодно это, муж-от был ласковее меня к ней, треклятой. Помер он, и — сразу стало мне заметно: не тот я человек. Бабу эту, прямо скажу, не любил я, просто — баловался с нею, а тут вижу: влечется к этой бабе душа моя. Как же это? Неприятна женщина мне, а оторваться от нее — не могу. Все мои отличные качества дымом исчезли, нудит меня неведомая грусть, стал я робок с ней и вижу: серовато все вокруг, как золой опылено, а баба эта — лицо огня! Играет со мною, зализывая меня во грех, по ночам. Тут и понял я: подменила она душу мне, чужой душою живу. А — моя-то, настоящая-то моя, богом данная мне, — где же? Испугался я...

Тревожно гудел гудок, глухой гул его упирался в туман, пароход, точно ущемленный, ворочал кормою, урчала и плескалась вода под нею, темная и жирная, как смола. Старик, прислонясь спиною к борту, передвигал ноги в пудовых сапогах, нелепо шарил руками вокруг себя и тихонько говорил:

— Испугался я, пошел на чердак, изделал петлю, привязал к стропилу, — углядела меня прачка, зашумела — вынули из петли. И после того очутилось около меня несообразное существо: шестиногий паук, величиной с небольшого козла, бородат, рогат, с женскими титьками, о трех глазах, два ока — в голове, а третье — меж грудями, вниз, в землю глядит, на мои следы. И куда ни иду, он невступно за мной перебирается, мохнатый, на шести ногах, вроде бы тени лунной, и никому его не видать, кроме меня, — вот он здесь, а ты его не видишь, вот он!

Протянув руку влево от себя, Маков погладил что-то в воздухе, на высоте вершков десяти от палубы; потом, вытирая руку о колено, сказал:

— Мокрый.

— Что же ты, так двадцать лет и живешь с пауком? — спросил я.

— Двадцать три. Ты думаешь — безумен я? Вот ведь, стража моя, вот он прихилился, паук-от...

— А с докторами не говорил ты о нем?

— Полно-ка, сударь, что тут доктор может? Ведь это не нарыв, ножиком не отрежешь, микстуркой не вытравишь, мазями не затрешь. Доктор его не видит, паука-то.

— Говорит с тобой паук?

Маков удивленно взглянул на меня и спросил:

— Смеешься, что ли? Как же паук говорить может? Он мне для страха дан, чтоб я собой не располагал, не погубил бы чужую душу. Ведь душа-то во мне чужая, вроде бы — краденая. Лет десяток назад тому задумал я утопиться, — бросился с баржи в воду, а он, паук, вцепился лапами в борт да и в меня, я и повис за бортом. Ну, притворился я, будто нечаянно за борт упал. После матросы говорят: поддевка удержала меня, зацепилась за что-то. А — вот она, поддевка-то, какая поддела меня...

Старик снова погладил, потрогал рукою влажный воздух.

Я молчал, не зная, что сказать человеку, который живет бок о бок с таким странным созданием воображения своего, живет, а — не совсем безумен.

— Давно я хотел потолковать с тобой про этот случай, — говорил он тихо и просительно. — Ты говоришь обо

всем смело, верю я тебе. Скажи мне, сделай милость, как, по-твоему: от бога паук этот охрана мне али от дьявола?

— Не знаю.

— Подумал бы ты... Я полагаю — от бога, это он охраняет, бережет чужую душу во мне. Ангела приставить не захотел, не достоин я ангела. А вот паук — это умнее. Страшный, главное. Долго не мог я привыкнуть к нему.

Сняв картуз, Маков перекрестился и сказал тихонько, воодушевленно:

— Велик и благодетелен бог наш, господин и отец разума, пастырь душ наших.

...Через несколько месяцев, лунной ночью, я встретил Макова на одной из глухих улиц Нижнего-Новгорода, он шел по тротуару, прижимаясь к заборам, как бы уступая дорогу кому-то.

— Что — жив паук?

Старик усмехнулся, наклонясь провел рукою по воздуху и ласково сказал:

— А — вот он...

Спустя три года я узнал, что в 905 году Макова ограбили и убили где-то около Балахны.

МОГИЛЬЩИК

Когда я подарил кладбищенскому сторожу Бодрягину давно желанную им гармонику, он — одноглазый, лохматый — крепко прижал правую свою руку к сердцу и, сияя радостью, закрыв свой одинокий, милый — а порою жуткий — глаз, сказал:

— Эх-х...

Задохнулся от возбуждения, потряс плешивой головою и одним дыханием произнес:

— Умрете вы, Лексей Максимыч, ну, уж я за вами поухаживаю!

Он брал с собою гармонику даже тогда, когда рыл могилы и, уставая работать, поигрывал любовно и тихонько польку. Он иногда называл ее с французским «прононсом» — «Трен-блан», а иногда «Дрянь-брань». Это была единственная пьеса, которую он умел играть.

Случилось, что он заиграл в то время, когда неподалеку от него священник служил панихиду. Кончив служить, он подозвал Бодрягина и стал ругать его:

— Усопших оскорбляешь, скот!

Бодрягин жаловался мне:

— Конечно, это я нехорошо сделал, а все-таки: как он может знать — что покойнику обидно?

Он был уверен, что ада — нет; души хороших людей отлетают после смерти тела в «пречистый» рай, а души грешников, оставаясь в теле, живут в могилах до поры, пока тело не сгниет.

— После того земля выдыхает душу на ветер и ветром разносит ее в бесчувственную пыль.

Когда зарыли в могилу труп любимой мною шестилетней девочки Николаевой и все разошлись с кладбища, — Костя Бодрягин, подравнивая глиняный холмик могилы ударами лопаты, утешал меня.

— Ты, друг, не горюй! Может, на том свете иными словами говорят, лучше нашего-то, веселее. А может, и не говорят ничего, а только на виловончелях играют.

Музыку он любил до смешного и опасного самозабвения: услышит вдали звуки военного оркестра, шарманку или рояль и тотчас весь насторожится, вытянув шею в направлении звука, заложив руки за спину, замрет, широко открыв свой темный глаз, как будто слушая глазом. Иногда это случалось с ним на улице, дважды его сшибали лошади и многократно били кнутами извозчики, когда он, очарованный, стоял, не слыша криков предостережения, не видя опасности.

Он объяснял:

— Услышу музыку и — словно на дно речное мырну!

Он «путался» с кладбищенской нищей Сорокиной, пьяной бабой, старше его лет на пятнадцать, — ему было уже за сорок.

— Зачем она тебе? — спросил я.

— А — кто ее утешит? Некому опричь меня. Я же люблю утешать самых безутешных. Своего горя у меня нет, вот я чужое и одолеваю.

Мы говорили, стоя под березой, в потоках неожиданно хлынувшего июньского ливня.

Костя с наслаждением ежился под ударами дождя о его череп, голый, угловатый, и бормотал:

— Мне приятно, когда мое слово слезу сушит...

У него был, видимо, рак желудка, он выдыхал гнилой запах трупа, не мог есть, страдая рвотой, но работал бодро, ходил по кладбищу весело и умер за картами, играя с другим сторожем в дурачки.

Н. А. БУГРОВ

...В 1901 году, выпустив меня из тюрьмы, начальство применило ко мне очень смешную меру «предупреждения и пресечения преступлений» — домашний арест. В кухню моей квартиры посадили полицейского, в прихожую — другого, и я мог выходить на улицу только в сопровождении одного из них.

Кухонный страж помогал кухарке носить дрова, чистить овощи, мыть посуду; страж прихожей открывал двери посетителям, раздевал их, подавал галоши, а когда у меня никого не было, он, заткнув неуклюжей фигурой своей дверь в мою комнату, спрашивал бабьим голосом:

— Господин Горьков, — извините! — как же это? Говорится: небеса, небесный, а — вдруг: бес основания? Какое же основание? Основание грехов наших?

Изрытое оспой лицо солдата украшал тупой нос, дряблый, как губка, под носом торчали кустики черной шерсти, раковина его левого уха была разорвана поперек, левый глаз косил, забегая в сторону уха.

— Люблю читать жития священномучеников, — говорил он тонким голосом и почему-то виноватым тоном. — Необыкновенные слова там попадаются...

И конфузливо спрашивал:

— А — извините! — непо̀рочный значит непоротый? Примерно: непо̀рочная дева?

Наскоро объяснив ему различие между поркой и пороком, я просил:

— Вы, пожалуйста, не мешайте мне.

— Хорошо, — благосклонно говорил он. — Ничего, пишите...

И через пять, десять минут снова звучал раздражающий голосок:

— А — извините меня...

Однажды, часов в семь утра, я был разбужен его словами:

— Спит еще, на свету лег...

Чей-то другой голос спросил:

— И ночью сторожишь?

— А как же? По ночам они и действуют...

— Буди. Скажи — Зарубин пришел.

Через четверть часа предо мною сидел, кашляя и задыхаясь, старик Зарубин, тяжелая голова его тряслась, он отирал бороду клетчатым платком и, глядя в лицо мне выцветшими глазами, сипло говорил:

— Знакомиться с личностью твоей пришел. Хотел я в тюрьму к тебе придти, — прокуроришко не пустил.

— Зачем это нужно было вам?

Он хитроумно подмигнул мне:

— Надобно их тревожить, владык наших, воевод этих! Они думают — нет сопротивления им в делах беззаконных. А я вот показываю: врете, есть сопротивление!

Оглядел комнату прищуренными, красными глазами кролика.

— Не богато однако живешь, скудно. А слух идет — большие деньги даны тебе иностранцами за книгу Гордеева, за позор купечества нашего. Ну, все-таки книга, стоящая внимания; хоша и сочинение — а правда есть! Читают ее согласно; верно, говорят, списал, народ мы — такой! Яков Башкиров хвастает: «Маякин — это я! С меня списано, вот глядите, каков я есть умный». Бугров даже читал, Николай Александров. «Книжка, говорит, для нас действительно горькая!» Я ведь вроде как бы от него и пришел: почет тебе! Не верит он, что ты из простых, даже будто из босяков, хочет самолично поглядеть на тебя. Одевайся, едем к нему чай пить.

Ехать к Бугрову я отказался, это очень рассердило старика, он тяжело встал со стула, мотая трясущейся головою и брызгая слюной.

— Гордость твоя — глупая! Бугров не грешнее таких, каков ты есть. А что из дома выходить без полицейского

не велено тебе, так ему, Бугрову, наплевать густо на законы и запреты ваши.

И, не простясь, старик ушел, сердито шаркая ногами. Провожая его, полицейский спросил:

— Несогласие обнаружено?

Зарубин крикнул на него:

— А ты — молчи!..

Миллионер, крупный торговец хлебом, владелец паровых мельниц, десятка пароходов, флотилии барж, огромных лесов, — Н. А. Бугров играл в Нижнем и губернии роль удельного князя.

Старообрядец «беспоповского согласия», он выстроил в поле, в версте расстояния от Нижнего, обширное кладбище, обнесенное высокой, кирпичной оградой, на кладбище — церковь и «скит», — а деревенских мужиков наказывали годом тюрьмы по 103 статье «Уложения о наказаниях уголовных» за то, что они устраивали в избах у себя тайные «молельни». В селе Поповке Бугров возвел огромное здание, богадельню для старообрядцев, — было широко известно, что в этой богадельне воспитываются сектанты-«начетники». Он открыто поддерживал тайные сектантские скиты в лесах Керженца и на Иргизе и вообще являлся не только деятельным защитником сектантства, но и крепким столпом, на который опиралось «древлее благочестие» Поволжья, Приуралья и даже некоторой части Сибири.

Глава государственной церкви, нигилист и циник Константин Победоносцев, писал — кажется в 1901 году — доклад царю о враждебной, антицерковной деятельности Бугрова, но это не мешало миллионеру упрямо делать свое дело. Он говорил «ты» взбалмошному губернатору Баранову, и я видел, как он, в 96 году, на всероссийской выставке, дружески хлопал по животу Витте и, топая ногою, кричал на министра двора Воронцова.

Был он щедрым филантропом: выстроил в Нижнем хороший ночлежный дом, огромное, на 300 квартир, здание для вдов и сирот, прекрасно оборудовал в нем школу, устроил городской водопровод, выстроил и подарил городу здание для городской думы, делал земству подарки лесом

для сельских школ и вообще не жалел денег на дела «благотворения».

Дед мой сказывал мне, что отец Бугрова «разжился» фабрикацией фальшивых денег, но дед обо всех крупных купцах города говорил как о фальшивомонетчиках, грабителях и убийцах. Это не мешало ему относиться к ним с уважением и даже с восторгом. Из его эпических повестей можно было сделать такой вывод: если преступление не удалось — тогда это преступление, достойное кары; если же оно ловко скрыто — это удача, достойная хвалы.

Говорили, что Мельников-Печерский [в] «В лесах» под именем Максима Потапова изобразил отца Бугрова; я так много слышал плохого о людях, что мне было легче верить Мельникову, а не деду. О Николае Бугрове рассказывали, что он вдвое увеличил миллионы отца на самарском голоде начала восьмидесятых годов.

Обширные дела свои Бугров вел сам, единолично, таская векселя и разные бумаги в кармане поддевки. Его уговорили завести контору, взять бухгалтера; он снял помещение для конторы, богато и солидно обставил его, пригласил из Москвы бухгалтера, но никаких дел и бумаг конторе не передал, а на предложение бухгалтера составить инвентарь имущества задумчиво сказал, почесывая скулу:

— Это — большое дело! Имущества у меня много, считать его — долго!

Просидев месяца три в пустой конторе без дела, бухгалтер заявил, что он не хочет получать деньги даром и просит отпустить его.

— Извини, брат! — сказал Бугров. — Нет у меня времени конторой заниматься, лишняя она обуза мне. У меня контора вся тут.

И, усмехаясь, он хлопнул себя ладонью по карману и по лбу.

Я часто встречал этого человека на торговых улицах города: большой, грузный, в длинном сюртуке, похожем на поддевку, в ярко начищенных сапогах и в суконном картузе, он шел тяжелой походкой, засунув руки в карманы, шел встречу людям, как будто не видя их, а они уступали дорогу ему не только с уважением, но почти

со страхом. На его красноватых скулах бессильно разрослась серенькая бородка мордвина, прямые, редкие волосы ее, не скрывая маленьких ушей, с приросшими мочками, и морщин на шее, на щеках, вытягивали тупой подбородок, смешно удлиняя его. Лицо — неясное, незаконченное, в нем нет ни одной черты, которая, резко бросаясь в глаза, навсегда оставалась бы в памяти. Такие неуловимые, как бы нарочито стертые, безглазые лица часто встречаются у людей верхнего и среднего Поволжья, — под скучной, неопределенной маской эти люди ловко скрывают свой хитрый ум, здравый смысл и странную, ничем необъяснимую жестокость.

Каждый раз, встречая Бугрова, я испытывал волнующее, двойственное чувство — напряженное любопытство сочеталось в нем с инстинктивною враждой. Почти всегда я принуждал себя вспоминать «добрые дела» этого человека, и всегда являлась у меня мысль:

«Странно, что в одном и том же городе, на узенькой полоске земли могут встречаться люди столь решительно чуждые друг другу, как чужды я и этот «воротило».

Мне сообщили, что будто, прочитав мою книжку «Фома Гордеев», Бугров оценил меня так:

— Это — вредный сочинитель, книжка против нашего сословия написана. Таких — в Сибирь ссылать, подальше, на самый край...

Но моя вражда к Бугрову возникла за несколько лет раньше этой оценки; ее воспитал ряд таких фактов: человек этот брал у бедняков родителей дочь, жил с нею, пока она не надоедала ему, а потом выдавал ее замуж за одного из сотен своих служащих или рабочих, снабжая приданым в три, пять тысяч рублей, и обязательно строил молодоженам маленький, в три окна, домик, ярко окрашенный, крытый железом. В Сейме, где у Бугрова была огромная паровая мельница, такие домики торчали на всех улицах. Новенькие, уютные, с цветами и кисейными занавесками на окнах, с зелеными или голубыми ставнями, они нахально дразнили людей яркостью своих красок и как бы нарочито подчеркнутым однообразием форм. Вероятно, эти домики, возбуждая воображение и жадность, очень способствовали развитию торговли девичьим телом.

Забава миллионера была широко известна, — на окраинах города и в деревнях девицы и парни распевали унылую песню:

Наверно, ты Бугрова любишь,
Бугрову сердце отдала;
Бугрову ты верна не будешь,
А мне — по гроб страдать дала!

На одной из таких «испробованных девиц» женился мой знакомый машинист, тридцатилетний вдовец, охотник по птице и птицелов, автор очень хорошего рассказа о жизни пернатых хищников, напечатанного, кажется, в журнале «Природа и охота».

Хороший, честный человек, он так объяснял мотивы женитьбы:

— Жалко девушку, обижена, а — хорошая девушка! Не скрою: за ней четыре тысячи приданого и домик. Это — меня подкупает. Буду жить тихо, учиться начну, писать...

Через несколько месяцев он начал пить, а на масленице был избит в пьяной драке и вскоре помер. Незадолго перед этим он прислал мне рукопись рассказа о хитростях лисы в ее охоте за лесной птицей, — помню, рассказ был начат так:

«Ярко и празднично одет осенний лес, а дышит он унынием и гнилью».

Ко мне пришла женщина, возбужденная почти до безумия, и сказала: ее близкий друг заболел в далекой ссылке, у Полярного круга. Она должна немедля ехать к нему, нужны деньги. Я знал, что речь идет о человеке недюжинном, но у меня не было крупной суммы, нужной на поездку к нему.

Я пошел к чудаковатому богачу Митрофану Рукавишникову; этот маленький, горбатый человечек жил, — как Дезэссент, герой романа Гюисманса, — выдуманной жизнью, считая ее очень утонченной и красивой: он ложился спать утром, вставал вечером, к нему ночами приходили друзья: директор гимназии, учитель института благородных девиц, чиновник ведомства уделов, они всю ночь пили, ели, играли в карты, а иногда, приглашая

местных красавиц «свободной жизни», устраивали маленькие оргии.

В полумраке кабинета, тесно уставленного мебелью из рога техасских быков, в глубоком кресле, сидел, окутав ноги пледом, горбун с лицом подростка; испуганно глядя на меня темными глазами, он молча выслушал просьбу дать мне денег взаем и молча протянул двадцать пять рублей. Мне было нужно в сорок раз больше. Я молча ушел.

Дня три бегал по городу, отыскивая деньги, и, случайно встретив Зарубина, спросил: не поможет ли он мне?

— А ты проси у Бугрова, этот даст! Едем к нему, он на бирже в сей час!

Поехали. В шумной толпе купечества я тотчас увидал крупную фигуру Бугрова, он стоял, прислонясь спиною к стене, его теснила толпа возбужденных людей и наперебой кричала что-то, а он изредка, спокойно и лениво говорил:

— Нет.

И слово это в его устах напоминало возглас «цыц!», которым укрощают лай надоевших собак.

— Вот — самый этот Горький, — сказал Зарубин, бесцеремонно растолкав купечество.

С лица, измятого старостью, на меня недоверчиво и скользко взглянули маленькие, усталые глазки, веко одного из них было парализовано и отвисло, обнажая белок, расписанный красными жилками, из угла глаза, от переносицы, непрерывно стекала слеза. Зрачки показались мне мутными, но вдруг в них вспыхнули зелененькие искры, осветив на секунду это мордовское лицо умильной усмешкой. И, пожимая руку мою пухлой, но крепкой рукою, Бугров сказал:

— Честь городу нашему... Чайку попить не желаете ли со мною?

В «Биржевой» гостинице, где все пред ним склонилось до земли и даже канарейки на окнах почтительно перестали петь, — Бугров крепко сел на стул, спросив официанта:

— Чайку, брат, дашь?

Зарубина остановил какой-то толстый, красноносый человек с солдатскими усами, старик кричал на него:

— Полиции — боишься, а совести — не боишься!

— Все воюет языком неуемным старец наш, — сказал Бугров, вздыхая, отер слезу с лица синим платком и, проткнув меня острыми лучами глаз, спросил:

— Слыхал я, что самоуком дошли вы до мастерства вашего, минуя школы и гимназии? Так. Городу нашему лестно. И будто бедность большую испытать пришлось? И в ночлежном доме моем живали?

Я сказал, что, будучи мальчишкой, мне случалось по пятницам бывать у него на дворе, — в этот день он, в «поминок» по отце, давал нищим по два фунта пшеничного хлеба и по серебряному гривеннику.

— Это ничего не доказует, — сказал он, двигая сереньким волосами редких бровей. — За гривенником и не бедные люди приходили от жадности своей. А вот что в ночлежном жили вы, — это мне слишком удивительно. Потому что я привык думать: из этого дома, как из омута, никуда нет путей.

— Человек — вынослив.

— Очень правильно, но давайте прибавим: когда знает, чего хочет.

Говорил он солидно, как и подобало человеку его положения, слова подбирал осторожно, — должно быть, осторожность эта и делала его речь вычурной, тяжелой. Зубы у него мелкие, плотно составлены в одну полоску желтой кости. Нижняя губа толста и выворочена, как у негра.

— Откуда же вы купечество знаете? — спросил он, а выслушав мой ответ, сказал:

— Не все в книге вашей верно, многое же очень строго сказано, однако Маякин — примечательное лицо! Изволили знать такого? Я вокруг себя подобного не видал, а — чувствую: таков человек должен быть! Насквозь русский и душой и разумом. Политического ума...

И, широко улыбаясь, он прибавил весело:

— Очень поучительно подсказываете вы купцу, как ему жить и думать надобно, о-очень!

Подошел Зарубин, сердито шлепнулся на стул и спросил не то — меня, не то — Бугрова:

— Дал денег?

Вопрос его так смутил меня, что я едва не выругался и, должно быть, сильно покраснел. Заметив мое смущение, Бугров тотчас шутливо спросил:

— Кто — кому?

Я в кратких словах объяснил мою нужду, но Зарубин вмешался, говоря:

— Это он не для себя ищет денег, он живет скудно...

— Для кого же, — можно узнать? — обратился ко мне Бугров.

Я был раздражен, выдумывать не хотелось, и я сказал правду, ожидая отказа.

Но миллионер, почесывая скулу, смахивая пальцем слезу со щеки, внимательно выслушал меня, вынул бумажник и, считая деньги, спросил:

— А — хватит суммы этой? Путь — дальний, и всякие случаи неудобные возможны...

Поблагодарив его, я предложил дать расписку, — он любезно усмехнулся:

— Разве что из интереса к почерку вашему возьму...

А посмотрев на расписку, заметил:

— Пишете как будто уставом, по-старообрядчески, каждая буковка — отдельно стоит. Очень интересно пишете!..

— По псалтырю учился.

— Оно и видно. Может — возьмете расписочку назад?

Я отказался и, торопясь передать деньги, ушел. Пожимая мне руку с преувеличенной любезностью, Бугров сказал:

— Будемте знакомы! Иной раз позвольте лошадь прислать за вами, — вы далеко живете. Весьма прошу посетить меня.

Спустя несколько дней, утром около восьми часов, он прислал за мною лошадь, и вот я сижу с ним в маленькой комнатке, ее окно выходит во двор, застроенный каменными складами, загроможденный якорями, железным ломом, лыком, рогожей, мешками муки. На столе шумно кипит маленький самовар, стоит блюдо горячих калачей, ваза зернистой икры и сахарница с разноцветными кубиками фруктового — «постного» — сахара.

— Рафинада — не употребляю, — усмехаясь, сказал Бугров. — Не оттого, что будто рафинад собачьей кровью моют и делают с ним разные... мапулярии, что ли, зовется это, по-ученому?

— Манипуляции?

— Похоже. Нет, постный сахар — вкуснее и зубам легче...

В комнате было пусто, — два стула, на которых сидели мы, маленький базарный стол и еще столик и стул в углу, у окна. Стены оклеены дешевыми обоями, мутноголубого цвета, около двери в раме за стеклом — расписание рейсов пассажирских пароходов. Блестел недавно выкрашенный рыжий пол, все вылощено, скучно чисто, от этой чистоты веяло холодом, и было в ней что-то «нежилое». Воздух густо насыщен церковным запахом ладана, лампадного масла, в нем кружится большая синяя муха и назойливо жужжит. В углу — икона богоматери, в жемчужном окладе, на венчике — три красные камня; пред нею — лампада синего стекла. Колеблется сиротливо голубой огонек, и как будто по иконе текут капельки пота или слез. Иногда муха садится на ризу и ползает по ней черным шариком.

Бугров — в сюртуке тонкого сукна, сюртук длинен, наглухо, до горла, застегнут, похож на подрясник. Смакуя душистый чай, Бугров спрашивает:

— Так, значит, приходилось вам в ночлежном доме живать?

Голос его звучит сочувственно, точно речь идет о смертельной болезни, которую я счастливо перенес.

— Трудно поверить, — раздумчиво отирая слезу со щеки, продолжает он. — Босяк наш — осенний лист. И даже того бесполезнее, ибо — лист осенний удобряет землю...

И, в тон жужжанию мухи, рассказывает:

— У нас тут, на берегу, подрядчик есть, артель грузчиков держит, Сумароков по фамилии; так он — знаменитого лица потомок, в Екатеринины времена его дед большую значительность имел, а внук — личность дерзкая, живет вроде атамана разбойников, пьянствуя с рабочими своими, и прикрывает их воровство. Ведь вот какая превратность! А вы — наоборот. Трудно понять, на каких весах судьба взвешивает людей... Возьмите иорки еще!

Не спеша жует калач, громко чмокая, и скользящим взглядом щупает меня.

— Книг я не читаю, а ваши сочинения — прочитал, посоветовали. Очень удивительных людей встречали вы.

Например: в одну сторону идет Маякин, в другую — «проходимец» этот, — как его?

— Промтов.

— Да. Одни, души не щадя, стараются для России, для всех людей нашего государства, а другой — расковыривает всю жизнь похабным языком, грязным шилом умишка своего. А вы и о том и о другом рассказываете... не умею выразить как, как будто о чужих вам, не русских людях, но как будто и родственно, а? Не совсем понимаю это...

Я спросил: читал ли он рассказ «Мой спутник»?

— Читал. Весьма занятно.

Он откинулся на спинку стула, стирая пот с лица большим платком с цветной каймою, потом — взмахнул им, как флагом.

— Ну, это, конечно, человек дикий, не русский. А этот, «проходимец» — правда? Маякин же, говорите, не совсем правда?

Качая головой с желто-седыми волосами, плотно примасленными к черепу, он негромко сказал:

— Есть в этом опасность. Государство наше, говорят, дом, который требует ремонта, перестроить надо-де его! Так-с. Ну, а какой же силой? Сила-то где, по-вашему? Как же всех людей включить в это дело, когда одни свободно пасутся, как скот на подножном корму, и ничего боле не желают? А как же Маякин-то? Хозяин-то? Он, души не жалея, делу государственному жертвует всей силой и совестью, а другим — наплевать на него, а?

Значительный этот разговор был прерван мухой — она слепо налетела на слабый огонек лампады, взныла и, погасив его, упала в масло. Бугров встал, вышел за дверь и крикнул:

— Эй!

Явилась миловидная девушка, одетая, как монахиня, в темное, поклонилась нам, прижав руки к животу, и, положив на стол несколько телеграмм, молча стала оправлять лампадку. Потом, с таким же поклоном, не поднимая глаз, исчезла, перебирая пальцами кожаную лестовку, висевшую на поясе у нее.

— Дела доспели, извините, — сказал Бугров, скользя глазами по квадратным бумажкам телеграмм. Вынул

из кармана огрызок карандаша, наморщив нос, поставил на бумагах какие-то знаки и небрежно бросил их на стол, говоря:

— Пойдемте отсюда...

Привел меня в большой зал с окнами на берег Волги; на крашеном полу лежали чистые половики, небеленого холста, по стенам стояли стулья. У одной из них — кожаный диван. Скучно пусто, и все тот же церковный, масляный запах. А в стекла окон непрерывно стучится буйный, железный гул трудового дня, на реке свистят пароходы...

— Хороша картинка? — спросил Бугров, указывая на стену, — там висела копия Сурикова «Боярыня Морозова», а против ее, на другой стене, — превосходное старое полотно — цветы, написанные удивительно тонко и благородно. Медная пластинка внизу рамы говорила, что это работа Розы Бонёр.

— Вам эта больше нравится? — улыбаясь, спросил старик. — Я ее в Париже купил; иду по улице, вижу — в окне картина и на ней цифра — десять тысяч! Что такое? — думаю. Пригляделся — цветы и боле ничего. Искусно, однако же и цена. Три тысячи целковых ведь. Послал знакомого спросить: почему так дорого? Тот спросил — редкость, говорит. Опять пошел, посмотрел. Нет, думаю, дудки! А наутро говорю приятелю-то: «Поди-ка, возьми ее мне».

Он засмеялся.

— Каприз, конечно. Но — так она мне понравилась — нельзя оставить...

Все вокруг блестело холодной нежилою чистотой, вызывая мысль о скучной, одинокой жизни.

— Вы меня извините, — надо на биржу идти, — сказал Бугров. — Не удалось нам кончить интересную нашу беседу, очень жалею. Позвольте обеспокоить вас вдругорядь... До свиданьица!

Он часто присылал за мною лошадь, и я охотно ездил к нему пить утренний чай с калачами, икрой и «постным» сахаром. Мне нравилось слушать его осторожно щупающие речи, следить за цепким взглядом умных глаз, догадываться — чем живет этот человек вне интересов

своего купеческого дела и в чем, кроме денег, сила его влияния?

Мне казалось, что он хочет что-то вытянуть из меня, о чем-то выспросить, но он, видимо, не умел сделать это или неясно понимал, чего хочет.

Часто возвращался к скучному вопросу:

— Как же это случилось, что вы, странствуя по путям опасным и даже гибельным, все-таки вышли на дорогу полезного труда?

Это раздражало меня. Я говорил ему о Слепушкине, Сурикове, Кулибине и других русских самоучках.

— Скажите, какое обилие! — нехотя удивлялся он, задумчиво почесывая скулу, безуспешно пытаясь прищурить больной глаз. И, прищуривая здоровый, назойливо спрашивал:

— Ведь в жизни без основания, без привязки к делу, — большой соблазн должен быть, как же это не соблазнились вы? В дело-то как вросли, а?

Но наконец он все-таки поймал мысль, которая тревожила его:

— Видите ли, что интересно: вот мы живем сыто и богато, а под нами водятся люди особых свойств, подкапывают нашу жизнь. Люди — злые, как вы рассказываете о них в книжках ваших, люди — без жалости. Ведь ежели начнет этих людей снизу-то горбом выпирать, — покатится вся наша жизнь сверху вниз...

Говорил он улыбаясь, но глаза его, позеленев, смотрели на меня сухо и пронзительно. Сознавая бесполезность моих слов, я довольно резко сказал, что жизнь насквозь несправедлива, а потому — непрочна, и что — рано или поздно — люди изменят не только формы, но и основания своих взаимоотношений.

— Непрочна! — повторил он, как бы не расслышав слова — несправедлива. — Это — верно, непрочна. Знаки непрочности ее весьма заметны стали.

И — замолчал. Посидев минуту, две, я стал прощаться, убежденный, что знакомство наше пресеклось и уж больше не буду я пить чай у Бугрова с горячими калачами и зернистой икрой. Он молча и сухо пожал руку мне, но в прихожей неожиданно заговорил, вполголоса, напряженно, глядя в угол, где сгустился сумрак:

— А ведь человек — страшен! Ой, страшен человек! Иной раз — опамятуешься от суеты дней, и вдруг — сотрясется душа, бессловесно подумаешь — о, господи! Неужто все — или многие — люди в таких же облаках темных живут, как ты сам? И кружит их вихорь жизни так же, как тебя? Жутко помыслить, что встречный на улице, чужой тебе человек проникает в душу твою и смятение твое понятно ему...

Говорил он нараспев, и странно было мне слушать это признание.

— Человек — словно зерно под жерновом, и каждое зерно хочет избежать участи своей, — ведь вот оно, главное-то, около чего все кружатся и образуют вихорь жизни...

Он замолчал, усмехаясь, а я сказал первое, что пришло в голову:

— С такими мыслями — вам трудно жить!

Он чмокнул губами.

Вскоре он снова прислал за мною лошадь, и, беседуя с ним, я почувствовал, что ему ничего не нужно от меня, а — просто — скучно человеку и он забавляется возможностью беседовать с кем-то иного круга, иных мыслей. Держался он со мною все менее церемонно и даже начал говорить отеческим тоном. Зная, что я сидел в тюрьме, он заметил:

— Это — зря! Ваше дело — рассказывать, а не развязывать...

— Что значит — развязывать?

— То и значит: революция — развязка всех узлов, которые законами связаны и людей скрепляют для дела. Или вы — судья, или — подсудимый...

Когда я сказал ему о назревающей неизбежности конституции, он, широко улыбаясь, ответил:

— Да ведь при конституции мы, купечество, вам, беспокойным, еще туже, чем теперь, гайки подвинтим.

Но о политике он беседовал неохотно и пренебрежительно, тоном игрока в шахматы об игре в шашки.

— Конечно, — всякая шашка хочет в дамки пролезть, а все другие шашки от этого проигрывают. Дело — пустенькое. В шахматах — там суть игры — мат королю!

Несколько раз он беседовал с царем Николаем.

— Не горяч уголек. Десяток слов скажет — семь не нужны, а три — не его. Отец тоже не великого ума был, а все-таки — мужик солидный, крепкого запаха, хозяин! А этот — ласков, глаза бабьи...

Он прибавил зазорное слово и вздохнул, говоря:

— Не по земле они ходят, цари, не знают они, как на улице живут. Живут, скворцы в скворешнях, во дворцах своих, но даже тараканов клевать не умеют и — выходят из моды. Не страшны стали. А царь — до той минуты владыка, покуда страшен.

Говорил он небрежным тоном, ленивенькими словами, безуспешно пытаясь поймать ложкой чаинку в стакане чая.

Но вдруг, отбросив ложку, приподнял брови, широко открыл зеленые болотные глаза.

— Вот над этим подумать стоит, господин Горький, — чем будем жить, когда страх пропадет, а? Пропадает страшок пред царем. Когда приезжал к нам, в Нижний, отец Николая, так горожане молебны служили благодарственные богу за то, что царя увидать довелось. Да! А когда этот, в девяносто шестом, на выставку приехал, так дворник мой, Михайло, говорит: «Не велик у нас царек! И лицом неказист и роста недостойного для столь большого государства. Иностранные-то, глядя на него, поди-ко, думают: ну, какая там Россия, при таком неприглядном царе!» Вот как. А он, Михайло, в охране царской был. И никого тогда не обрадовал царев наезд, — как будто все одно подумали: «Ох, не велик царек у нас!»

Он взглянул в угол на умирающий, сапфировый огонек лампады, встал, подошел к двери и, приоткрыв ее, крикнул:

— Лампаду оправьте, эй!

Бесшумно, как всегда, вошла, низко кланяясь, темная девица, встала на стул, оправляя лампаду, Бугров смотрел на ее стройные ноги в черных чулках и ворчал:

— Что это у вас в этой горнице лампада всегда плохо горит?

Девица исчезла, уплыла, точно обрывок черной тучи.

— Вот и о боге — тоже, — заговорил Бугров. — Даже в нашем быту, где бога любят и берегут больше, чем у вас, никониан, — даже у нас, в лесах, покачнулся бог. Величие

его будто бы сократилось. Любовности нет к нему, и как бы в забвение облекается. Отходит от людей. Фокусы везде, фокусами заслоняют чудо жизни, созданной им. Вот послушайте случай.

Вдумчиво, крепкими, тяжелыми словами, он рассказал:

В глухое лесное село Заволжья учитель привез фонограф и в праздник в школе стал показывать его мужикам. Когда со стола, из маленького деревянного ящика, человечий голос запел знакомую всем песню, мужики встали, грозно нахмурясь, а старик, уважаемый всем селом, крикнул:

— Заткни его, так твою мать!

Учитель остановил аппарат, тогда мужики, осмотрев ящик и цилиндр, решили:

— Сжечь дьяволову игрушку!

Но учитель предусмотрительно запасся двумя валиками церковных песнопений. Он с трудом уговорил мужиков послушать еще, и вот ящик громко запел «Херувимскую». Это изумило слушателей до ужаса, старик же надел шапку и ушел, толкая всех, как слепой; за ним, как стадо за пастухом, молча ушли и мужики.

— Старик этот, — строго рассказывал Бугров, глядя в лицо мне прищуренными глазами, — придя домой, сказал своим: «Ну, кончено. Собирайте меня, умереть хочу». Надел смертную рубаху, лег под образа и на восьмой день помер — уморил себя голодом. А село с той поры обзавелось бесшабашными какими-то людьми. Орут, не понять — что, о конце мира, антихристе, о черте в ящике. Многие — пьянствовать начали.

Постучав по столу пухлым пальцем, он продолжал с тревогой и горечью:

— Бог дал человеку лошадь для работы, а тут по улице бежит вагон — кем движим? Неизвестно. Я ученых спрашивал: «Это что значит — электричество?» — «Сила, говорят, а какая — неведомо». Даже — ученые. А каково мужику видеть это? Ведь ему не скажешь, что бог вагоны по улицам гоняет. А что не от бога, то — от кого? То-то. Да тут еще телефоны и всякое другое. У меня артельщик — умный парень, грамотей — до сего дня, к телефону подходя, — крестится, а поговорив, руки мылом моет — вон как! Всё — фокусы. Польза в них есть, я — не против

этого, я только спрашиваю: как понять это мужику, лесному-то человеку? Зверя он тонко понимает, рыбу, птицу, пчелу, но — если деревянный ящик молитвы поет, значит — зачем церковь, поп и все прочее? Как будто не надобно церковь?! И — где в этом бог? Это он, что ли, ангела в ящик посадить изволил? Вопрос!

Откусив кусочек фруктового сахара, Бугров жадно выпил чай, вытер усы и продолжал, убедительно, тихо:

— Наступило время опасное, больших тревог души время. Вот вы говорите — революция, воскресение всех сил земли. Какие силы-то, какие, откуда они? Народ этого не понимает. Вы забегаете вперед да вперед и все дальше, а мужик отстает все больше. Вот о чем подумай...

И вдруг предложил, почти весело:

— Поедемте со мною в Городец, разгуляемся?

Как земля, всякий человек облечен своей атмосферой, невидимым облаком истечений его энергий, незримым дымом горения его души.

Бугрова окружала атмосфера озабоченной скуки, но порою эта скука превращалась в медленный вихрь темных тревог. Он плутал, кружился по пустым своим комнатам, как пленный зверь, давно укрощенный усталостью, останавливался пред картиной Розы Бонёр и, касаясь тупым, желтым пальцем полотна, говорил задумчиво:

— На земле-то, в садах у нас, будто и не бывает таких затейных цветов. Хороши. Не видал таких...

Казалось, что он живет, как человек, глазам которого надоело смотреть на мир и они слепнут, но иногда все вокруг его освещалось новым светом, и в такие минуты старик был незабвенно интересен.

— Вот говорите — Маякин — лицо выдуманное? А Яшка Башкиров доказывает, что Маякин — это он, Башкиров. Врет! Он — хитер, да не так умен. Это я к тому, что цветы можно выдумать, а человека — нельзя! Сам себя он может выдумать, и это будет — горе его. Вы же сочинить не можете человека. Значит — похожих на Маякина вы видели. И, ежели имеются, живут люди, похожие на него, — хорошо!

Он нередко возвращался к этой теме.

— В театрах показывают купцов чудаками, с насмешкой. Глупость. Вы взяли Маякина серьезно, как человека, достойного внимания. За это вам — честь.

И, время от времени, все спрашивал:

— Так, значит, вы в ночлежном доме живали? До чего это не похоже на правду!

Однажды он спросил:

— А что вы — различие между людями видите? Примерно — различие между мною и матросом с баржи?

— Не велико, Николай Александрович.

— Вот и мне тоже кажется: не велико для вас различие между людей. Так ли это? По-моему, очень тонко надо различать, кто — каков. Надобно подсказывать человеку, что в нем его, что — чужое. А вы — как в присутствии по воинской повинности: годен — негоден! Для чего же годен-то? Для драки?

Пристукивая ребром ладони по столу, он сказал:

— В человеке — одна годность: к работе! Любит, умеет работать — годен! Не умеет? Прочь его! В этом вся премудрость, с этим безо всяких конституций можно прожить.

— Дай-ко мне ты власть, — говорил он, прищурив здоровый глаз до тонкости ножового лезвия, — я бы весь народ разбередил, ахнули бы и немцы и англичане! Я бы кресты да ордена за работу давал — столярам, машинистам, трудовым, черным людям. Успел в своем деле — вот тебе честь и слава! Соревнуй дальше. А что, по ходу дела, на голову наступил кому-нибудь — это ничего! Не в пустыне живем, не толкнув — не пройдешь! Когда всю землю поднимем да в работу толкнем — тогда жить просторнее будет. Народ у нас хороший, с таким народом горы можно опрокинуть, Кавказы распахать. Только одно помнить надо: ведь вы сына вашего в позывной час плоти его сами к распутной бабе не поведете — нет? Так и народ нельзя сразу в суету нашу башкой окунать — захлебнется он, задохнется в едком дыме нашем! Осторожно надо. Для мужика разум вроде распутной бабы — фокусы знает, а душу не ласкает. У мужика в соседях леший живет, под печью — домовой, а мы его, мужика, телефоном по башке. Примите в расчет вот что: трудно понять, кое место — правда, кое — выдумка? Когда выдумка-то издаля идет,

из древности, — так она ведь тоже силу правды имеет! Так что — пожалуй, леший, домовой — боле правда, чем телефон, фокус сего дня...

Встал, взглянул в окно и проворчал:

— Экое дурачье!

Постучал кулаком по переплету рамы, а потом, укоризненно качая головою, погрозил кому-то пальцем... И, засунув руки в карманы, стоя у окна, предложил:

— Желаете — расскажу случай, может, пригодится вам? Жила в Муроме девица необыкновенно красива, до удара в душу. Сирота, жила у дяди, а дядя — приказчик на пристани, воришка, скряга, многодетен и вдов; племянница у него за няньку, за кухарку и за дворника. Было ей уже двадцать лет, и, по силе ее красоты, сватались к ней даже весьма денежные люди, ну — дядя не выдавал ее, невыгодно ему было даровой работницы лишиться. Влюбился в нее чинуша один — спился, пропал. Говорили — поп старался захороводить ее, ему от этого тоже ничего не прибыло, кроме вреда и горя. Была она боголюбива, вся радость у нее — в церковь ходить да книги церковные читать. Любила цветы, — прекрасные цветы развела и в горницах и в палисаднике. Скромная, тихая, как монашка, и умилительной приятности глаза.

Помолчав, почесав скулу, он странно мигнул здоровым глазом и повторил:

— О таких глазах в сказках говорится хорошо. И вот увидал ее хозяин дяди, купец, старик изрядно распутной жизни, увидал и — тотчас обезумел, ошарашило его. Целую зиму охаживал — не поддается, даже как бы не понимает ничего. И никакими деньгами невозможно взять ее. Тогда он подстроил так, чтобы дядя послал ее в Москву, по делам, а в Москве уговорил девицу ехать с ним в «Яр». И как приехала она в идольское капище это, присмотрелась маленько, — сразу как бы нагими увидала всех и себя самое. Говорит старику: «Поняла я, чего вы хотите, и на все согласна, дайте только хоть месяц вот так великолепно пожить». Тот, конечно, обрадовался и предлагает ей все, что угодно, а сейчас — едем в баню! «Сейчас, говорит она, не могу я, завтра, говорит, суббота, схожу к вечерней, ко всенощной, а после — пожалуйте».

И вот — прошло с той поры боле пяти лет, и теперь она самая дорогая распутница по Москве...

Он медленно откачнулся от стены, сел на стул, задумчиво и тихо говоря:

— Конечно, случай не из редких, если забыть, какова девушка была. Однако — поглядите, как силен соблазн фокусов! Совокупите случай этот с тем, что раньше говорено, и подумайте: живет душа в плену темном великой скуки, и вдруг ей покажут такое... Вот он, рай! А это не рай, это — пыль! И не на жизнь, а — на час! Воротиться же от фокусов к домовому, к лешему — охоты нет и немыслимо. И похоронена душа в земной пыли.

Он много знал таких похорон, все они были однообразны, и рассказывал он их всегда скучно, всегда так, как будто думал о другом, более значительном и глубоком. Смотрел в окна. Стекла их снаружи покрыты пылью, закопчены дымом пароходов, сквозь их муть видна темная вода Волги, заставленной пристанями, баржами. Всюду на берегу — горы товаров, ящики, бочки, мешки, машины. Шипят и свистят пароходы, в воздухе — облака дыма, на камнях набережной — тучи пыли, сора, лязг и грохот железа, крики людей, дребезжат телеги, непрерывно идет жизнь, гудит большая работа.

А один из людей, которые, создав эту суетливую, муравьиную жизнь, из года в год расширяют и углубляют ее напряжение, — смотрит на свою работу сквозь грязное стекло равнодушным взглядом чужого человека и задумчиво повторяет:

— Не сразу... не вдруг...

О работе он говорил много, интересно, и всегда в его речах о ней звучало что-то церковное, сектантское. Мне казалось, что к труду он относится почти религиозно, с твердой верой в его внутреннюю силу, которая со временем свяжет всех людей в одно необоримое целое, в единую, разумную энергию, — цель ее: претворить нашу грязную землю в райский сад.

Это совпадало с моим отношением к труду; для меня труд — область, где воображение мое беспредельно, я верю, что все тайны и трагедии нашей жизни разрешатся

только трудом и только он осуществит соблазнительную мечту о равенстве людей, о справедливой жизни.

Но скоро я убедился, что Бугров не «фанатик дела», он говорит о труде догматически, как человек, которому необходимо с достоинством заполнить глубокую пустоту своей жизни, насытить ненасытную жадность душевной скуки. Он был слишком крупен и здоров для пьянства, игры в карты, был уже стар для разврата и всякого хлама, которым люди его стада заполняют зияние своей душевной пустоты.

Однажды в вагоне, по дороге в Москву, ко мне подошел кондуктор и сказал, что Бугров просит меня к нему в купе. Мне нужно было видеть его, я пошел.

Он сидел, расстегнув сюртук, закинув голову, и смотрел в потолок на вентилятор.

— Здорово! Садитесь. Вы что-то писали мне о босяках, не помню я...

Дмитрий Сироткин, пароходовладелец, старообрядец, кажется «австрийского согласия», впоследствии — епископ, нижегородский городской голова, издатель журнала «Церковь», умница и честолюбец, бойкий, широкий человек, предложил мне устроить для безработных дневное пристанище — это было необходимо того ради, чтоб защитить их от эксплоатации трактирщиков. Зимою из ночлежного дома выгоняли людей в 6 часов утра, когда на улицах еще темно и делать нечего, «босяки» и безработные шли в «шалманы» — грязные трактиры, соблазнялись там чаем, водкой, напивали и поедали за зиму рублей на шестьдесят. Весною, когда начиналась работа на Оке и Волге, трактирщики распоряжались закупленной рабочей силою, как им было угодно, выжимая зимние долги. Мы сняли помещение, где люди могли сидеть в тепле, давали им порцию чая за две копейки, фунт хлеба, организовали маленькую библиотеку, поставили пианино и устраивали в праздничные дни концерты, литературные чтения. Наше пристанище помещалось в доме с колоннами, его прозвали «Столбы», оно с утра до вечера было набито людьми, а «босяки» чувствовали себя подлинными хозяевами его, сами строго следили за чистотой, порядком.

Разумеется, все это стоило немалых денег, и я должен был просить их у Бугрова.

— Пустяковина все это, — сказал он, вздохнув. — На что годен этот народ? Негодники все, негодяи. Вон они даже часов не могут завести у себя.

Я удивился.

— Каких часов?

— В ночлежном у них часов нет, времени не знают. Испортились часы там...

— Так вы велите починить их или купите новые.

Бугров рассердился, заворчал:

— Все я да я! А сами они — не могут?

Я сказал ему, что будет очень странно, если люди, у которых нет рубах и часто не хватает копейки на хлеб, будут, издыхая с голода, копить деньги на покупку стенных мозеровских часов.

Это очень рассмешило его, открыв рот и зажмурив глаза, он минуты две колыхался, всхлипывая, хлопая руками по коленям, а успокоясь, весело заговорил:

— Ох, глупость я сморозил! Ну, знаете, это со мной бывает, — вдруг вижу я себя бедным и становлюсь расчетлив, скуп. Другие из нашего брата фальшиво прибедняются, зная, что бедному — легче, душе свободнее, с бедного меньше спрашивают и люди и бог. У меня — не то: я начисто забываю, что богат, пароходы имею, мельницы, деньги, забываю, что впрягла меня судьба в большой воз. В душе я не скуп, деньгами не обольщен, просят — даю.

Крепко вытер платком мокрый глаз и продолжал задумчиво:

— А бывает, хочется мне в бедном трактире посидеть и чаю со ржаным хлебом попить, так чтоб и крошки все были съедены. Это бы можно понять, если б я когда-то бедность испытал, но я родился богат. Богат, а — есть охота милостыню попросить, самому понять, как туго бедность живет. Этого фокуса я не понимаю, и вам, наверное, не понять. Эдакое, слышал я, только у беременных баб бывает...

Отвалясь на спинку дивана и закрыв глаза, он тихо бормотал:

— Капризен человек... чуден! Вот Гордей Чернов бросил все свое богатство и дело на ходу, — в монастырь сбежал, да еще на Афон, в самую строгость. Кириллов, Степа, благочестиво и мудро жил, скромен и учен, до

шести десятков дожил, — закутил, поставил себя на дыбы, как молодой гуляка, на позор и смех людям отдал. «Все, говорит, неправда, все — фальшь и зло, богатые — звери, бедные — дураки, царь — злодей, честная жизнь — в отказе от себя!» Да. Вот — Зарубин тоже. Савва Морозов, большого ума человек, Николай Мешков — пермяк, с вами, революционерами, якшаются. Да — мало ли! Как будто люди всю жизнь плутали в темноте, чужими дорогами и вдруг — видят: вот она где, прямая наша тропа. А — куда тропа эта ведет однако?

Он замолчал, тяжко вздохнув. За окном, в лунном сумраке, стремительно бежали деревья. Железный грохот поезда, раздирая тишину полей, гнал куда-то темные избы деревень. Испуганно катилась и пряталась в деревьях луна, вдруг выкатывалась в поле и медленно плыла над ним, усталая.

Перекрестясь, Бугров сказал угрюмо:

— У нас, в России, особая совесть, она вроде как бешеная. Испугалась, обезумела, сбежала в леса, овраги, в трущобы, там и спряталась. Идет человек своим путем, а она выскочит зверем — цап его за душу. И — каюк! Вся жизнь — прахом, хинью. Худое, хорошее — все в один костер...

Он снова перекрестился, зажмурясь. Я стал прощаться с ним.

— Спасибо, что зашли! Вот что — приходите-ка завтра, в час, к Тестову в трактир, пообедаем. Савву позовите — ладно?

Когда Савва Морозов и я пришли к Тестову, Бугров уже сидел в отдельном кабинете у накрытого стола, два официанта в белом, как покойники в саванах, почтительно и молча суетились, расставляя тарелки с закуской. Бугров говорил одному из них, называя его по имени и отечеству:

— Дашь мне вино это рейнское — как его?

— Знаю-с!

— Здорово, Русь, — приветствовал он нас, а Морозов, пожимая ему руку, говорил:

— Пухнешь ты, Бугров, все больше, скоро тебе умирать...

— Не задержу...
— Отказал бы мне миллионы-то свои...
— Надо подумать...
— Я бы им нашел место...
Согласно кивнув головою, Бугров сказал:
— Ты — найдешь, честолюбец! Ну-тко, садитесь!
Савва был настроен нервно и раздраженно; наклонив над тарелкой умное, татарское лицо, он торопливо, дробной речью, резкими словами стал передавать рассказ какого-то астраханского промышленника о том, как на Каспии истребляют сельдь, закапывая в песок берегов миллионные избытки улова.
— А из этого можно бы приготовить прекрасный удобрительный тук, рыбью чешую превратить в клей...
— Все ты знаешь, — вздохнув, сказал Бугров.
— А вот такие, как ты, сидят идолами на своих миллионах и ничего не хотят знать о нуждах земли, которая позволяет им сосать ее. У нас химическая промышленность не развита, работников для этого дела нет, нам необходимо устроить исследовательский институт химии, специальные факультеты химии нужны... А вы, дикари...
— Ну, начал ругаться, — примирительно и ласково сказал Бугров. — Ты — ешь, добрее будешь!..
— Есть — выучились, а когда работать начнем?
Бугров попробовал вино, громко чмокнул и заговорил, глядя в бокал:
— Очень много ты, Савва, требуешь от людей, они от тебя меньше хотят. Не мешал бы ты им жить.
— Если б им не мешать, они бы и по сей час на четырех лапах ходили...
— Никогда мне этого не понять! — с досадой воскликнул Бугров. — Помыслили праздные люди: откуда человек? Решили: от обезьяны! И — радуются!
С удивлением и горечью он спросил:
— Неужто ты веришь в эту глупость? Да — ведь если б это и правда была, так ее надо скрыть от людей.
Савва взглянул на него прищурясь и — не ответил.
— По-моему, человека не тем надо дразнить, что он был скот, а тем, что был он лучше того, каков есть...
Морозов усмехнулся, грубо отвечая:

— Что ж, — помолодеет старуха, когда ты напомнишь ей, что она девкой была?

Ели нехотя, пили мало, тяжелое раздражение Морозова действовало подавляюще. Когда принесли кофе, Бугров участливо спросил:

— Ты что, Савва? Али плохо живешь? На фабрике неладно?

Круто повернувшись к нему, Морозов заговорил тоном старшего:

— У нас — везде неладно: на фабриках, на мельницах, а особенно — в мозгах!

И начал говорить о пагубном для страны консерватизме аграриев, о хищничестве банков, о том, что промышленники некультурны и не понимают своего значения, о законности требований рабочих и неизбежности революции.

— Разгорится она преждевременно, сил для нее — нет, и — будет чепуха!

— Не знаю, что будет, — задумчиво сказал Бугров. — Жандарм нижегородский, генерал, дурачок, тоже недавно пугал меня. Дескать — в Сормове, на Выксе и у меня на Сейме — шевелятся рабочие. Что ж, Савва Тимофеев, ты сам говоришь — что законно. Скажем правду — рабочий у нас плохо живет, а — рабочий хороший!

— Ну, не так уж, — устало проворчал Морозов.

— Нет — так! Народ у нас — хороший. С огнем в душе. Его дешево не купишь, пустяками не соблазнишь. У него, брат, есть эдакая девичья мечта о хорошей жизни, о правде. Ты — не усмехайся, — девичья! Я вот иной раз у себя на даче, на Сейме, беседую с ними, по вечерам, в праздники, Спросишь: «Что, ребята, трудно жить?» — «Трудновато». — «Ну, а как, по-вашему, легче-то можно?» И я тебе скажу — очень умно понимают они жизнь. Может, не своим умом, а — научены, книжки у них появились, листочки из Сормова... Вот — Горький хорошо знает эти дела. Деньги берет у меня на листочки. Я — даю...

— Не хвастайся, — сказал Морозов.

— Нимало! — спокойно возразил старик. — Против меня это, но я — даю! Конечно — гроши. Но, ежели и ничтожные цифры в этом деле заметны, — что было бы, если б мы с тобой все капиталы пустили в дело это?

Вот пусти-ка...

— А — что? Соблазн в этом есть. Это будет озорство, а в озорстве — всегда соблазн есть.

И, постукивая кулаком по колену Морозова, наклонясь на стуле, точно для прыжка, он продолжал:

— Конечно — озорство, когда человек отказывается от себя самого, это я понимаю! Но — ведь отказываются, полагая, что тут — святость, праведность. Я таких знаю. И, может, даже глупости некоторых — завидую. Вот Горький рассказывал, что даже князь один, Кропоткин, что ли... Эх, разве не соблазн — сбросить с себя хомут...

— Чепуха все это, Николай Александров, — сказал Савва.

Я внимательно наблюдал за Бугровым. Он мог выпить много и не бывал пьян, а тут он выпил лишь один бокал. Но лицо его болезненно разгорелось, болотные глазки, ярко позеленев, возбужденно блестели. И, как бы задыхаясь, он говорил торопливо:

— Издревле человек чувствовал, что жизнь — непрочна, издавна хорошие люди бежали ее. Ты сам знаешь — богатство не велика сладость, а больше — обуза и плен. Все мы — рабы дела нашего. Я трачу душу, чтоб нажить три тысячи в день, а рабочий — тридцати копейкам рад. Мелет нас машина, в пыль, мелет до смерти. Все — работают. На кого же? Для чего? Вот что непонятно — на кого работаем? Я — работу люблю. А иной раз вздумаешь, как спичку в темноте ночи зажгешь, — какой все-таки смысел в работе? Ну — я богат. Покорно благодарю! А — еще что? И на душе — отвратно...

Вздохнув, он повторил иным словом:

— Отвратительно.

Морозов встал, подошел к окну, говоря с усмешкой:

— Слышал я эти речи и от тебя и от других...

— Святость, может, просто — слабость, да она душе сладка...

Тяжелый разговор оборвался, оба молчали. Он вызвал у меня странное ощущение: как будто в рот и в мозг мне патоки налили. У меня не было причин сомневаться в искренности Бугрова, но я не ожидал услышать из его уст сказанное им. Да, он и до этого дня казался мне человеком, жизнь которого лишена внутреннего смысла, идет

скучно, темным путем, покорно подчиняясь внешним толчкам привычных забот и отношений. Но все-таки я думал, что человеческий труд высоко оценен и осмыслен удельным князем нижегородским.

Было так странно знать, что человек этот живет трудом многих тысяч людей, и в то же время слышать, что труд этот — не нужен ему, бессмыслен в его глазах.

Невольно подумалось:

«Так жить и чувствовать могут, вероятно, только русские люди...»

Однажды я встретил его в маленькой деревушке среди заволжских лесов. Я шел на Китеж-озеро, остановился в деревне ночевать и узнал, что «ждут Бугрова», — он едет куда-то в скиты.

Я сидел на завалине избы, у околицы; был вечер, уже пригнали стадо, со двора доносился приторный запах парного молока. В раскаленном небе запада медленно плавилась темносиняя туча, напоминая формой своей вырванное с корнем дерево. В опаловом небе над деревней плавали два коршуна, из леса притекал густой запах хвои и грибов, предо мною вокруг березы гудели жуки. Усталые люди медленно возились на улице и во дворах. Околдованная лесною тишиной, замирала полусонная, сказочная жизнь неведомых людей.

Когда стемнело — в улицу деревни въехала коляска, запряженная парой крупных, вороных лошадей, в коляске развалился Бугров, окруженный какими-то свертками, ящиками...

— Вы как здесь? — спросил он меня.

И тотчас предложил:

— Айда со мною! Хороших девиц увидите. Тут, недалеко, скиток есть, приют для сирот, рукодельям девицы обучаются...

Кучер напоил лошадей у колодца, и мы поехали, сопровождаемые молчаливыми поклонами мужиков. Кланялись в пояс, как в церкви пред образом глубоко чтимого святого. Старики и старухи бормотали:

— Милостивец... Кормилец... Дай тебе господи...

И мычание коров тоже, казалось, насыщено благодарным умилением.

Проехав деревню бойкой рысью, лошади осторожно своротили в лес и пошли темной, избитой дорогой, смешивая запах своего пота с душным запахом смолы и цветов.

— Хороши здесь леса, сухие, комара нет, — говорил Бугров благодушно и обмахивал лицо платком. — Любопытный вы человек, вишь куда забрались! Много чего будет у вас вспомнить на старости лет, — вы и теперь со старика знаете. А вот наш брат одно знает: где, что да почем продается...

Он был настроен весело, шутил с кучером, рассказывал мне о жизни лесных деревень.

Выехали на маленькую поляну, две черных стены леса сошлись под углом, в углу, на бархатном фоне мягкой тьмы притаилась изба в пять окон и рядом с нею двор, крытый новым тесом. Окна избы освещал жирный, желтый огонь, как будто внутри ее жарко горел костер. У ворот стоял большой, лохматый мужик с длинной жердью, похожей на копье, и все это напоминало какую-то сказку. Захлебываясь, лаяли собаки, женский голос испуганно кричал:

— Иван, уйми собак-то, а, господи!

— Засуетилась, — ворчал Бугров, сдвинув брови. — Господ помнит! Много еще страха пред господами живет в народе...

Судорожно изгибаясь, часто кивая головою, у ворот стояла маленькая старушка, темная, как земля, она, взвизгивая, хватала руку Бугрова:

— Батюшка... принесли ангелы...

Ангелы, отфыркиваясь, били копытами по мягкой земле и бряцали сбруей.

На крыльцо выплыла дородная женщина, одетая в сарафан, и низко поклонилась, прижав руки ко грудям, за нею, посмеиваясь и шурша ситцами, толпились девочки разных возрастов.

— Величайте, дуры! — густо крикнула женщина.

Девочки, стиснутые в плотный ком, нестройно запели:

Светел месяц в небеси, — светел!..

— Не надо, — сказал Бугров, махнув рукой, — который раз говорю тебе, Ефимья, — не надо этого! Здорово, девицы!

Ему ответил хор веселых возгласов, и волною скатился со ступеней крыльца к животу Бугрова десяток подростков.

Женщина что-то бормотала; он, гладя головки детей, сказал:

— Ну, ладно, ладно! Тише, мыши! Гостинцев привез... ну, ну. Задавите вы меня. Вот — знакомый мой, вот он опишет вас, озорство ваше...

Легонько толкая детей вперед, он поднимался на крыльцо, а женщина вскрикивала:

— Тише, вам говорят!

Вдруг, как-то неестественно взмахнув руками, зашипела старуха, и тотчас дети онемели, пошли в избу стройно, бесшумно.

Большая горница, куда мы вошли, освещалась двумя лампами на стенах, третья, под красным бумажным абажуром, стояла на длинном столе среди чайной посуды, тарелок с медом, земляникой, лепешками. Нас встретила в дверях высокая, красивая девица, держа в руках медный таз с водою, другая, похожая на нее, как сестра, вытянув руки, повесила на них длинное расшитое полотенце.

Балагуря весело, Бугров вымыл руки, вытер мокрым полотенцем лицо, положил в таз две золотых монеты, подошел к стене, где стояло штуки четыре пяльцев, причесал пред маленьким зеркалом волосы на голове, бороду и, глядя в угол, на огонь лампады пред образами в большом киоте с золотыми «виноградами», закинув голову, трижды истово перекрестился.

— Еще здравствуйте!

Девочки ответили ему бойко и громко, — тотчас же в дверях встала, содрогаясь, старуха, потрясла змеиной головою, исчезла, подобно тени.

— Ну, как, девушки, Наталья-то озорничает? — спрашивал Бугров, садясь за стол в передний, почетный угол.

Дети жались к нему смело и непринужденно. Все они были румяны, здоровы, и почти все миловидны. А та, что

подавала воду, резко выделялась стройностью фигуры и строгой красотой загорелого лица. Особенно хороши были ее темные глаза, окрыленные густыми бровями, они как будто взлетали вверх, смелым взмахом.

— Вот, — указывая на нее пальцем, сказал мне Бугров, — эта первая греховодница, нестерпимо озорует! Я ее в скиты отправлю, в глушь лесную на Иргиз, там — медведи стадами ходят...

Но, вздохнув, почесывая скулу, он задумчиво продолжал:

— Ее бы в Москву свезти, учить ее надо, необычен голос у ней. А родитель, лоцман, вдовец, не соглашается: «Не дам, говорит, чадо свое никонианам на забаву...»

Огромный, волосатый мужик, тяжело топая, надув щеки, внес ярко начищенный ведерный самовар, грохнул его на стол так, что вся посуда, вздрогнув, задребезжала, изумленно вытаращил глаза, сунул руки в шапку рыжих волос и, как бы насильно, низко склонил голову.

Пришла Евфимия, груди у нее выдавались, как два арбуза, она наложила на них коробок с конфектами, придерживая их двойным подбородком; за нею три девочки несли тарелки с пряниками и орехами.

Бугров, разглядывая девиц, стал светлее, моложе, он негромко говорил мне:

— Вон та, курносенькая, голубые глаза, особо интересна! С лица будто — веселая, а на удивление богомольна и редкая мастерица. Воздух она вышила шелками, ангела с пальмом — удивительно! До умиления боголепно. С иконы взяла, но — краски свои...

Так он рассказывал почти о всех воспитанницах своих, находя в каждой то или иное ценное качество. Девочки держались свободно и оживленно, было видно, что приезд Бугрова — праздник для них, а дородная Евфимия не страшна им. Она, сидя на конце стола, сосредоточенно и непрерывно жевала пряники, конфекты, потом, тяжко вздохнув, разливала чай и снова, молча, не спеша ела землянику с медом, растерев ее на тарелке в кашу. Работала она, не обращая внимания на девиц и гостей, видимо, никого и ничего не слыша, поглощенная своим делом. Девочки шумели всё резвее, но каждый раз, когда в дверях мелькала темная, искаженная судорогами старуха, —

в обширной, гулкой комнате становилось тише, веяло холодом.

После чая красавица Наталья, взяв гусли, запела:

Был у Христа младенца сад.

Пела она неверно, на церковный, унылый мотив, очевидно, не зная музыки, написанной на эти слова. Она придавала им характер мрачный, даже мстительный, пела, глядя в угол, ее летящие глаза сверкали сурово. Но голос ее, низкий и обширный, был, поистине, красив, странно богат оттенками. Забавно было видеть, как высокие ноты заставляют ее приподниматься на стуле, а низкие — опускать голову и прятать ноги под стул. Гусли были настроены плохо, но певица, должно быть, не слышала этого, смуглые руки ее щипали струны резко и сильно.

Бугров слушал, сидя неподвижно, приоткрыв рот. Парализованное веко отвисло еще более, и непрерывной, влажной полоской из глаза текла слеза. Смотрел он в черный квадрат окна, оно упиралось во тьму ночи, его, как и два других, украшали расшитые полотенца, окна казались киотами, в которых вставлены закоптевшие иконы. Если внимательно и долго смотреть в эту черноту, из нее возникают огромные лица без глаз.

В комнате стало душно, бревенчатые, чисто выскобленные стены дышали запахом мыла и пакли, а над столом поднимался тонкий аромат меда, земляники, жирный запах сдобного теста. Девушки примолкли, опьянев от обильной еды, пение подруги убаюкивало их, одна уже заснула, сладко всхрапывая, положив голову на плечо подруги. Монументом сидела Евфимия, щеки ее блестели, точно смазанные маслом, и так же блестела желтая кожа голых до локтей, круглых рук.

А девушка, упорно глядя в угол, дергала струны и все пела сердитым голосом грустные и нежные слова:

Кольцо души-деви-и-и-цы
Я в мор-ре ур-ронил...

— Ну, — спасибо! — вдруг и как-то тревожно, слишком громко сказал Бугров.

В двери закачалась старуха, прошипев:

— Шпать!

— Идите, девоньки, спокойной ночи! Ефимья — работы покажи!

Провожая детей, он целовал их головы, а когда к нему подошла Наталья, сказал, положив ладонь на голову ей:

— Хорошо поешь... Все лучше ты поешь! Характер у тебя — плохой, а душа... Ну, иди с богом...

Она улыбнулась, — дрогнули ее брови, — и плавно, легко пошла к двери, а старик, глядя вслед ей, почесал скулу и как-то жалобно, по-ребячьи обиженно, сказал:

— Вишь какая... да-а...

Евфимия внесла охапку аккуратно сложенных тряпок и разложила их на пяльцы, на стол под лампой.

— Поглядите-ко, — предложил Бугров, не отрывая глаз от двери.

Я стал рассматривать вышивки для подушек, туфель, рубах, воздухи, полотенца. Все это было сделано очень ярко, тонко, повторяя заставки и концовки старопечатных книг, а иногда рисунки — премии к мылу Брокара. Но одна вышивка удивила меня силой и странностью рисунка: на сером куске шелка был искусно вышит цветок фиалки и большой черный паук.

— Это одна покойница вышила, — нелепо и небрежно сказала Евфимия.

— Чего это? — спросил Бугров, подходя.

— Варина работа...

— А... Да, умерла девунька. Горбатенькая была. Чахотка ее съела. Чертей видела, одного даже вышила шерстями, сожгли вышивку. Сирота. Отец без вести пропал, утонул, что ли. Ну, Ефимья, спать укладывай нас...

Спать мы легли на поляне, под окнами избы. Бугров — в телеге, пышно набитой сеном, я — положив на траву толстый войлок. Раздеваясь, старик ворчал:

— Глупа Ефимья, а другой, поумнее — нет. Тут бы настоящую учительшу надо, образованную, да — отцы, матери не согласны. Никонианка будет, еретица. Благочестие наше не в ладах с разумом живет, прости господи! Да еще — старушка эта... не хочет умереть. Все сроки пережила. Вредная старушка. Для страха детям приставлена. А может, ради худой славы моей... Эх...

Он встал на колени и, глядя на звезды, шевеля губами, начал истово креститься, широко размахивая рукою,

плотно прижимая пальцы ко лбу, груди и плечам. Тяжело вздыхал. Потом грузно свернулся на бок, окутался одеялом и крякнул:

— Хорошо. Цыганом бы пожить. А вы — не молитесь богу? Этого я не могу понять. А чего не понимаю, того и нет для меня, так что, думается мне, есть и у вас свой бог... должен быть! Иначе — опереться не на что. Ну, спим...

В непоколебимой тишине леса гукнул сыч, угрюмо и напрасно. Лес стоял плотной, черной стеною, и казалось, что это из него исходит тьма. Сквозь сыроватую мглу, в темном, маленьком небе над нами тускло светился золотой посев звезд.

— Да, — заговорил Бугров, — вот девицы эти вырастут, будут капусту квасить, огурцы, грибы солить, — к чему им рукоделье? Есть в этом какая-то обидная глупость. Много глупости в жизни нашей, а?

— Много.

— То-то и есть. А слышали вы — про меня сказывают, будто я к разврату склонил многих девиц?

— Слышал.

— Верите?

— Вероятно, это так...

— Не потаю греха, бывали такие случаи. В этом деле человек бестолковее скота. И — жаднее. Вы как думаете?

Я сказал, что, на мой взгляд, у нас смотрят на отношения полов уродливо. Половая жизнь рассматривается церковью как блуд, грех. Оскорбительна для женщины разрешительная молитва на сороковой день после родов; оскорбительна, но женщина не понимает этого. И привел пример: однажды я слышал, как моя знакомая, умница и филантропка, упрекала мужа:

— Степан Тимофеевич — побойся бога. Только что ты мне груди щупал, а теперь, не помыв рук, крестишься...

— О, то ли еще бывает! — угрюмо сказал Бугров. — Жен бьют за то, что в среду и пятницу, в постные дни, допускают мужей до себя. Грех. У меня приятель каждый четверг и субботу плетью жену хлестал за это — во грех ввела! А он — здоровенный мужик и спит с женою в одной кровати, — как она его не допустит? Да, да, глупа наша жизнь...

Он замолчал, и стали слышны непонятные шорохи ночной жизни, — хрустели, ломаясь, сухие ветки, шуршала хвоя, и казалось, кто-то сдержанно вздыхает. Как будто со всех сторон подкрадывалось незримое — живое.

— Спите?

— Нет.

— Глупа жизнь. Страшна путанностью своей, темен смысл ее... А все-таки — хороша?

— Хороша.

— Очень. Только вот умирать надо.

Через минуту, две он добавил тихонько:

— Скоро... Умирать...

И — замолчал, должно быть, уснул.

Утром я простился с ним, уходя на Китеж-озеро, и больше уже не встречал Н. А. Бугрова.

Он умер, кажется, в десятом году и торжественно, как и следовало, похоронен в своем городе...

ПАЛАЧ

Начальник нижегородского охранного отделения Грешнер был поэт, его стихи печатались в консервативных журналах и, кажется, в «Ниве» или «Родине».

Помню несколько строк:

Вылезает тоска из-за печи,
Изо всех вылезает дверей,
Но, хотя она душу калечит,
С нею все-таки жить веселей.
Без тоски мне совсем одиноко,
Как земле без людей и зверей...

В альбом одной дамы он написал эротическое стихотворение:

Перед парадной дверью дома
Стоит мальчишка лет семи.
Что в нем так странно мне знакомо?
Да — это я же, чорт возьми!

Дальше начинались уподобления и аллегории неудобосказуемые.

Грешнера застрелил девятнадцатилетний юноша Александр Никифоров, сын известного в свое время «тол-

стовца» Льва Никифорова, человека очень драматической судьбы: у него было четыре сына, и все погибли один за другим. Старший, социал-демократ, измученный тюрьмами и ссылкой, умер от болезни сердца, один сжег себя, облив керосином, один отравился, а младшего, Сашу, повесили за убийство Грешнера. Он убил его днем, на улице, почти у двери охранного отделения; Грешнер шел под руку с дамой. Саша догнал его, крикнул:

— Эй, жандарм!

И, когда Грешнер обернулся на крик, Никифоров выстрелил в лицо и в грудь ему. Сашу тотчас поймали и осудили на смерть, но никто из уголовных нижегородской тюрьмы не согласился взять на себя гнусное дело палача. Тогда полицейский пристав Пуаре, бывший повар губернатора Баранова, хвастун и пьяница — он называл себя родным братом известного карикатуриста Каран д'Аш'а — склонил за двадцать пять рублей птицелова Гришку Меркулова повесить Сашу.

Гришка был тоже пьяный человек, лет тридцати пяти, длинный, тощий, жилистый, на его лошадиной челюсти росли кустики темной шерсти, из-под колючих бровей мечтательно смотрели полусонные глаза. Повесив Никифорова, он купил красный шарф, обмотал им свою длинную шею с огромным кадыком, перестал пить водку и начал как-то особенно солидно и гулко покашливать. Приятели спрашивают его:

— Ты что, Гришка, важничаешь?

Он объяснил:

— Нанят я для тайного дела в пользу государства!

Но когда он проговорился кому-то, что повесил человека, приятели отшатнулись от него и даже побили Гришку. Тогда он обратился к приставу охранного отделения Кевдину с просьбою разрешить ему носить красный кафтан и штаны с красными лампасами.

— Чтобы штатские люди понимали, кто я, и боялись трогать меня погаными руками, как я — искоренитель злодеев.

Кевдин сосватал его еще на какие-то убийства, Гришка ездил в Москву, там кого-то вешал и окончательно убедился в своей значительности. Но, возвратясь в Нижний, он явился к доктору Смирнову, окулисту и «черносо-

тенцу», и пожаловался, что у него, Гришки, на груди, под кожей вздулся «воздушный пузырь» и тянет его вверх.

— Так сильно тянет, что я едва держусь на земле и должен хвататься за что-нибудь, чтобы не подпрыгивать, на смех людям. Случилось это после того, как я подвесил какого-то злодея, в груди у меня екнуло и начало вздуваться. А теперь так стало, что я даже спать не могу, тянет меня по ночам к потолку — что хошь делай! Всю одежду, какая есть, я наваливаю на себя, даже кирпичи кладу в рукава и карманы, чтобы тяжелее было, — не помогает. Стол накладывал на грудь и живот, за ноги привязывал себя к кровати — все равно, тянет вверх. Покорнейше прошу взрезать мне кожу и выпустить воздух этот, а то я скоро совсем лишусь хода по земле.

Доктор посоветовал ему идти в психиатрическую больницу, но Гришка сердито отказался.

— Это у меня грудное, а не головное...

Вскоре он, упав с крыши, переломил себе позвоночник, разбил голову и, умирая, спрашивал доктора Нифонта Долгополова:

— Хоронить меня будут — с музыкой?

А за несколько минут до смерти пробормотал, вздохнув:

— Ну, вот, возношусь...

ИСПЫТАТЕЛИ

В курорте Сестрорецк был банщик Степан Прохоров, благообразный, крепкий старик, лет шестидесяти. Странно смотрели на людей его выпуклые, фарфоровые глаза, — блестело в них что-то слишком светлое и жестокое, но улыбались они ласково и даже, можно сказать, милостиво. Казалось, что во всех людях он видит нечто достойное сожаления. Его отношение к людям внушало мысль, что он считает себя мудрейшим среди них. Двигался он осторожно, говорил тихо, как будто все вокруг него спали, а он не хотел будить людей. Работал солидно, неутомимо и охотно брал на себя работу других. Когда тот или иной служащий курзала просил его сделать что-нибудь, Прохоров, вообще немногословный, говорил торопливо и утешительно:

— Ну, ну, — сделаю я, брат, сделаю, не беспокойсь!

И делал чужое дело благожелательно, без хвастовства, точно милостину подавая лентяям.

А держался он в стороне от людей, одиноко; я почти не видал, чтобы в свободный час старик дружески беседовал с кем-либо из сослуживцев. Люди же относились к нему неопределенно, но, видимо, считали его глуповатым. Когда я спрашивал о Прохорове: «Что это за человек?» — мне отвечали:

— Так себе человек, обыкновенный.

И только лакей, подумав, сказал:

— Старик — гордый. Чистюля.

Я пригласил Прохорова вечером пить чай, в мою комнату, огромную, как сарай, с двумя венецианскими окнами в парк, с паровым отоплением; каждый вечер в девять часов трубы отопления шипели, бормотали, и, казалось, кто-то глухим шопотом спрашивает меня:

«Хотите рыбы?»

Старик пришел одетый щеголем: в новой, розового ситца, рубахе, в сером пиджаке, в новых валенках; он аккуратно расчесал широкую, сивую бороду и смазал серые волосы на голове каким-то жирным клеем едко-горького запаха. Степенно попивая чай с красным вином и малиновым вареньем, он вполголоса, очень связно и легко рассказал мне:

— Правильно изволили приметить, — я человек добрый. Однакож — родился я и половину жизни прожил, как все, без внимания к людям, добрым же стал после того, когда потерял веру в господина бога. А это произошло со мною от непрерывных удач в жизни. Удача преследовала меня со дня рождения; отец мой, слесарь во Мценске, так и говорил: «Степанка родился на счастье», — потому что в год рождения моего ему удалось разжиться, открыл свою мастерскую. И в играх я был удачлив и учился играючи; не испытал никаких болезней и неприятностей. Кончил училище — сразу попал в богатое поместье, в контору, к хорошим людям; хозяевами был любим, барыня говорила мне: «Ты, Степан, имеешь способности, береги себя». И это верно: способностей у меня было настолько много, что я сам себе удивлялся: откуда они? Даже лошадей лечил, не имея никакого поня-

тия, чем они хворают. Любую собаку выучивал ходить на задних лапах, и не боем, а только лаской учил. На женщин тоже имел удачу: какая нравится, та и явится, без заминки. В двадцать шесть лет был я старшим конторщиком и, без ошибки говорю, мог бы стать управляющим. Господин Маркевич, писатель книг, вроде вас, восхищался: «Прохоров настоящий русский человек, как Пурсам». Кто таков Пурсам — не знаю, но господин Маркевич был к людям строг, и его похвала — не шутка! Очень я гордился собою, и все шло хорошо. Были у меня деньжонки прикоплены, собирался жениться и уже присмотрел приятно подходящую мне барышню, но вдруг, незаметно для себя, почувствовал опасность жизни. Загорелся у меня любопытнейший вопрос: «Почему мне во всем удача? Именно — мне?» Вспыхнул вопрос этот, и даже спать не могу. Бывало, устанешь за день, как лошадь на пашне, а — ляжешь спать и думаешь, открыв глаза: «Почему мне удача?» Конечно — способности у меня, богомолен я, неглуп, скромен, трезв. Однако же: вижу людей многим лучше меня, но им не везет фортуна. Это — вполне ясно. Думал, знаете, думал: «Как же ты, господи, допускаешь такое? Живу, точно ягода в сахарном варенье, а однако кто же меня съест?» И все у меня на уме одно это. Чувствую, что в удачной жизни моей скрыта какая-то хитрость, как будто заманивают меня приятностями, — к чему манят? Мысленно спрашиваю: «Куда, господи, ведешь?» Молчит господин бог... Молчит.

— Тогда решил я: дай-ка попробую бесчестно жить, что будет? И взял из кассы денег четыреста двадцать рублей, в том расчете, что за кражу свыше трех сот в окружном суде судят. Хорошо. Взял. Конечно — хватились, управляющий Филипп Карлович, добрейший человек, спрашивает: «Где?» — «Не знаю». А сделано было так, что, кроме меня, подумать не на кого. Вижу: Филипп Карлович весьма смущен и тоскует. Ну, думаю, зачем же мучить хорошего человека? Говорю ему: «Деньги украл я». Не верит, — «Шутишь», кричит. Однако — поверил, доложил барыне, та даже испугалась: «Что с тобой, Степан?» — «Судите», говорю. Рассердилась она, покраснела, рвет пальцами оборку кофты: «Судить, говорит, я не стану, но ты так нахально держишься, что, сам

согласись...» Я согласился и ушел от них, уехал в Москву, а деньги возвратил почтой, от чужого имени, не от своего...

Я спросил старика:

— Зачем же вы это сделали? Пострадать захотелось?

Удивленно подняв густые, колючие брови, он усмехнулся в бороду и вытряс из нее усмешку ударами чисто вымытой ладони по курчавым волосам бороды.

— Ну, нет, — зачем же мне страдать? Я — любитель спокойной жизни. Нет, — просто любопытство одолело меня: почему мне удача? А может, осторожность заставила: испытать хотел — насколько прочны удачи мои? Вообще же — молодость, хе-х! Играет человек сам собой. Хотя однако тут не чистая игра, то есть не одна чистая игра. Необыкновенно жил: в холе и ласке, подобно комнатной собачке. Люди вокруг морщатся, охают, а я — осужден господином богом на спокойную жизнь до конца дней, как видно. Всем людям — разные испытания, а мне — ничего, как будто я не достоин обыкновенного, человеческого. Вот и все полагаю...

— Н-ну-с, лежу в Москве, в гостинице, в номере, думаю: «Другого бы за рубль под суд отдали, а мне и за четыреста рублей — ничего!» Даже смешно стало: вот она, неудача! «Нет, думаю, погоди, Степан!» Присматриваюсь к людям; гостиница грязненькая, народ в ней темный, картежники, актеры, мятые бабенки. А один выдавал себя за повара, однако оказался, по ремеслу, вором. Завел я с ним знакомство. «Как живете?» — спрашиваю. «Да так, говорит, когда — густо, когда — пусто, когда — нет ничего». Разговорились. «Есть, говорит, у меня в виду одно дельце, но — требуется хороший инструмент, а инструмент дорогой, денег же у меня нету». «Ага, думаю, вот оно!» Спрашиваю его: «Разрушения чужой жизни не будет?» Он даже обиделся: «Что вы, шипит, мне своя башка очень дорогая!» Н-ну-с, дал я ему денег на инструменты и чтобы, в награду мне, взял он меня с собой на грабеж. Поломался он, поартачился, однако — взял. Занятие его не понравилось мне, как будто ходили мы в гости, а хозяев не застали дома. Отперла нам дверь черномазенькая девица, как видно — знакомая его, он ее сейчас же ловко связал по рукам, по ногам и начал ковырять какой-то шкаф, ковыряет, а сам тихонько посвистывает.

Простота. Как пришли, так и ушли, не испытав ни малого беспокойства. Человек этот сейчас же скрылся из Москвы, а я живу один, дурак дураком. «Так? — думаю. — Опять удача?» И смешно мне, и злюсь на все. В озлоблении на себя и на господина бога, который ведь должен был видеть все, что я делаю, пошел я в театр, сижу на балконе, а через человека от меня сидит эта черномазенькая девица, смотрит на сцену и слезы платочком отирает. В перерыве комедии подошел я к ней. «Кажется, знакомы?» — говорю. Ну, она однако не отвечает. Напомнил я ей кое-что. «Ах, говорит, тише, пожалуйста». Спрашиваю: «От какой печали слезы льете?» — «Принца, говорит, жалко!» — это на сцене принц какой-то извивался. После театра пошла она со мной в трактир, а из трактира увел я ее к себе в номер, и стали мы жить вместе, вроде любовников. Она, принимая меня за настоящего вора, спрашивает: «Дел нету?» — «Дел у меня нет», говорю. «Хорошо, я тебя познакомлю с компанией». Познакомила. Оказалось, что хотя и воры, однако — ребята хорошие. Особенно — один, Костя Башмаков, удивительное создание обстоятельств природы, словно ребенок, такая ясная, веселая душа! Очень я подружился с ним. И сознаюсь ему: «Мне, собственно, ничего не надо, я только из любопытства вором стал». А он говорит: «Я тоже от живости души, очень, говорит, много хорошего на земле, и приятно жить. Мне, говорит, иной раз хочется на улице крикнуть: братцы, ловите меня, я есть вор!» Забавная личность, но вскорости, спрыгнув на ходу поезда, сломал он себе руку, а потом приключилась ему чахотка, уехал в степь, кумыс пить. Валандался я с этой компанией, — трое было их, — четырнадцать месяцев, воровали мы по квартирам и в поездах, и ожидал я, что вот завтра случится необыкновенное, страшное, однако все сходило с рук вполне благополучно. Голова компании Михайло Петрович Борохов, очень почтенный человек и приметный умница, однажды говорит: «Это нам с той поры фортуна повезла, как пристал к нам Степан». Опамятовали меня его слова, воротился я от рассеянной жизни к себе самому, задумался: «Что же теперь? Человека убить мне, что ли?» И мыслишка эта воткнулась в сердце занозой, воткнулась, сидит, нарывает. Ночью сяду на койке, суну руки в колени и

думаю: «Как же это так, господин бог? Стало быть, вам все равно, как я живу? Ведь вот собираюсь я человека убить, подобного мне, и очень просто могу убить. Как же это?» Молчит господин бог...

Старик глубоко вздохнул и стал намазывать ложкой варенье на хлеб.

— Гордый вы человек, — сказал я.

Снова приподняв тяжелые, мохнатые брови, он пристально посмотрел на меня фарфоровыми глазами, теперь они показались мне особенно пусты и жестко светлы.

— Нет, зачем же! — ответил он, заботливо расправляя бороду, чтоб не испачкать ее вареньем. — Человеку гордиться нечем, как я полагаю.

И, аккуратно отправляя в свой волосатый рот маленькие кусочки хлеба, он продолжал все так же, вполголоса, говоря как бы о человеке чужом, мало приятном ему:

— Так-то-с, молчит господин бог. А тут сразу и подсунулся мне соблазнительный случай. Залезли мы ночью на дачу, действуем, — вдруг откуда-то, в темноте, сонный голосок: «Дядя, это ты?» Товарищ мой вышмыгнул на балкон, а я присмотрел — вижу: дверь, а за нею кто-то возится. Приоткрыл дверь, а там, в уголку, на кровати лежит мальчонко лет двенадцати и головку руками скребет, длинноволосый такой. И снова спрашивает: «Дядя?» Смотрю я на него, а у меня руки, ноги дрожат, сердце замирает. «Вот, думаю, случай, ну-ко, Степан, ну-ко!» Да во-время спохватился: «Нет, думаю, на это я не пойду, нет! Может, ты меня, господин бог, всеми удачами к этому греху — к убийству невинного — и заманивал? К этой яме и вел, спокойной-то тропой? Нет, не-ет...» И так эта догадка осердила меня, что даже не помню, каким ходом я ушел и очутился в лесу.

— Сижу под деревом, рядом со мною товарищ папироску курит, ругается тихонько. Дождик кропит нас, по лесу — звонкий шопот, а перед глазами у меня, в темноте, мальчонко этот полусонный, беззащитный, вполне в моих руках. Минутка, и — нет мальчика! «Хе-х», — думаю...

— Это совсем ошарашило меня, с этим я уж никак не мог согласиться и даже сам себя беззащитным мальчиком чувствую. Вы подумайте-ко пристально: вот вы си-

дите и не можете знать, что я через минуту начну делать, и не знаю этого про вас. Вдруг, — ведь разное приходит в голову, — вдруг — вы меня, а то — я вас... а? Очень соблазняет эта взаимная беззащитность. И — вообще — кто руководит нами? То-то-с...

— Утром пришел я в город и прямо к судебному следователю: «Извольте меня арестовать, ваше благородие, как я есть вор». Оказался он очень хорошим барином, ласковый, худощавый такой, только — глуповат, конечно. «Почему же, спрашивает, сознаетесь вы, с товарищами поссорились, добычу не поделили?» — «У меня, говорю, товарищей не было, работал один». И, сглупив, рассказал ему подробно, вот как вам говорю, всю историю моего недоразумения и как господин бог злобно играл со мной.

Перебив его речь, я спросил:

— Но почему же, Степан Ильич, бог, а не дьявол?

Старик уверенно и спокойно объяснил:

— Дьявола — нету, дьявол — это выдумка хитрого разума, это люди для оправдания гнусности своей выдумали, а также и в пользу бога, чтобы ему ущерба не нанести. Есть только бог и человек — больше ничего. И все подобное дьяволу, — примерно, Иуда, Каин, царь Иван Грозный, — это тоже людские выдумки, это придумано для того ради, чтобы грехи и пакости множеств нагрузить на одно лицо. Уж — поверьте... Хе-х, запутались мы, жулики, и всё выдумываем что-нибудь хуже нас — дьявола и прочее. Плохи, дескать, да — не очень, есть и похуже...

— Так, значит, следователь. Картинки у него на стенах повешены и кругом домашний уют образованного человека. Лицо — доброе. Однако — доброе лицо ничего не значит, под этой вывеской частенько очень дрянным товаром торгуют. Говорю я ему, а над головой у меня кто-то на рояли барабанит, и так неприятно было слышать это легкомыслие. «Хе-х, думаю, господин бог, как это у вас все нехорошо запутано!» Говорил я долго, следователь слушал меня, как старушка попа в церкви, однако — ничего не понял. «Вас, говорит, конечно, надобно судить, но я ручаюсь, что оправдают вас, если вы все мне сказанное и судьям скажете. И впереди, говорит, у вас не тюрьма, а, по-моему, монастырь!» Обидно стало мне.

«Ничего, говорю, вы не поняли, и больше разговаривать не желаю». Н-ну, отправил он меня в полицию, а там пристали ко мне сыщики. «Мы, говорят, знаем, что кражи, в которых ты сознался, не одним тобою сделаны, скажи нам — где товарищи? Затем — иди к нам на службу». Я, конечно, отказал им в этом, а они меня — бить. Голодом морили. Тут я действительно протерпел несколько. Потом — суд. Суд очень не понравился мне, говорить я с ним не пожелал. Рассердились судьи, закатали меня в тюрьму. Сижу в тюрьме, вокруг меня люди, подобные червям и зверям; выбрали они меня старостой. «Хе-х, думаю, плохо все это, господин бог, очень плохо!» Думаю и вижу: как ты ни живи, человечек, никто, кроме тебя, жизнью не руководит! Ну, о тюрьме, как о бородавке, ничего хорошего не скажешь. Вышел из тюрьмы, поглядел туда, сюда, пошатался по земле, стал работать на чугунном заводе, — бросил. Жарко. К тому же чугун, железо и всякий металл не люблю я — от него исходит вся тяжесть жизни, тяжесть, грязь и всякая ржавчина. Без металлов человек был бы проще, жил легче. Совался я в разные дела, даже сортиры чистил, — признаться, тянуло меня на самую грязную работу. Потом — надумал: «Дай-ко пойду в банщики!» И вот уж семнадцать лет мою людей да стараюсь ничем не тревожить их. В тревогах наших толку мало, нет в них толку, если серьезно поглядеть! Живу без бога. Людей жалко, по причине оброшенности их, и жить мне — скушновато...

Месяца за два до смерти своей Л. Н. Святухин рассказал мне:

— Из всех убийц, которые прошли предо мною за тринадцать лет, только ломовой извозчик Меркулов вызвал у меня чувство страха пред человеком и за человека. Обыкновенно убийца — безнадежно тупое существо, получеловек, не способный отдать себе отчет в преступлении, или — хитренький пакостник, визгливая лисица, попавшая в капкан, или же — задерганный неудачами, отчаявшийся, озлобленный человечишко. Но, когда предо мною встал Меркулов, я тотчас почувствовал что-то особенно жуткое и необычное.

Святухин закрыл глаза, вспоминая:

— Большой, широкоплечий мужик лет сорока пяти, худощавое, благообразное лицо, — такие лица называют иконописными. Длинная, седая борода, курчавые волосы тоже седы, с висков — лысые взлизы, а по средине лба торчит рогом эдакий задорный вихор, и, несоответственно, противоречиво вихру, из глубоких глазниц, мягко и жалостливо смотрят на меня умные серые глаза.

Тяжело выдохнув трупный запах, — следователь умирал от рака желудка, — Святухин нервно сморщил измученное, землистое лицо.

— Меня особенно смутило именно это выражение жалости в его взгляде, — откуда оно? И мое равнодушие чиновника исчезло, уступив место очень беспокойному любопытству, новому и неприятному для меня.

— На вопросы мои он отвечал глуховатым голосом человека, который не привык или не любит говорить много, ответы его были кратки, точны, было ясно, что Меркулов готов дать откровенное показание. Я сказал ему слова, которых не сказал бы другому подследственному:

— «Хорошее лицо у вас, Меркулов, не похожи вы на человекоубийцу».

— Тогда он, точно гость, взял стул, особенно крепко сел на него, уперся ладонями в колени и сразу заговорил, точно — глупое сравнение — на волынке заиграл, у волынки есть такая большая глуховатая дудка, как фагот.

— «Ты думаешь, барин, если я убил, так я — зверь? Нет, я не зверь, и если ты почуял это, так я тебе расскажу судьбу мою».

— И — рассказал спокойно, обреченно, так, как убийцы не говорят о себе, — не оправдываясь, не пытаясь разжалобить.

Следователь говорил очень медленно и невнятно, его шершавые губы, покрытые серой какой-то чешуей, шевелились с трудом, он часто облизывал их темным языком, закрывая глаза.

— Мне хочется вспомнить его подлинные слова. В них была особенная значительность. Слова поражающие... Этот его жалостливый взгляд на меня тоже подавлял. Поймите: не жалобный, а — жалостливый. Он — меня жалел. Хотя я тогда был еще здоров...

— Первый раз он убил при таких условиях: осенью, вечером вез с пристани сахарный песок в мешках и заметил, что сзади воза идет человек, распорол мешок, черпает сахар горстью и ссыпает его в карманы себе, за пазуху, Меркулов бросился на него, ударил по виску — человек упал.

— «Ну, я его еще ногой пнул и поправляю распоротый мешок, а человек этот под ногами у меня, лежит вверх лицом, глаза вытаращены, рот раскрыт. Стало мне страшно, присел на корточки, взял его за голову, а она, тяжеленная, как гиря, перекатывается у меня с ладони на ладонь, и глаза его будто подмигивают, а из носу кровь течет, руки мои мажет. Вскочил я, кричу: «Батюшки, убил!»

— Отправили Меркулова в полицию, потом — в тюрьму.

— «Сижу я в тюрьме, вокруг — люди преступные, а я будто сквозь туман все вижу и ничего не понимаю, страшно мне, не спится, и хлеб есть не могу, все думаю: «Как же это? Шел человек по улице, стукнул я его, и — нет человека! Что ж это такое? Душа-то где? Ведь — не баран, не теленок; он в бога верует, поди-ка, и хоть, может, характер у него другой, а ведь он таков же, как я. А я вот переломил его жизнь, убил, как скота, все равно. Ведь эдак-то и меня могут, — стукнут, и — пропал я!» От этих мыслей так страшно было мне, барин, что ночами слышал я, как волосы на голове растут».

— Рассказывая, Меркулов очень пристально смотрел на меня, но, хотя его светлые глаза были неподвижны, мне казалось, что я вижу в сероватых зрачках его мерцание ночного страха. Руки он сложил ладонями вместе, сунул их между колен и крепко сжал. Наказали его за нечаянное убийство легко, зачли предварительное заключение и отправили на покаяние в монастырь.

— «Там, — рассказывал Меркулов, — приставили ко мне старичка монаха, для научения моего, как надо жить; ласковый такой старичок, и о боге говорил он как нельзя лучше. Хороший. Вроде отца мне был, все — сын мой, сын мой. Слушаю я его, да нет-нет и спрошу: «Ладно, бог! А почему же человек настолько непрочен? Вот, говорю, ты, отец Павел, бога любишь, и он тебя, наверно, любит, а я вот ударю тебя и убью, как муху. Куда же ласковая

твоя душа тогда денется? Да и не в твоей душе задача, а в моей злой мысли: могу я тебя убить каждую минуту. Да и мысль моя, говорю, вовсе не злая, я даже очень ласково могу тебя убить, даже помолюсь сначала, а после — убью! Вот ты мне что объясни». Ну, он не мог объяснить этого; он все свое говорил: «Это в тебе дьявол зверя будит! Он тебя тревожит». Я говорю: «Мне все едино кто тревожит, а ты научи, как мне быть, чтобы не тревожило? Я, говорю, не зверь, ничего звериного нет во мне, а только душа моя за себя испугалась». — «Молись, говорит, до изнурения!» Я — молюсь, иссох даже, виски седеть начали, а мне в ту пору было двадцать восемь лет сроку жизни. Молитва страха моего не может избыть, я, и молясь, думаю: «Как же это, господи? Вот — я могу в минуту любого человека смерти предать и меня любой человек может убить, когда захочется. Усну, а меня кто-нибудь шаркнет ножиком по горлу, а то кирпичом, обухом по голове. Гирей. Да — мало ли как!» От мыслей этих спать не могу, боюсь. Спал я вначале с послушниками, ночью пошевелится который из них, — я вскочу и — орать: «Кто возится? Лежите смирно, так вашу мать!» Все меня боятся, и я всех боюсь. Пожаловались на меня, тогда отправили меня в конюшню, там, с лошадями, стало мне спокойнее, лошадь — скот бездушный. Ну, все-таки спал я вполглаза. Боязно».

— Отбыв эпитимью, Меркулов снова взялся за работу извозчика, жил он на огородах, за городом, жил трезво, сосредоточенно.

— «Как во сне живу, — говорил он. — Все молчу, людей сторонюсь. Извозчики спрашивают: "Ты что, Василий, угрюмо живешь, али в монастырь собираешься?" Что мне монастырь? И в монастыре — люди, а где люди, там и страх. Гляжу я на всех, думаю: «Сохрани вас господы! Непрочна ваша жизнь, нет вам от меня защиты, и мне от вас защиты тоже нет». Сообрази, барин, каково было мне жить с этакой тягой на душе?»

Вздохнув, Святухин поправил черную шелковую шапочку на голом черепе, матовом, точно старая, трухлявая кость.

— Вот тут, при этих словах, Меркулов усмехнулся, неожиданная, неуместная усмешка так перекривила,

исказила его благообразное лицо, что я тотчас поверил: конечно, он — зверь. И, наверное, убивал людей вот именно с этой улыбкой. Мне стало нехорошо. А он продолжает и уже как будто с досадой:

— «Хожу я между людей, вроде курицы с яйцом, а яйцо-то гнилое, и я про это знаю. Вот-вот лопнет оно в нутре моем — что тогда будет со мной? Не знаю что, не могу придумать, а понятно мне: очень страшно должно быть».

— Я спросил его: думал ли он о самоубийстве?

— Помолчав, шевеля бровями, он сказал:

— «Не помню, будто — ни разу не думал».

— И тоже спросил, очень удивленно, кажется — искренно:

— «Как я не вспомнил про это? Дивное дело...»

— Хлопнул ладонью по колену, взглянул куда-то в угол, бормочет, как бы обиженно:

— «Ишь ты... Значит — не хотел я душе волю дать. Уж очень мучило меня любопытство ее к людям, трусость ее обидная. Забыл себя-то. А она — примеривается: ежели вот этого убить, — что будет? Да, примеривается все...»

— Через два года Меркулов убил полуумную девицу Матрешу, дочь огородника. Он рассказал мне об этом убийстве неясно, видимо, сам не мог понять мотивов убийства. По его словам выходило, что Матреша была блаженная:

— «Находило на нее затмение разума: вдруг бросит копать гряды или полоть и куда-то идет, разинув глаза, усмехаясь, будто кто невидимо поманил ее за собою. Натыкается на деревья, заборы, на стены, словно сквозь хочет пройти. Однажды наступила на железные грабли, пронзила ногу, кровь из ноги течет, а она шагает, ничего не чувствуя, не сморщилась даже. Была она девица некрасивая, толстая, а — распутна по глупости своей, сама к мужикам приставала, а они, конечно, пользовались глупостью ее. Ко мне тоже приставала, ну, мне было не до того. Соблазняло меня в ней то, что ничего с ней не делается: в яму ли свалится, с крыши ли упадет — ей все нипочем. Другой бы руку вывихнул, сломал себе какую-нибудь кость, а она — ничего. Как будто не по земле ходит. Конечно, в синяках, в ссадинах вся, а — прочности необыкновенной. Было похоже, что живет полудурья эта

в твердой охране. Убил я ее при людях, в воскресенье, сидел я на лавочке у ворот, а она начала заигрывать со мной нехорошо, тут я ее — поленом. Свалилась. Гляжу — мертвая. Сел на землю около нее и даже заплакал: «Что это, господи? Какая слабость, какая беззащитность!»

— Он долго, тяжелыми словами, и как в бреду, говорил о беззащитности человека, и в глазах его разгорелся угрюмый страх. Сухое лицо аскета потемнело, когда он сказал мне, сквозь зубы:

— «Ты подумай, барин, ведь вот я в эту минуту самую вдруг могу тебя убить, а? Подумай-ко? Кто мне запретит? Где запрет нам? Ведь нет запрета нигде, ни в чем нет...»

— Наказали его за убийство девицы тремя годами тюрьмы, он объяснил легкость наказания хорошей защитой, но защитника своего угрюмо осудил:

— «Молодой такой, лохматый крикун. Кричал все: «Кто может сказать худое про этого человека? Никто из свидетелей ни слова не сказал. А убитая была безумна и распутна». Защитники эти — баловство. Ты меня до греха защити, а когда я грех сделал, убил, — защита мне не надобна. Держи меня, покамест я стою, а коли побежал — не догонишь! Побежал, так уж буду бежать, покуда не свалюсь, да... Тюрьма — тоже баловство, безделье. Распутство. Из тюрьмы вышел я, как сонный, — ничего не понимаю. Идут люди, едут, работают, строят дома, а я одно думаю: «Любого могу убить, и меня любой убить может». Боязно мне. И будто руки у меня всё растут, растут, совсем чужие мне руки. Начал пить вино — не могу, тошнит.

— «Выпимши — плачу, уйду куда потемнее и плачу: не человек я, а помешанный, и жизни мне — нет. Пью — не пьян, а трезвый — хуже пьяного. Рычать начал, рычу на всех, отпугиваю людей, боюсь их. Все кажется мне: я — его или он — меня. И хожу по земле, как муха по стеклу, лопнет стекло, и провалюсь я, полечу неизвестно куда.

— «Хозяина, Ивана Кирилыча, убил я тоже по этой причине, из любопытства. Был он человек веселый, добрый человек. И необыкновенной смелости. Когда у соседей его пожар был, так он, как бессмертный, действовал, полез прямо в огонь, няньку вывел, потом опять полез, за сундучком ее, — плакала нянька о сундучке своем.

— «Счастливый человек был Иван Кирилыч, упокой его господи! Мучить я его, действительно, мучил. Тех двух — сразу, а этого маленько помучил: хотелось понять, как он: испугается али нет? Ну, он был слабый телом и скоро задохся. Прибежали люди на крик его, бить меня, вязать. Я говорю им:

— «Вы мне не руки, вы душу мне связали бы, дураки...»

— Кончив рассказывать, Меркулов вытер ладонью вспотевшее лицо и посоветовал спокойно:

— «Вы меня, ваше благородие, судите строго, на смерть судите, а то — что же? Я с людями и в каторге жить не могу, обиделся я на душу мою, постыла она мне, и — боязно мне, опять я начну пытать ее, а люди от того пострадают... Вы меня, барин, уничтожьте...»

Мигнув умирающими глазами, следователь сказал:

— Он сам уничтожил себя, удавился. Как-то необычно, на кандалах, чорт его знает как! Я не видал, мне рассказывал товарищ прокурора; «Большая, сказал, сила воли нужна была, чтоб убить себя так мучительно и неудобно». Так и сказал — неудобно.

Потом, закрыв глаза, Святухин пробормотал:

— Вероятно, это я внушил Меркулову мысль о самоубийстве... Вот, батенька, простой русский мужик, а — изволите видеть? Да-с...

УЧИТЕЛЬ ЧИСТОПИСАНИЯ

...Придя к А. А. Я. — не застал его дома.

— Убежал куда-то, — сказала его квартирная хозяйка, приветливая старушка в роговых очках и с мохнатой бородавкой на левой скуле. Предложив мне отдохнуть, она заговорила, мягко улыбаясь:

— Смотрю я: бегом живете вы, нынешние молодые люди, точно выстрелили вами, как дробью из ружья. Раньше — спокойнее жили и даже походка у людей другая была. И сапоги носились дольше, не потому, что кожа была крепче, а потому, что люди осторожнее ходили по земле. Вот в комнате этой, до Яровицкого, жил учитель чистописания; тоже Алексеем Алексеевичем звали, фамилия — Кузьмин. Какой удивительно тихий человек был,

даже странно вспомнить. Бывало, утром проснется, сапоги почистит, брючки, сюртучок, умоется, оденется, и все тихонько, как будто все люди в городе спят, а он боится разбудить их. Молится, всегда читал: «Господи, владыко живота моего». Потом выпьет стакан чаю, съест яичко с хлебом и уходит в институт, а придя домой, покушает, отдохнет и сядет картинки писать или рамочки делать. Это вот все его рукоделье.

Стены маленькой комнаты были обильно украшены рисунками карандашом в рамках из черного багета; картинки изображали ивы и березы над могилами, над прудом, у развалившейся водяной мельницы, — всюду ивы и березы. И лишь на одной, побольше размером, тщательно была нарисована узкая тропа, она ползла в гору, ее змеевидно переплетало корневище искривленной березы, со сломанной вершиной и множеством сухих сучьев. Глядя на робкие, серые рисунки, старушка любовно говорила:

— Гулять он ходил вечерами, в сумерках, и особенно любил гулять, когда пасмурно, дождь грозит. От этого он и захворал, простудился. Бывало, скажешь ему: «Что вы какое нехорошее время для гулянья выбираете?» — «В такие, говорит, вечера народу на улицах меньше, а я человек скромный и не охотник до встреч с людьми. И частенько, говорит, люди заставляют думать о них нехорошо, а я этого убегаю». Наденет шинельку, фуражку с кокардой, зонтик возьмет и тихонько шагает поближе к заборам; всем, кого встретит, дорогу дает. Очень хорошо, легко ходил он, будто и не по земле. Умильный человек — маленький, стройный, светловолосый, нос с горбинкой, личико чисто выбрито и такое молодое, хотя было ему уже под сорок. Кашлял он всегда в платок, чтобы не шуметь. Бывало, гляжу я на него, любуюсь, думаю — вот бы все люди такие были. Спросишь: «А не скучно вам жить так?» — «Нет, говорит, нисколько не скучно, я живу душой, а душа скуки не знает, скука — это телесная напасть». И всегда он отвечал вот так разумно, точно старичок. «Неужто, спрашиваю, и женский пол не интересен вам, и о семье не думаете?» — «Нет, говорит, я к этому не склонен, семья же требует забот, да и здоровье мое не позволяет». Так, тихой мышкой, он и жил у меня около трех лет, а потом поехал на кумыс, лечиться, да там, в сте-

пях, и помер. Ждала я, что придет кто-нибудь за добром его, а должно быть, не было у скрытого человека этого ни родных, ни приятелей — никто не пришел; так все и осталось у меня: бельишко, картинки эти да тетрадка с записями.

Я попросил показать мне тетрадку, старуха охотно достала из комода толстую книгу в переплете черного коленкора; на куске картона, приклеенном к переплету, готическим шрифтом значилось:

Пища духа.
Записки для памяти
А. А. Кмина
Лето от Р. Х.

1889-е. Январь, 3.

На обороте — виньетка, тонко сделанная пером: в рамке листьев дуба и клена — пень, а на нем клубочком свернулась змея, подняв голову, высунув жало. А на первой странице я прочитал слова, взятые, очевидно, как эпиграф, тщательно выписанные мелким, круглым почерком:

Скоро оказалось, что христиан много, — так всегда бывает, когда начинают заниматься исследованием какого-нибудь преступления.

Из письма Плиния Императору Траяну.

Далее бросился в глаза крупный и какой-то торжественный почерк, украшенный хвостиками и завитушками:

Я значительно умнее Аполлона Коринфского. Не говоря о том, что он — пьяница.

Почти на каждой странице мелькали рисунки, виньетки, часто встречалось толстое женское лицо с тупым носом и калмыцкими глазами. Записей было немного, они редко занимали одну, две страницы, чаще — несколько строк, всегда выписанных тщательно. Нигде ни одной помарки, всюду чувствовалась строгая законченность, все казалось любовно и аккуратно списанным с черновиков.

Заинтересованный, я унес «Пищу духа» тихого учителя домой, и вот что нашел в этой черной книге.

Так называемое искусство питается преимущественно изображением и описанием разного рода преступлений, и замечаю, что чем преступление подлее, тем более читается книга и знаменита картина, ему посвященная. Собственно говоря, интерес к искусству

есть интерес к преступному. Отсюда вполне ясен вред искусства для юношества.

Сазана надо фаршировать морковью, но этого никто не делает.

Князь Владимир Галицкий ездил служить венгерскому королю и четыре года служил ему; после чего, возвратясь в Галич, занимался церковным строительством.

Всякое преступление требует врожденного таланта, особенно же человекоубийство.

Ап. Кор. написал в насмешку надо мною плюгавенькие стишки. На всякий случай равнодушно записываю их:

Чтобы душа была подобна гуммиластику —
Т. е. более податлива, гибка,
Делать надобно духовную гимнастику, —
Т. е. — попросту — «валять дурака».

Успешное — т. е. безнаказанное — убийство должно быть совершено внезапно.

Тихий человечек записывал любопытнейшие мысли свои разнообразными почерками — ромбом, готическим, английским, славянской вязью и всячески, явно щеголяя своим мастерством. Но все, что касалось убийства, он писал тем же мелким, круглым почерком, каким была написана выдержка из письма Плиния Траяну. И можно было думать, что это уже его индивидуальный почерк. Великолепно, ромбом, было нарисовано:

Мышление есть долг всякого грамотного человека.

Славянской, затейливой вязью:

Я никогда не позволю себе забыть насмешек надо мной.

А круглый почерк говорил:

Внезапность не исключает предварительного и точного изучения условий жизни намеченного лица. Особенно важно — время и место прогулок. Часы возвращения из гимназии с уроков. Ночью из клуба.

Две страницы заняты подробным и сухим описанием прогулки в лодках по Волге, затем косым почерком, буквами, переломленными посредине, начертано:

У Пол. Петр. дурная привычка чесать пальцем под левым коленом. Она любит сидеть закинув ногу на ногу, от этого и чешется под коленом, вероятно застой крови. Он этого не замечает, дурак.

Он вообще глуп. И не хорошо, что она часто спрашивает: «Да что вы?» — это у нее выходит насмешливо. Полина — значит Пелагия, Пелагия — имя, собственно, вульгарное, деревенское.

И снова — круглый почерк:

Уехать из города и неожиданно возвратиться. Сесть на извозчика, — это очень глупо говорят: сесть на извозчика, надо: нанять извозчика. По дороге домой соскочить с пролетки, под видом, будто заболел живот, сбегать, убить и ехать дальше...

Далее — калмыцкое лицо женщины и уродливо коротконогий человек с маленьким лицом без глаз; на месте их — вопросительные знаки. Очень пышная борода.

Затем — хитрым почерком подьячего:

Он стал бывать, т. е. ходить в гости к старой чертовке, поэтессе Мысовской. У нее собираются местные революционеры.

И снова круглый почерк:

Внезапность действия — гарантия успеха. Извозчика нанять старика, по возможности, со слабым зрением. Соскочить — схватило живот. Проходным двором идти прямо на него, но — не здороваться, чтоб он растерялся. Миновать и, внезапно повернувшись, ударить с бока в m. с. (приведено сокращенное до двух букв латинское название мускула). Быстро возвратиться к извозчику, оправляя костюм, грубо смеясь над собой. Дома послать в аптеку за желудочными каплями. Когда все обнаружится, вести себя с любопытством, легкомысленно. Участвовать в торжестве похорон. Конечно.

Больше записей на эту тему не было, последняя же заканчивалась виньеткой: могила без креста, над нею сухое обломанное дерево, вокруг — густой бурьян, а в небе плачет калмыцкое лицо луны.

Дальше было еще четыре записи:

Прочитал в немецком романе глупую фразу: профессор спрашивает свою невесту:

— Адель, почему вы всегда переговариваете все, что я вам ни скажу.

Сегодня на закате солнца в саду удивительно пел скворец, пел так, как будто это он уже в последний раз поет.

Встреча с человеком не всегда грозит опасностью, но все-таки надо быть очень проницательным, выбирая знакомых. Я никогда больше не позволю себе знакомиться с рыжими.

Зубную боль хорошо чувствует только тот, у кого болят зубы, и только тогда, пока они болят. Затем человек забывает, как мучи-

тельиа зубиая боль. Было бы полезио, чтоб зубы болели хотя раз в месяц, ио обязательно в один и тот же деиь, у всего иаселения земного шара. При этом условии люди, вероятио, научились бы понимать друг друга.

Этим заканчивалась книга тихого учителя чистописания, озаглавленная им «Пища духа».

Московский студент Маньков, убийца своей жены, в последнем слове на суде защищался так:

— Она убита, и она — мученица, она теперь, может быть, святая, в раю, а мне осталось всю жизнь нести тяжкий крест греха и раскаяния. За что же еще наказывать меня, если я уже сам себя наказал? Вот я теперь ем яблочки, яички, как прежде ел, а вкуса они прежнего, милого уже не имеют, и ничто не радует меня — за что же наказывать?

НЕУДАВШИЙСЯ ПИСАТЕЛЬ

Ночью, в грязненьком трактире, в дымной массе полупьяных, веселых людей, человек, еще не старый, но очень помятый жизнью, рассказал мне:

— Погубил меня телеграфист Малашин.

Наклонил голову в измятой кепке жокея, посмотрел под стол, передвинул больную ногу свою, приподняв ее руками, и длительно, хрипло вздохнул.

— Телеграфист Малашин, да. Благочинный наш именовал его нелепообразным отроком, девицы — Малашей. Был он маленький, стройный, розовые щеки, карие глаза, брови — темные, руки — женские; писаными красавцами называют таких. Веселый, со всеми ласковый, он был очень заметен, даже, пожалуй, любим в нашем городишке, где три тысячи пятьсот жителей не спеша исполняли обыкновеннейшие обязанности людей. В двадцать лет от роду моего проникся я скукой жизни до немоты души; очень уже раздражала и даже пугала меня тихая суета людей, непонятен мне был смысл этой суеты, смотрел я на все недоуменно и однажды, в порыве чувства, написал рассказ «Как люди живут». Написал и послал рукопись в журнал «Ниву». Ожидал решения судьбы неделю,

месяц, два и махнул рукой: эти штучки не для нашей внучки!

— А месяца через три, может быть, и больше, встречаю Малашина.

— «У меня, — говорит, — для тебя открытка есть».

— Подал мне открытое письмо, а на нем написано:

«Рассказ Ваш скучно написан, и его нельзя признать удачным, но, повидимому, у Вас есть способности. Пришлите еще что-нибудь».

— Не стану говорить, как я обрадовался. Малашин любезно рассказал, что открытка уже третий день у него. «Случайно, говорит, захватил на почте, чтоб передать тебе, да все забывал. Так ты, говорит, рассказы пишешь, в графы Толстые метишь?»

— Посмеялись и разошлись. Но уже в тот же день, вечером, когда я шел домой, дьякон, сидя у окна, крикнул мне:

— «Эй, ты, писатель! Я т-тебя!»

— И погрозил кулаком. В радости моей я не взвесил дьяконов жест. Знал я, что это человек фантастический: в молодости он стремился в оперу, но дальше регента в архиерейском хоре не пошел и в губернии не мог составить карьеры себе, страдая наклонностью к свободе действий. Пил он и в пьяном виде, на пари, бил лбом грецкие орехи, мог разбить целый фунт орехов, так что кожа на лбу у него лопалась. Носил в кармане железную коробочку с продухами, летом — для лягушат, а зимою для мышей, и, улучив удобную минуту, пускал зверюшек этих дамам за шивороты. Шутки эти прощались ему за веселый его нрав и за то, что он удивительно знал рыбий характер, чудесный был рыболов! Но сам рыбу не ел, боясь подавиться костью, и пойманное дарил знакомым, что весьма увеличивало любовь к нему.

— Так вот — обрадовался я. Был я в ту пору юноша скромный, характера задумчивого, собою некрасив.

Он прижал губами жиденькие, выцветшие усы, прищурил желтые белки скучных глаз и дрожащей рукою стал бережно наливать рюмку водки. В двадцать лет он был, вероятно, неуклюж, костляв, серые вихрастые волосы его были, видимо, рыжими, мутные глаза — голубыми. И — множество веснушек на лице. Теперь его дряблые щеки густо исчерчены сложным узором красных жилок, си-

зый нос пьяницы печально опускался на усы. Водка уже не возбуждала его. Он бормотал натужно и как бы сквозь сон.

— Почувствовал я себя красавцем, значительной фигурой. Еще бы: имею способности редкого качества! Душа моя запела жаворонком. Начал жестоко писать, ночи напролет писал, слова с пера ручьем текут. Радость! Замечаю, что горожане стали смотреть на меня особенно внимательно. «Ага!» — думаю...

— Малашин пригласил меня в гости к акцизному, а у того — дочь, бойкая такая барышня. Ну и еще разная молодежь. Интересуются мною, спрашивают:

— «Пишете? Пожалуйста — чаю! Внакладку!»

«Ого, думаю, внакладку даже?!» Размешивал чай ложечкой, хлебнул — что такое? Солоно. Так солоно, что даже горько. До отвращенья. Все-таки пью, по скромности моей. И вдруг все, хором, захохотали, а Малашин просмеялся и говорит:

— «Как же это? Писатель должен уметь различать все вещи, а ты соль от сахара не можешь отличить, как же это?»

— Я сконфузился, увял. «Эх» — думаю...

— «Это, — говорю, — шутка, конечно...»

— Они еще больше хохочут. Потом стали уговаривать меня, чтоб я стихи читал, — я и стихи сочинять пытался. Малашин знал это. Уговаривают:

— «Поэты в гостях всегда стихи читают, и вы обязаны».

— Но тут мордастый сын головы вмешался; сказал:

— «Хорошие стихи пишутся только военными».

— Барышни стали доказывать ему, что он ошибается, а я незаметно ушел. И с этого вечера всем городом начали меня травить, как чужую собаку. В первое же воскресенье встретил я дьякона, идет с удочками, попирая землю, как чудовищный слон.

— «Стой, — кричит. — Пишешь, дурак? Я, — говорит, — три года в оперу готовился и вообще не тебе чета, а ты — кто? Муха ты! Такие, — говорит, — мухи только засиживают зеркало литературы, сволочь...» — И так изругал меня, что мне даже обидно стало. «За что?» — думаю.

— Через некоторое время тетка моя, — я сирота, у тетки жил: — «Что это говорят про тебя, будто пишешь ты? Бросил бы, тебе жениться пора...»

— Пытался я объяснить ей, что в деле этом ничего зазорного нет, что даже графы и князья пишут и вообще это занятие чистое, дворянское, но она заплакала; взывает:

— «Господи, и кто, злодей, научил тебя этому?»

— А Малашин, встречая меня на улице, орет:

— «Здравствуй, без четверти граф Толстой!»

— Сочинил глупенькую песенку, и, при виде меня, молодежь города зудит:

Все пташки, канарейки
Прежалостно поют,
Хотя им ни копейки
За это ие дают...

«Эх, думаю, попал жук под копыто!»

— Так дразнят — на улицу показаться нельзя. Особенно — дьякон, освирепел, того и жди — отколотит.

— «Я, — рычит, — три года, а ты негодяй...»

— Бывало, ночами, сижу я над рекой, соображаю: «Что такое? За что?»

— Над рекой уединенное место было, мысок, и на нем ольховая роща, так я заберусь туда и, глядя на реку, чувствую, будто вода эта темная, омыв город, сквозь мою душу течет, оставляя в ней осадок мутный и горький.

— Была у меня знакомая девушка, золотошвейка, ухаживал я за ней с чистым сердцем, и казалось, что я тоже приятен для нее. Но и она стала кукситься, осторожно спрашивает меня:

— «Правда, что будто вы что-то написали в газеты про нас, про город?»

— «Кто вам сказал?»

— Поежилась она и рассказала:

— «Писательство ваше у Малашина в руках, и он его всем читает, а над вами смеются и даже хотят бить, за то, что вы графу Толстому предались. Зачем вы Малашину дали писательство это?»

— Подо мной земля колыхнулась. «У-ю-юй», — думаю. Там у меня и про акцизного и про дьякона, про всех, без радости, говорится. Конечно, несчастное писание мое я Малашину не давал, он сам взял рукопись на почте. Тут любезная моя еще подлила мне горечи:

— «За то, что я гуляю с вами, подруги смеются надо мной, — так что я уж не знаю, как мне быть».

«Эх», думаю я.

— Иду к Малашину.

— «Отдай рукопись, пожалуйста!»

— «Ну, зачем она тебе, — говорит, — если ее забраковали!»

— Не отдал. Нравился мне этот человек; замечаю я, что как ненужные вещи приятнее полезных, так же, иногда, приятен нам и вредный человек. И еще пример: нет битюга дороже скаковой лошади, хотя люди живут трудом, а не скачками.

— Наступили святки, пригласил меня Малашин рядиться, нарядил чортом, в полушубок шерстью вверх, надели мне на голову козлиные рога, на лицо — маску. Н-ну, плясали мы и все прочее, вспотел я и чувствую: нестерпимо щиплет мне лицо. Пошел домой, а меня на улице обогнали трое ряженых и кричат:

— «Ох, чорт! Бей его!»

— Я — бежать. Конечно — догнали. Избили меня не сильно, но лицо горит — хоть кричи! Что такое? Утром подполз я к зеркалу, а рожа у меня неестественно багровая, нос раздуло, глаза опухли, слезятся. Ну, думаю, изуродовали! Они маску-то изнутри смазали чем-то едучим, и когда вспотел я, мазь эта начала мне кожу рвать. Недель пять лечился, думал — глаза лопнут. Однако — ничего, прошло.

— Тогда я догадался: нельзя мне оставаться в городе. И тихонько ушел. Гуляю с той поры вот уже тринадцать лет.

Он зевнул и устало прикрыл глаза. Он казался человеком лет пятидесяти.

— Чем вы живете? — спросил я.

— Конюх, служу на бегах. Даю материал о лошадях репортеру одному.

И, улыбаясь медленно, доброй улыбкой, он сказал:

— До чего благородные животные лошади! Сравнить не с чем лошадей. Только вот одна ногу разбила мне...

Вздохнув, он тихо добавил, точно строчку стиха прочитал:

— Самая любимая моя...

ВЕТЕРИНАР

В массе народопоклонников, которых я встретил на путях моей жизни, особенно памятен мне ветеринар Милий Самойлович Петренко.

Высокий, сутулый. Длинное, до пят, узкое пальто из парусины неестественно увеличивает его рост. Бритое лицо украшено пышными усами, концы их картинно спускаются на грудь. Из-под густых бровей непреклонно и сурово сверкают светлые глаза. Выпуклый лоб глубоко распахан морщинами, на голове буйно торчат жесткие клочья сивых волос, они прикрыты выцветшей, широкополой шляпой, шляпа сдвинута на затылок, и это придает старику задорный, боевой вид.

Я познакомился с ним в 903 году в Седлеце, у М. А. Ромася, и Петренко пожелал ознакомить меня с «работой его жизни». Холостяк, он снимал комнату в деревянном, грязненьком домике извозчика-еврея; против окон этой печальной комнаты внушительно возвышались красные, солиднейшие стены седлецкой тюрьмы.

Размахивая руками, длинными как весла, ветеринар усадил меня к столу и зарычал глубоким басом, произнося каждое слово отдельно:

— Сура. Пива. Две.

Бросил шляпу в угол, на койку, достал из маленького желтого комода толстую тетрадь в клеенке и, гулко крякнув, начал:

— Вот. Называется:

Несколько соображений по вопросу об усвояемости пищевых веществ едоками различных сословий. Социально-экономический очерк.

Частию — рассказывая, иногда — читая, он в течение добрых полутора часов знакомил меня со своей работой. Она была основана на химическом исследовании экскрементов. Ее выводы убедительно, длинными столбцами цифр утверждали, что чем выше стоит человек на ступенях социальной лестницы, тем хуже он переваривает пищу, тем большее количество выбрасывает его кишечник ценных веществ не усвоенными организмом. А наиболее

преступно ведут себя в этом отношении чиновники и особенно — юристы: желудок юриста переваривает менее 50 процентов поглощенной им пищи, всю же остальную извергает без пользы для себя и явно во вред хозяйству государства.

— Сидячая жизнь! — победно рычал Петренко. — Ненормальная деятельность желчной железы. Все чиновники — желчны.

Хлопая по страницам тетради широкой ладонью, с кустиками серых волос на сгибах пальцев, ветеринар торжествовал:

— Расчет таков: четыре фунта в день. Три пуда в месяц. Тридцать шесть в год. На едока. Двадцать пудов лишних. Беру среднюю продолжительность жизни едока минимально — тридцать лет. Хо!

И, понизив голос до глубочайшей октавы, он с гневом и ужасом загудел:

— Привилегированные сословия, о? Так называемые. Бесполезно уничтожают пищу, о! В количестве нескольких миллионов пудов в год. Грабеж, о!

Далее он неопровержимо доказал, что наиболее идеально усваивает питательные вещества желудок мужика, — в отбросах мужицкого кишечника непереваренная пища почти совершенно отсутствует.

— Мужик усваивает все. Целиком. До нуля!

Встал со стула и, махая рукой над головой моей, зафыркал:

— Цифры! Мужицкое слово — дармоеды — имеет глубочайший научный смысл. За мужика — цифры! Доказано цифрами. Кто может опровергнуть цифры? Правда всегда в цифрах. В корне точных наук — цифры!

Когда он произносил слово «цифры», его пышные усы победоносно раздувались. Он сел, вылил под усы стакан пива, вытер рот полою пальто и продолжал, стукая по тетради крепким пальцем:

— Здесь р-радикальное р-решение пр-роблемы р-рационального питания населения России. Понимаете? Хо-хо! Мы можем или сократить труд мужика на пятьдесят процентов, или кормить весь мир. На выбор. Потому что: мужик испражняется честно. Он честно переваривает пищу, о! Мужик — первоначальная субстанция всякого со-

циального тела, о! Он святейшее. Всё — его плоть. Его кровь, о!

Снова вскочив со стула, он дважды стукнул кулаком в стену, тотчас же в приоткрытую дверь заглянули три рыженькие головки, три чумазые мордочки. Одна из них тоненьким голосом что-то спросила непонятными словами еврейского языка. Ветеринар вытащил откуда-то измятую рублевку и, показав детям четыре пальца, скомандовал:

— Четыре. Не бултыхайте.

Подбежал кудрявый мальчугашка лет семи, схватил бумажку, смачно плюнул на нее и стал аккуратно расправлять рублевку на ладони.

— Ша! — крикнул старик, но это не испугало детей.

Я спросил:

— Вы не читали статейку об идеалах и идолах?

— Не помню. Нет. Марксистская?

Глаза его расширились, нос покраснел, и над бровями явились тоже красные пятна.

— Маркса — не люблю. Марксистов — ненавижу. Враги народа. Еврейское учение. Я — антисемит. Юдофоб, о! Евреи — паразиты. Как все неземледельческие народы. Христианство — еврейская ловушка. Ницше — прав. Христос — яд. Обессиливает. Родина человека — земля. Человек — это мужик, всё от мужика, всё через мужика, о! Вот моя вера. Толстой путает. Вера — это когда просто. Просто и ясно. Юзова — знаете? Каблица? Читали? О! Честный мыслитель. Я его знал. В молодости. Мудрый человек. Любил. Знал. Верил.

Я спросил:

— Вы не пробовали напечатать ваши работы?

— Нет. Беден. Посылал в журналы. Не берут. Понятно! Интеллигенция. Паразитивное образование. В сущности, в глубине разума — относится к мужику враждебно. Рассматривает его как физическую силу. Как орудие. И — только. Мечтает его силой захватить власть, о! Шулера!

Он ударил по столу кулаком, стаканы, негодуя, зазвенели.

— Мужик чувствует это. Он не пойдет за интеллигенцией. У него свой путь. Свой ум. Все, что не он, — лишнее. Он знает это, о!

Вбежали дети. Старший тащил две бутылки, двое других — по одной. Старик, ухмыляясь, мягко заворчал:

— Мотька! Я ж сказал: не бултыхай бутылки!

И, погладив рыжие кудри мальчика, сунул в лапку его какие-то монеты, а когда тот, взвизгнув и подпрыгивая, убежал, ветеринар проводил его широчайшей улыбкой, говоря:

— Люблю этих. Честно переваривают пищу. Еврейские дети — милый народ, о!

— Вы же юдофоб?

Он, усмехаясь, мотнул головой:

— Теоретически. Конечно, евреи — ни к чорту! Ужасно живут. Но — если дать им земли...

Навалился грудью на стол и, умоляюще глядя на меня светлейшими глазами фанатика, попросил:

— Дайте земли! Всем. Всю. Больше — ничего. Земли! Все остальное приложится. Жизнь начата мужиком. К идеалу приведет ее только мужик, о! Города — ошибка. История — ошибка. Надо все сначала...

Резким жестом он схватил бутылку и, наливая в стакан теплое пенное пиво, сказал более спокойно:

— Ничего! Мужик — все поправит...

Потом он снова заговорил о рациональном усвоении пищи, долго рассказывал мне о премудрости желудков лошадей, коров, особенно восхищался желудком овцы и кончил речь свою густым, страстным восклицанием:

— Духовная энергия — результат работы желудка и кишок! Только это. Ничто иное, о!

А когда я уходил от него, он сказал прощаясь:

— Надо честно переваривать пищу! В этом — все. Мужик доказал это. Х-хо! И — как доказал!..

ПАСТУХ

Тимофей Борцов, сельский — села Вышенки — пастух, человек недюжинный: он немножко колдун и прорицатель, он — «коновал», но лечит и людей, он же «судья по семейным делам» и — как сам, ухмыляясь, именует себя — «соломенных дел мастер»: отлично плетет из соломы

баульчики, коробочки, папиросницы и рамки, украшая их цветными бумажками и фольгой.

Солидные мужики говорят о нем почтительно:

— Это мужик круглого ума, он для нас — министр!

Молодежь боится его и зовет:

— Дядя Тим.

Вообще село очень уважает Борцова за ум, справедливость, за трезвую жизнь и достаток. На сходах он первый человек, но говорит всегда последним, внимательно выслушав всех крикунов.

Когда он был еще подпаском, бык ударил его рогом в бедро, а в молодости рекрута перебили ему ребра, поэтому Борцов ходит странно раскачивая свое крепкое тело, — как будто ему хочется лечь на землю правым боком и, прижав к земле ухо, подслушать что-то в ней, а земля этого не хочет и отталкивает его.

Ему — лет шестьдесят, но он кряжистый, широкогрудый, меднолицый; плотные, белые зубы его все целы; в сивых волосах торчат рыжие клочья, — кажется, что он не седеет, а рыжеет. Волосы его так обильны и густы, что он не надевает шапку даже зимою, в морозы. Голос у него мощный для подпасков и скота, а с людьми он говорит медленно и как бы нарочито тихо, чтоб люди внимательнее слушали.

Но главное — он философ. Часто бывает в городе, продавая свои соломенные изделия, много видел, обо всем подумал.

С утра до вечера он сидит в поле, где-либо на холмике под тенью одинокой березы или на опушке леса, грозно покрикивает команду подпаскам и ловкими шерстяными пальцами неустанно плетет солому, — около него целый сноп.

— Отчего люди враздробь живут? — ставит он вопрос и сам же отвечает:

— А это от причины грамоты. Раздробились люди с того дня, как удумали эту словесную грамоту, книжки всякие, законы, приказы. Вот. Ты приказываешь, а я не могу понять тебя, я ж неграмотен! Примерно: ты скотский доктор, вертиринал по-вашему, я тоже скот понимаю, а друг дружку мы не можем понять, тому мешает грамота. Да.

Я слушаю и смотрю в его двуцветную, рыже-сивую бороду, в ней запутался широкий нос обезьяны, из нее шильями торчат, хитроумно сверкая, зеленые, жабьи глаза. А рта — не видно. Когда Борцов говорит, заметно только, что в бороде его что-то шевелится и бело просвечивает сквозь волосы холодная полоска зубов.

— И стоишь ты супротив меня человеком чужого языка, вроде немца. Также и становой и всякий другой чин. Ежели он по-матерному лает, ну, это я понять могу, а как он только грамотно заговорит, — тут промеж нас овраг! Я — по ту сторону, он по эту, и друг друга не слышим. Или же — поп: разве кто понимает, что̀ он в церкви кричит? В церкви, как во сне, очень желанно, ну, а понять невозможно ничего. Тоже и учителя: ребятишек скучат да скуке и учат, года-а! Это очень полезно, что ребятишки на возрасте забывают грамоту, а то бы и мужики друг дружку понимать перестали. Видишь? Главный вред людям это от нее, от грамоты.

Я пытаюсь убедить его в противном, однако — безуспешно. Прищурив, спрятав хитренькие глазки, он слушал речь мою молча и надувал губы так, что усы, мохнатым клоком, выдвигались из бороды. Лицо его становилось глупым, качая упрямой башкой, он говорил сожалительно:

— Ах ты, господи! Ну, что тут делать? Не понимаю! Самых слов твоих не понимаю, не токмо — мыслей. Ты гляди, какие слова, а? Ты говоришь: наука, а я слышу — паука и сейчас тебя самого пауком вижу, и будто ты меня, как муху, оплетаешь паутинкой. И еще ты говоришь, чтобы все были грамотны. Так это же безрассудок, на всех грамоты не хватит. Да и пищи не хватит, что ты! Ай-яй, до чего грамота доводит, ая-яй!

Конечно, я понимал, что пастух издевается надо мной, но я был тоже упрям, мне хотелось преодолеть упрямство дяди Тима. Видимо, это нравилось ему, он говорил со мной все более ласково и охотно.

Но после одного его рассказа я отскочил от Борцова, как мяч, отбитый палкой.

Сидел он вечером, после заката солнца, на скамье у ворот избы своей, пред избою; в темнозеленой, маслянистой

воде пруда квакали лягушки, над нами ныли комары. Борцов отбирал из снопа стебли соломы и ленивенько философствовал, поучая меня:

— Ну, ладно; давай согласимся: нужен хороший человек. А — каков он, если хорош? Скажем так: людей-жителей не грабит, милостыню подает, хозяйствует усердно — вот это будет самый хороший. Он законы знает: чужого — не трогай, свое — береги; не все жри сам, дай кусок и псам; потеплее оденься, тогда и на бога надейся — вот он что знает. Это самонужная его грамота. Таким человеком и держится наша держава, покоритель всех языков. Этот самый держалец земли всю вселенную кормит и к нему всяк народ идет: немец разный, француз и турка — все к нему лезут. Даже, сам знаешь, завоевать хотели сколько раз: обворужатся чем лучше и прямо на Москву лезут охально. А он сидит смирно, ждет. Да. Подкатятся они, двенадцать языков, а то и побольше, тут он встанет да кэ-эк бабахнет! И все наступатели эти пылью рассыпятся, — больше ничего. И — никакой об них памяти. Будто — были, а — уж нет! И — с годами — все меньше наступателей этих, а нас — все больше, прямо и девать некуда. Вот.

— По твоим же словам выходит, что хороший человек просто бессчастный и даже вроде полуумного. Какое его дело? Никаких делов за ним не видать. Какая от него польза? Орет без ума чего не надо, и за то его садют в тюрьму, — вот как по твоим речам объясняется этот человек.

— Я таких знавал, я множество знаю всякой юрунды. Мне даже сам его благородие исправник не раз, не два говорил: «Много ты, Борцов, знаешь, умная башка у тебя». Я, конечно, ему низенько кланяюсь, а про себя знаю: дурак он. Жена у него без ног семь лет, а он сидит над ней, как сытый пес над падалью. И даже помер в один год с ней; говорили, будто с тоски. Про него тоже был слух: хорош человек. А хорошего у него одно было: лошадь. Я ей кровь спускал. Мерин. Крепкий, во всех статях, как литой.

— Самый смешной из хороших этих был сын помещицы нашей Дубровиной, Ольги Николавны; распутная баба была, муж бросил ее, за границу скрылся даже.

Остроносая такая, бойкая. В очках ходила, очки на черной нитке, а нитка за ухо привязана. «Я, говорит, доктор». Лечила некоторых. Ей, на пожаре, ногу переломили, стала тише после этого.

— А сын ее, Митя, дружком моим был, ребятишками живучи, вместе баловали. Потом он скрылся учиться и долгие годы не видать было его. Вдруг — будто из болота выскочил; я тогда уже пастухом был, сижу на опушке, дудки режу, а он и бежит. «Узнал ты меня?» — спрашивает. Длинный, худой стал, облысел и тоже в очках, как мать. В руке палка с кисейным колпаком, через плечо, на ремне, жестяная коробка, ножки тоненькие — совсем паяц! Мотыльков ловит, жуков и травы собирает, будто колдун. Говорит со мной по старинке, как с мальчишком: помнишь, спрашивает, помнишь? Вижу: дураком выучился Митя; мне и вспоминать стыдно, я уж в ту пору женат был. «Что, пытаю, делаешь, Митрий Павлыч?» — «Книжки, говорит, пишу про насекомую жизнь». — «Так, говорю. Занятия приятная».

— Присмотрелся — вижу — добрый он, как пьяный, ничего ему не жаль. Начали мужики щипать его: тот просит, этот тянет. Я — тоже. Шляпу соломенную выпросил у него, очень хорошая шляпа была, я от нее и выучился крутить из соломы разное безделье. Ну, конечно, по дружбе и деньги брал. Ножик тоже выпросил замечательный.

— Ума он был мышиного, заучился до безрассудка. Бывало, скажет: «Комар лихоманки разносит, берегись, говорит, комара!» Я, конечно, не смеюсь, а будто верю, спрашиваю: как так? Тут он и начнет плетенку плести, а, господи! Скажет тыщу слов, а смыслу с птичий нос. А то заведет речь насчет мужиков: трудно жить мужикам. В этот час и проси у него чего хошь: трудно, так ты помоги! Тут он хоть сто рублей даст, — жалостлив был, как баба. Гляжу я на него, думаю: «Хоть ты вдвойне зряч, а живешь ты зря! Чего тебе надо? Обут-одет хорошо, ешь — скусно, землишку в аренду сдаешь, деньжонки есть, чего тебе еще, болван тесаный, идол мордовский?» И — зло у меня на него.

— Ловит он насекомую мелочь, принюхивается ко всему, а я его направляю куда похуже, в болота, а у нас

там промеж кочек колодцы глубоченные, — гляди в оба! Бывало, не доглядят подпаски, забредет теленок, а то овца, ну, и — поминай, как звали! Засасывает их. Конечно, и он попадал в эдакие места, увязнет и орет.

Пастух нахмурил лоб и, раздирая пальцами бороду, продолжал тише, с явной досадой:

— Однова вперся он по шею, вытащили его, снял одежу, повесил на кусты сушить. А я и говорю подпаску: «Николка, поди спрячь бариновы штаны». Мальчишке лестно поозорничать, спрятал он обои штаны, а дело было к закату, я велел стадо гнать домой, и пришлось барину без штанов гулять, день был праздничный, везде — бабы, девки, — смех! Ну, это вышло мне плохо. Проболтался Николка, что это я пошутил, дошла выдумка моя до дружка, прибежал он ко мне и давай заговаривать меня. До того много говорил, что даже рожа покраснела и чуть слезы не текут у него. «Я, говорит, тебе и то и се, а ты мне — что, а?» С того дня рушилась наша дружба, перестал он знать меня да, кстати, захворал вскоре, а к весне и скончался в городе. Чахоточный...

— Ну, вот тебе и добрый человек, а — чем он хорош? Куда его, для какого дела? Он мне — как заноза в пальце. И немало таких видел я промеж господ. Сказано: промеж господ не зверь, так скот. Теленок. Был учитель у нас, Петр Александров, так до того заучился, что начал парням внушать: всему горю причина — царь. Неизвестно, чем его царь обидел. А Федька Савин, теперешний волостной старшина, догадался да — в город, да в полицию, — Федьке золотую монету в семь с полтиной дали, а учителя ночью жандармы увезли. Да — мало ли чего было!

— Опять говорю: грамотные — безумного характера люди, путаники. Пользы от них я не видал ни зерна, а досады — много. Вот и ты: человек здоровый, в подходе к людям — простой, даже кое-что понимать можешь. А все-таки есть в тебе опасное и понять тебя не могу я. Чего тебе надо? Мне вот кисет надо для табаку, кожаный бы. Ну, я знаю, попроси у тебя кисет, ты купишь и дашь. Так ведь это оттого, что у тебя деньга дешевая, — у вас, грамотных, вся ваша доброта от дешевой деньги, она вам легко дается. А чего тебе надо, ты, поди-ка, и сам

не знаешь. У меня же все ясно, как при свечке. Я, примерно скажем, прямой шосой иду, а ты проселками около бродишь.

Пастух закрыл глаза, запрокинул голову, выгнув мохнатый кадык, и выпустил из бороды странные, рыкающие звуки, — это он смеялся. Потом, поковыряв глаза пальцем, снова заговорил:

— Вот, намедни ты непотребно сказал: земля вертится. Это я и до тебя слыхал. Это потому она вертится, что у вас у всех башки от грамоты закружились. А вы кричите: ай, земля вертится! Ох, вертится! Земля — врешь! — вертеться не смеет, этого человек не может терпеть.

Победоносно сверкнув глазами, Борцов поглядел на красный круг луны в небесах, уставился на ее отражение в маслянистой воде пруда.

— Тебе вот неизвестно — какова завтра погода будет, а я знаю: быть завтра плохой погоде! Какой тому знак? Опять ты этого не понимаешь, а я тебе не скажу.

Свертывая папиросу, он добавил хвастливо:

— Пастух всегда погоду чует...

В этот вечер Борцов стал неприятен мне, я потерял охоту видеть его, и несколько месяцев мы не встречались.

Но вдруг я узнаю, — не помню от кого, — что у пастуха есть двое племянников-сирот и оба они учатся на его средства, один — в казанском ветеринарном институте, другой — во Владимире, в гимназии.

Встретив Борцова в магазине кустарных изделий, я упрекнул его:

— Ты зачем же это, дядя Тим, врал мне? Грамоту отрицаешь, а сам племянников учишь, да еще где!

Он прищурил жабьи глазки и, шевеля бородой, ответил:

— А — кем я обязан правду тебе говорить? К тому же за правду — бьют!

Засмеялся смехом лешего, покачиваясь на ногах, подмигивая, тихонько, сквозь смех, говоря:

— Племяши-то мои — кровные мне, а ты — чужой человек, вроде прохожего нищего. Я и действую в свою пользу, как всякий человек с разумом. Мои пускай учатся, а чужим — не надо. Понял? Ну, то-то...

Положил на плечо мое тяжелую лапу и милостиво, поучительно добавил:

— Сказано: свой своему поневоле брат. Ну, я и радею своим. Али мне не желается господами видеть своих-то? Мы, чуешь, из господ, только — самый испод. Ну-кось, закурим, блажен муж...

Закурили. Я одобрительно сказал:

— Ловко ты, дядя Тим, обманывал меня! Хороший ты актер.

Это не понравилось ему, он заворчал:

— Опять невнятное слово! Чудак, ей-богу! Что тебе — труднее по-людски, по-русски то же слово сказать: паяц... Навыки у вас, грамотных, вовсе обезьяньи...

ДОРА

Восемь человек туберкулезных, — а это наиболее капризные люди: повысится температура тела на две, три десятых, и человек почти невменяем от страха, уныния, злости.

Бацилла туберкулеза обладает ироническим свойством: убивая, она раздражает жажду жизни; об этом говорит повышенный эротизм, сопутствующий фтизису, и часто бодрая, предсмертная уверенность безнадежно больных в том, что они выздоравливают. Кажется, патолог Штрюмпель назвал это состояние «надеждой фтизиков».

Восемь человек больных, в одном из пансионов Крыма, обслуживала горничная Дора, человек неизвестного племени; иногда она выдавала себя за эстонку, иногда — за «корельку». Но говорила она языком тавричанки, то — с татарским акцентом, то — с армянским.

Она — огромная, толстая, но легка на ногу, движения ее ловки и быстры. У нее доброе лицо лошади, красные губы растянуты жирной улыбкой, маслом этой улыбки налиты и ее большие глаза странного, сиреневого цвета. Когда она задумывалась, туповатые эти глаза тускнели, и взгляд их приобретал свинцовую тяжесть.

Она была безграмотна и глупа, особенно глупа тогда, когда ей хотелось схитрить. Больные так и звали ее — не очень остроумно:

— Дура.

Но — это не обижало толстую девушку, не гасило ее улыбку, отношение Доры к больным было снисходительно, как отношение матери к детям. И когда чахоточные мужчины жадно цапали серыми, потными руками ее здоровое, полное горячей крови тело, она спокойно отводила красной ручищей своей эти потные, жалкие руки умирающих:

— Не лапайте, вам баловать вредно.

За нею настойчиво ухаживали солидные люди: лавочники, подрядчики и суровый, крепкий рыбак-вдовец, их привлекала ее грубая красота, сила, неутомимость в труде, ровный характер, каждому хотелось взять себе в работу на всю жизнь это спокойное, кроткое, человекоподобное существо. Но ее отношение к мужчинам напоминало о человеке свободном, богатом, который хорошо знает, когда и как лучше затратить свой капитал. Она отказывала женихам с тою же неумной, но успокаивающей улыбкой, с какою выслушивала бесконечные капризы больных и отталкивала от груди своей их назойливые ласки.

Ей было жарко даже в те дни, когда свистел северный ветер или туман обнимал мутной сыростью пансион, маленький домик на горе, и больные, кутаясь в пледы, в пальто, проклинали погоду. Ночами, уложив всех нас спать, Дора кутала голову черным платком с красной розой в одном его углу, выходила на террасу и там, стоя на коленях, глядя в небо, долго молилась, вздыхая под моим окном:

— О, пресвятая матерь... Христе, боже наш! И ты, великий угодник, Никола...

Наклонностей к поэзии, к лирике не замечалось у Доры. Она не любила цветы, находя, что от них много сора в комнатах, а когда как-то ночью поповна, умиравшая от туберкулеза кишок, восхищалась великолепием неба и звезд, Дора уничтожила ее восторг тремя словами:

— Небо — как яичница...

Приехал девятый больной. С великим трудом, задыхаясь, он вошел по лестнице на террасу и, держась за конец перил, сказал Доре:

— Вот какой франт, — хорош?

Это было сказано и жалобно и весело. Улыбаясь, он глядел на огромную девушку, на бугры ее мощных грудей.

— Ого, какая здоровая, — хрипел он, быстро и часто глотая воздух. — Ну, вы меня вылечите, так?

— А — конечно, — сказала Дора, по-армянски исковеркав слово.

У него было совиное лицо, с круглыми, кошачьими глазами, загнутым книзу носом, с черненькими усиками, лицо злое и насмешливое.

С этого дня Дора волшебно и очень невыгодно для нас, больных, изменилась: стала забывать наши просьбы, комнаты убирала торопливо и небрежно, в ответ на жалобы и упреки сердито мычала, и что-то пьяное явилось в ее лошадиных глазах. Она как будто оглохла, ослепла и все озабоченно склоняла голову вбок, к террасе, где лежал, задыхаясь и кашляя, маленький студент Филиппов, похожий на сову. Каждую свободную минуту она бежала к нему, а после заката солнца пряталась в комнате студента, и тогда уж трудно было вызвать ее оттуда.

А он — умирал. Очень необычно умирал: посмеиваясь, пошучивая, пытаясь насвистывать мотивы опереток, чему мешал его кашель. Было в нем что-то деланное: задорное, даже циническое, но сделано это было искусно.

— Как вам нравятся, коллега, эти маленькие нелепости? — спрашивал он меня, подмигивая кошачьим глазом. — Как нравится вам все это: день, ночь, рождение, любовь, знание, смерть, а? Забавно, не правда ли? Не спа? — как спрашивают французы. Особенно забавно для человека двадцати шести лет от роду, — это я говорю о себе... Дора!

Где-то раздавался стук посуды или грохот мебели, являлась Дора и, вытаращив глаза, молча ждала, что прикажет ей этот человек.

— Добрейшая слониха моя, принесите-ка мне винограда — живо! — командовал он и говорил мне:

— Весьма непросвещенная и даже тупая личность.

Он ненавидел всех больных и едко высмеивал комическое в каждом. Его тоже не любили. Со мною он подружился, потому что любил литературу, это очень сближало нас.

— Литература — лучшая из всех выдумок человека, — говорил он, облизывая губы серым языком. — И чем она дальше от жизни — тем лучше...

Мне казалось, что он умирает не столько от туберкулеза, сколько от какого-то тяжелого удара по душе.

Умер он на шестьдесят девятый день своей жизни в пансионе и, умирая, бредил:

— Фима — всю жизнь... только тебя... тебя люблю... всегда, о, Фимочка...

Я сидел на койке у ног его, а Дора угрюмо стояла у головы студента: всхлипывая, она гладила широчайшей лапой своей сухие волосы умиравшего. Под мышкой у нее был зажат какой-то сверток.

— Что говорит он? — спросила она, беспокойно выпрямляясь. — Шо воно таке — Хвима?

— Очевидно — девушка или женщина, которую он любил, любит.

— Он? Этую — Хвиму? — громко и удивленно спросила Дора. — Ни, он же мене любит. Он же, как приихал, так тут меня и полюбив...

Но прислушавшись еще к бреду студента Филиппова, она высоко подняла белесые брови, вытерла передником мокрое лицо свое, бросив сверток на колени мне, сказала:

— Это — смертное ему: порты, рубаха, туфли.

И тихонько ушла.

Минут через двадцать студент Филиппов перестал бредить. Он очень серьезно посмотрел в черный квадрат окна на белой стене, вздохнул, хотел — как мне показалось — что-то сказать, но — поперхнулся, и его маленькое, сожженное до костей тело спокойно вытянулось.

Я пошел искать Дору. Она стояла на террасе, глядя вниз, где небо и море, неразличимые, были одинаково темны. Она обратила встречу мне толстое лицо свое, и я был удивлен, увидав, как сурово это лицо.

— Умер. Идите одеть его, Дора.

— Не хочу.

Дора стала шаркать ногою, как бы растирая плевок.

— Не хочу, — повторила она. — Даже и видеть такого — не желаю. Вы смотрите — какой! Говорил — мене любит, а сам...

— Но ведь вы же видели, что он умирает...

— Ну, и что ж? А — конечно, видела — разве ж я слепа? Я на свои гроши даже и смертное купила ему. Я сразу видела, как он приехал. «Ох, подумала я...

умирает!» Все — умирают. А — зачем обманывал? «Я, говорит, никогда не любил девушку». Ну на, вот тебе девушка... Ты умирай, да не обманывай...

Говорила она негромко и как будто думая не о том, что говорит. И вдруг — всхлипнула с такой болью, точно проглотила полную чашу горячей влаги и жестоко обожглась.

— Пойдемте, Дора!

— Идить, одевайте его сами, коли вы такой добрый. А я — нет. Не хочу. Что он мне был — забава?

— Я не умею одевать покойников...

— А мне что? Я ж ему чужая.

— Да ведь — умер он.

— Ну, так что? Не уговаривайте мене, не хочу я видеть такого. Не обманывай...

Так она и не пошла одеть усопшего, осталась на террасе.

Обряжая студента Филиппова, я услышал тихий, но потрясающий вой. Выскочил на террасу.

Есть у человека эдакие особенные кипучие, бешеные слезы — этими слезами и плакала Дора, стоя на коленях, гулко стукаясь головою о перила, плакала и выла, с визгом, выговаривая нелепые, неестественные слова:

— Обида ж, ты моя... уродушка... детеныш... дитя незабенная...

ЛЮДИ НАЕДИНЕ САМИ С СОБОЮ

Сегодня наблюдал, как маленькая дама в кремовых чулках, блондинка, с недоконченным лицом девочки, стоя на Троицком мосту, держась за перила руками в сереньких перчатках и как бы готовясь прыгнуть в Неву, показывала луне острый, злой язычок свой. Старая, хитрая лиса небес прокрадывалась в небо сквозь тучу грязного дыма, была она очень велика и краснолица, точно пьяная. Дама дразнила ее совершенно серьезно и даже мстительно, — так показалось мне.

Дама воскресила в памяти моей некоторые «странности», они издавна и всегда смущали меня. Наблюдая, как ведет себя человек наедине сам с собою, я вижу его «безумным» — не находя другого слова.

Впервые я заметил это, еще будучи подростком: клоун Рондаль, англичанин, проходя пустынным коридором цирка мимо зеркала, снял цилиндр и почтительно поклонился своему отражению. В коридоре не было ни души, я сидел в баке для воды над головой Рондаля, он не мог видеть меня, да и я не слышал его шагов, я случайно высунул голову из бака как раз в тот момент, когда клоун раскланивался сам с собой. Его поступок поверг меня в темное, неприятное изумление. Потом я сообразил: клоун — да еще англичанин, — человек, ремесло или искусство которого — эксцентризм...

Но я видел, как А. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался — совершенно безуспешно — надеть его на голову вместе со шляпой. И я видел, что неудача раздражает ловца солнечных лучей, — лицо его становилось все более сердитым. Он кончил тем, что, уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногою собаку Тузика, прищурив глаза, искоса взглянул в небо и пошел к дому. А увидав меня на крыльце, сказал ухмыляясь:

— Здравствуйте! Вы читали у Бальмонта: «Солнце пахнет травами»? Глупо. В России солнце пахнет казанским мылом, а здесь — татарским потом...

Он же долго и старательно пытался засунуть толстый красный карандаш в горлышко крошечной аптекарской склянки. Это было явное стремление нарушить некоторый закон физики. Чехов отдавался этому стремлению солидно, с упрямой настойчивостью экспериментатора.

Л. Н. Толстой тихонько спрашивал ящерицу:

— Хорошо тебе, а?

Она грелась на камне в кустах по дороге в Дюльбер, а он стоял пред нею, засунув за ремень пояса пальцы рук. И, осторожно оглянувшись вокруг, большой человек мира сего сознался ящерице:

— А мне — нехорошо.

Профессор М. М. Тихвинский, химик, сидя у меня в столовой, спрашивал свое отражение в медном подносе:

— Что, брат, живешь?

Отражение не ответило. Он вздохнул глубоко и начал тщательно, ладонью, стирать его, хмурясь, неприятно шевеля носом, похожим на зародыш хобота.

Мне рассказывали, что однажды кто-то застал Н. С. Лескова за такой работой: сидя за столом, высоко поднимая пушинку ваты, он бросал ее в фарфоровую полоскательницу и, «преклоня ухо» над нею, слушал: даст ли вата звук, падая на фарфор?

Отец Ф. Владимирский, поставив пред собою сапог, внушительно говорил ему:

— Ну, — иди!

Спрашивал:

— Не можешь?

И с достоинством, убежденно заключал:

— То-то! Без меня — никуда не пойдешь!

— Что вы делаете, отец Федор? — осведомился я, войдя в комнату.

Внимательно посмотрев на меня, он объяснил:

— А вот — сапог! Стоптался. Ныне и обувь плохо стали тачать...

Я неоднократно наблюдал, как люди смеются и плачут наедине сами с собою. Один литератор, совершенно трезвый, да и вообще мало пьющий, плакал, насвистывая мотив шарманки:

Выхожу один я на дорогу.

Свистел он плохо, потому что всхлипывал, как женщина, и у него дрожали губы. Из его глаз медленно катились капельки слез, прячась в темных волосах бороды и усов. Плакал он в номере гостиницы, стоя спиной к окну, и широко разводил руками, делая плавательные движения, но — не ради гимнастики, — размахи рук были медленны, бессильны, неритмичны.

Но — это не очень странно: плач, смех — выражения понятных настроений, это — не смущает. Не смущают и одинокие ночные молитвы людей в полях, в лесу, в степи и на море. Совершенно определенное впечатление безумных вызывают онанисты, — это тоже естественно, почти всегда противно, но порою — очень смешно. И — жутко тоже.

Курсистка-медичка, очень неприятная барышня, самоуверенная и хвастунья, начитавшаяся Ницше до очумелости, грубо и наивно рисовалась атеизмом, но — онани-

ровала перед снимком с картины Крамского «Христос в пустыне».

— О, иди! — тихонько и томно стонала она. — Милый, несчастный — иди же, иди!

Потом она вышла замуж за богатого купца, родила ему двух мальчиков и уехала от него с цирковым борцом.

Мой сосед по комнате в «Княжьем дворе», помещик из Воронежа, ночью, совершенно трезвый, полураздетый, ошибкой вошел ко мне; я лежал на постели, погасив огонь, комната была полна лунным светом, и сквозь дыру в занавесе я видел сухое лицо, улыбку на нем и слышал тихий диалог человека с самим собою:

— Кто это?

— Я.

— Это не ваш номер.

— Ах, извините!

— Пожалуйста.

Он замолчал, осмотрел комнату, поправил усы, глядя в зеркало, и тихонько запел:

— Не туда попал, пал, пал! Как же это я — а? а?

После этого ему следовало уйти, но он взял со стола книгу, поставил ее крышей — переплетом вверх — и, глядя на улицу, полным голосом сказал, кого-то упрекая:

— Светло, как днем, а день был темный, скверный, — эх! Устроено...

Но — ушел он «на цыпочках», балансируя руками, и притворил дверь за собою с великой осторожностью, бесшумно.

Когда ребенок пытается снять пальцами рисунок со страницы книги — в этом нет ничего удивительного, однако странно видеть, если этим занимается ученый человек, профессор, оглядываясь и прислушиваясь: не идет ли кто?

Он, видимо, был уверен, что напечатанный рисунок можно снять с бумаги и спрятать его в карман жилета. Раза два он находил, что это удалось ему, — брал что-то со страницы книги и двумя пальцами, как монету, пытался сунуть в карман, но, посмотрев на пальцы, хмурился, рассматривал рисунок на свет и снова начинал усердно сковыривать напечатанное, это все-таки

не удалось ему; отшвырнув книгу, он поспешно ушел, сердито топая.

Я очень тщательно просмотрел всю книгу: техническое сочинение на немецком языке, иллюстрированное снимками различных электродвигателей и частей их, в книге не было ни одного наклеенного рисунка, а известно, что напечатанное нельзя снять с бумаги пальцами и положить в карман. Вероятно, и профессор знал это, хотя он не техник, а гуманист.

Женщины нередко беседуют сами с собою, раскладывая пасьянсы и «делая туалет», но я минут пять следил, как интеллигентная женщина, кушая в одиночестве шоколадные конфекты, говорила каждой из них, схватив ее щипчиками:

— А я тебя съем!

Съест и спросит: кого?

— Что, — съела?

Потом — снова:

— А я тебя съем!

— Что — съела?

Занималась она этим, сидя в кресле у окна, было часов пять летнего вечера, с улицы в комнату набивался пьяный шум жизни большого города. Лицо женщины было серьезно, серовато-синие глаза ее сосредоточенно смотрели в коробку на коленях ее.

В фойе театра красивая дама-брюнетка, запоздав в зал и поправляя перед зеркалом прическу, строго и довольно громко спросила кого-то:

— И — надо умереть?

В фойе никого уже не было, только я, тоже запоздавший войти в зал, но она не видела меня, да и увидев, надеюсь, не поставила бы предо мной этот, несколько неуместный вопрос.

Много наблюдал я таких «странностей».

К тому же:

А. А. Блок, стоя на лестнице во «Всемирной литературе», писал что-то карандашом на полях книги и вдруг, прижавшись к перилам, почтительно уступил дорогу кому-то, незримому для меня. Я стоял наверху, на площадке,

и когда Блок, провожая улыбающимся взглядом того, кто прошел вверх по лестнице, встретился с моими, должно быть, удивленными глазами, он уронил карандаш, согнулся, поднимая его, и спросил:

— Я опоздал?

ИЗ ДНЕВНИКА

Убийственно тоскливы ночи финской осени. В саду — злой ведьмой шепчет дождь; он сыплется третьи сутки и, видимо, не перестанет завтра, не перестанет до зимы.

Порывисто, как огромная издыхающая собака, воет ветер. Мокрую тьму пронзают лучи прожекторов; голубые холодные полосы призрачного света пронзает серый бисер дождевых капель. Тоска. И — люди ненавистны. Написал нечто подобное стихотворению.

Облаков изорванные клочья
Гонят в небо желтую луну;
Видно, снова этой жуткой ночью
Я ни на минуту не усну.
Ветвь сосны в окно мое стучится.
Я лежу в постели, сам не свой,
Бьется мое сердце, словно птица, —
Маленькая птица пред совой.

Думы мои тяжко упрямы,
Думы мои холодны, как лед.
Черная лапа о раму
Глухо, точно в бубен, бьет.
Гибкие, мохнатые змеи —
Тени дрожат на полу,
Трепетно вытягивают шеи,
Прячутся проворно в углу.

Сквозь стекла синие окна —
Смотрю я в мутную пустыню,
Как водяной с речного дна
Сквозь тяжесть вод, прозрачно синих,
Гудит какой-то скорбный звук,
Дрожит земля в холодной пытке,
И злой тоски моей паук
Ткет в сердце черных мыслей нитки.

Диск луны, уродливо изломан,
Тонет в бездонной черной яме.
В поле золотая солома
Вспыхивает желтыми огнями.

Комната наполнена мраком,
Вот он исчез пред луной.
Дьявол вопросительным знаком
Молча встает предо мной.

Что я тебе, дьявол, отвечу?
Да, мой разум онемел.
Да, ты всю глупость человечью
Жарко разжечь сумел!

Вот — вооруженными скотами
Всюду ощетинилась земля
И цветет кровавыми цветами,
Злобу твою, дьявол, веселя!

Бешеные вопли, стоны,
Ненависти дикий вой,
Делателей трупов миллионы —
Это ли не праздник твой?

Сокрушая труд тысячелетий,
Не щадя ни храма, ни дворца,
Хлещут землю огненные плети
Стали, железа, свинца.

Все, чем гордился разум,
Что нам для счастия дано,
Вихрем кровавым сразу
В прах и пыль обращено.

На путях к свободе, счастью —
Ненависти дымный яд.
Чавкает кровавой пастью
Смерть, как безумная свинья.

Как же мы потом жить будем?
Что нам этот ужас принесет?
Что теперь от ненависти к людям
Душу мою спасет?

О ВОЙНЕ И РЕВОЛЮЦИИ

Московский извозчик: шерстяная безглазая рожа; лошадь у него — помесь верблюда и овцы. На голове извозчика мятая, рваная шапка, синий кафтан под мышками тоже разорван, из дыры валяного сапога высунулся — дразнит — грязный кусок онучи. Можно думать, что человек этот украсил себя лохмотьями нарочито, напоказ:

«Глядите, до чего я есть бедный!»

Он сидит на козлах боком, крестится на все церкви и ленивенько рассказывает о дороговизне жизни, не жалуется, а просто рассказывает сиповатым голосом.

Спрашиваю его: что он думает о войне?

— Нам — что думать? Царь воюет, ему и думать.

— Газеты — читаете?

— Мы — не читающие. Иной раз в чайной послушаешь: отступили, наступили. Газета — что? У нас в деревне мужик один врет много, так его зовут — Газета.

Он чешет кнутовищем под мышкой и спрашивает:

— Бьет нас немец?

— Бьет.

— А у кого народу больше: у нас али у него?

— У нас.

Помахивая кнутом над шершавым крупом лошади, он философски спокойно говорит:

— Вот видишь: в воде масло не тонет...

Парикмахер, брея зеленого таможенного чиновника, уверенно говорит:

— Ко-онечно, немцы вздуют нас, они нас всегда били...

Чиновник возражает: нет, били и мы их, например — при императрице Елизавете нами даже Берлин был взят.

— Не слыхал, — говорит парикмахер. — Хоша сам — солдат, но про этот случай — не слыхал!

И — догадывается:

— Может, это для утешения нашего выдумано, чтобы дух поднять?

А в прошлом году, после объявления войны, этот парикмахер рассказывал мне, как он стоял на коленях перед Зимним дворцом и, обливаясь слезами, пел «Боже царя храни».

— Душа пела в этот час великой радости...

В саду, против Народного дома, группа разнообразных людей слушает бойкую речь маленького солдатика. Голова его забинтована, светлые глазки вдохновенно блестят, он хватает людей руками, заботясь, чтоб

его слушали внимательно, и высоким тенорком сеет слова:

— Фактически — мы, конечно, сильнее, а во всем остальном нам против них — не устоять! Немец воюет с расчетом, он солдата бережно тратит, а у нас — ура! И вали в котел всю крупу сразу...

Большой, крепкий мужик, в рваной поддевке, говорит веско и басовито:

— У нас, слава богу, людей даже девать некуда; у нас другой расчет: сделать так, чтоб просторнее жилось.

Сказал и смачно зевнул. Хотелось бы слышать в его словах иронию, но — лицо у него каменное, глаза спокойно-сонны. Серенький, мятый человечек вторит ему:

— Верно! Для того и война: или землю чужую захватить, или народу убавить.

А солдат продолжает:

— К тому же сделана ошибка: отдали Польшу полякам, они и разбежались, те — к ним, эти — к нам, ну и путаются: своему своего неохота бить...

Большой мужик убежденно и спокойно говорит:

— Заставят — будут! Было бы кому заставить, а бить — будут. Народ драться любит...

И вообще об этой гнусной, позорной бойне «обыватели» говорят как о событии совершенно чуждом им, говорят, как зрители, часто даже со злорадством, но — я не понимаю: куда, на кого направлено это злорадство? Вовсе не заметно, чтоб критика «власти» усиливалась и отрицательное отношение к ней росло. Развивается отвратительный, мещанский анархизм.

Сопоставляя его с мнениями рабочих, ясно видишь, насколько неизмеримо выше развито у последних понимание трагизма событий и даже чувство «государственности» или, точнее, человечности. Это заметно даже у «неорганизованных», не говоря уже о партийцах, как, например, П. А. Скороходов. На-днях он рассуждал:

— Как класс — мы от военного погрома выиграем, и это, конечно, главное. А все-таки душа — болит! Стыдно, что воюем. И так жалко народ — сказать не могу. Ведь подумайте, гибнут самые здоровые люди, а им завтра

работать. Революция потребует себе самых здоровых... Хватит ли нас?

Хорошо понимает значение культуры:

— Это глупо — говорить, что культура буржуазна и мне вредна. Культура — наша, законное наше дело и наследство. Мы сами разберем, что лишнее и вредное, сами и отбросим. Сначала надо поглядеть, что чего стоит. Кроме нас, никто не смеет распоряжаться. Недавно у нас, на Сампсониевском, один мил друг часа полтора культуру уничтожал, я думал: человек этот хочет доказать мне, что лапоть лучше сапога. Учителя, тоже! Уши рвать надо таким...

Профессор З., бактериолог, рассказал мне:

— Однажды, в присутствии генерала Б., я сказал, что хорошо бы иметь обезьян для некоторых моих опытов. Генерал серьезно спросил:

— «А — жиды не годятся? Тут у меня жиды есть, шпионы, я их все равно повешу, берите жидов!»

— И, не дожидаясь моего ответа, он послал офицера узнать: сколько имеется шпионов, обреченных на виселицу? Я стал доказывать его превосходительству, что для моих опытов люди не годятся, но он, не понимая меня, говорил, вытаращив глаза:

— «Но ведь люди все-таки умнее обезьян; ведь если вы вспрыснете человеку какой-нибудь яд, он вам скажет, что чувствует, а обезьяна — не скажет!»

— Возвратился офицер и доложил, что среди арестованных по подозрению в шпионаже нет ни одного еврея, все цыгане и румыны.

— «И цыгане — не годятся? — спросил генерал. — Жаль!..»

Вспоминая о евреях, чувствуешь себя опозоренным.

Хотя лично я, за всю жизнь мою, вероятно, не сделал ничего плохого людям этой изумительно стойкой расы, а все-таки при встрече с евреем тотчас вспоминаешь о племенном родстве своем с изуверской сектой антисемитов и о своей ответственности за идиотизм соплеменников.

Я честно и внимательно прочитал кучу книг, которые пытаются обосновать юдофобство. Это очень тяжелая и даже отвратительная обязанность — читать книги, написанные с определенно грязной целью: опорочить народ, целый народ! Изумительная задача. В этих книгах я ничего не нашел, кроме моральной безграмотности, злого визга, звериного рычания и завистливого скрежета зубов. Так вооружась, можно доказывать, что славяне да и все другие народы тоже неисправимо порочны.

А не потому ли ненавидят евреев, что они, среди других племен мешанной крови, являются племенем, которое — сравнительно — наиболее сохранило чистоту лица и духа? Не больше ли «Человека» в семите, чем в антисемите?

Постыдному делу распространения антисемитизма в массах весьма сильно способствуют сочинители и рассказчики «еврейских» анекдотов.

Странно, что среди них нередко встречаешь евреев. Может быть, некоторые из них хотят показать, как хорош печальный юмор еврейства... и этим надеются возбудить симпатию к своему народу у врагов его? Может быть, другие анекдотисты желали бы — показывая еврея смешным — убедить идиотов, что он вовсе «не страшен»? Но разумеется — среди них есть выродки и негодяи народа своего.

Таких «анекдотистов» было, мне кажется, особенно много в восьмидесятых годах. Весьма славился Вейнберг-Пушкин, говорили, что он брат П. И. Вейнберга — «Гейне из Тамбова», отличного переводчика Генриха Гейне. Этот Вейнберг-Пушкин даже издал книжку или две очень глупых и бездарных «Еврейских анекдотов» или «Сцен из быта евреев». Мне нравилось слушать его рассказы, — рассказчик он был искусный, — и я ходил в Панаевский сад в Казани, где Вейнберг выступал на открытой эстраде. В то время я был булочником.

Однажды я пошел туда с маленьким студентом Грейманом, очень милым человеком; он потом застрелился.

Меня очень смешили шуточки Вейнберга, но вдруг рядом со мною я услышал хрипение, то самое, которое издает человек, когда его душат, схватив за горло. Я оглянулся — лицо Греймана, освещенное луною и красными фонарями эстрады, было неестественно: серо-зеленое, странно вытянутое, оно все дрожало, казалось, что и зубы дрожали, — рот юноши был открыт, а глаза влажны и, казалось, налиты кровью. Грейман хрипел:

— Сволоч-чь... о, с-сволочь...

И, вытянув руку, поднимал свой маленький кулачок так медленно, как будто это была двухпудовая тяжесть.

Я перестал смеяться, а Грейман круто повернулся, нагнул голову и ушел, точно бодая толпу зрителей. Я тоже тотчас ушел, но не за ним, а в сторону от него и долго ходил по улицам, видя пред собою искаженное лицо человека, которого пытают, и хорошо поняв, что я принимал веселое участие в этой пытке.

Разумеется, я не забыл, что люди делают множество разнообразных гадостей друг другу, но антисемитизм все-таки я считаю гнуснейшей из всех.

Горит здание окружного суда.

Уже провалилась крыша, внутри стен храпит огонь, желто-красная вата его лезет из окон, вскидывая в черное небо ночи бумажный пепел. Пожар не гасят.

Бешенством огня любуются человек тридцать зрителей. Черными птицами они стоят у старинных музейных пушек орудийного завода, сидят на длинных хоботах. В хоботах этих есть что-то глупое и любопытствующее; все они уклончиво, косо вытянуты в сторону Государственной думы, где кипит жизнь, куда свозят на автомобилях и ведут арестованных генералов, министров, куда темными кучами торопливо идут и бегут люди.

Молодой голос звонко кричит:

— Товарищи! Кто хлеба кусок обронил?

Около пушек ходит, как часовой, высокий, сутулый человек в бараньей, мохнатой шапке, лицо его закрыто приподнятым воротником овчинной шубы. Остановился, глухо спрашивает кого-то:

— Что же, значит решено судимость похерить? Наказания — отменяются, что ли?

Ему не отвечают. Ночь холодна. Скорченные фигуры жителей недвижимо, очарованно смотрят на огромный костер в камнях стен. Огонь освещает серые лица, отражается в неживых глазах. Люди на пушках какие-то мятые, трепаные, удивительно ненужные в эту ночь поворота России на новый, еще более трудный, героический путь.

— Я говорю: преступники-то как же? Судов не будет, что ли?

Кто-то отвечает негромко, насмешливо:

— Не бойся, не обидят тебя, осудят.

И лениво тянется странная беседа ночных, ненужных людей:

— Судить — будут.

— Кто это поджег?

— Судимые, конечно. Воры.

— Им — выгода...

— Вот такие, как этот...

Человек в мохнатой шапке говорит строго и громко:

— Я — не судимый, не вор, а суду этому сторож. Никого нет, а я — тут!

Сплюнув под ноги себе, он долго, тщательно шаркает по камню панели тяжелой, кожаной галошей, растирая плевок, потом говорит:

— Я сомневаюсь: ежели решено простить всех, так это — рано. Сначала уничтожить надо всю преступность. Бумагу жечь, дома жечь — пустяки! Преступников искоренить надо сначала, а то опять начнем бумаги писать, суды, тюрьмы строить. Я говорю: сразу надо искоренить весь вред... Всю старинку.

Тряхнув головою, он добавил:

— Я вот пойду, скажу им, как надо...

Круто повернулся и пошел по Шпалерной, к Думе; люди проводили его неясной, насмешливой воркотней, один из них засмеялся и стал кашлять бухающими звуками.

Этот человек был первый, который решительно выдвинул не от разума, а, видимо, от инстинкта своего лозунг:

— Надо все искоренить.

Теперь, летом, речи на эту тему звучат все тверже и чаще.

Вчера, после митинга в Народном доме, бородатый солдат воодушевленно, заикаясь и глотая слова, размышлял пред толпою человек в полсотни:

— Они чего говорят? Они опять то самое, через что погибаем. Нет, братья, дадимтя им всего; натя, пейтя, ешьтя, разговаривайтя промеж себя, а нам, народу, не мешайтя! Мы — сами. Мы, значится, положили выполоть всю сор-траву вашу, мы желам выкорчевать все пенья, коренья — во-от! Так ли?

Люди десятками голосов утвердили:

— Так. Верно.

— То-то. Им надо прямо сказать: отходи, господа, в сторону, не путай, не мешай. Пей, ешь, а нас — не тронь. Они говорят: опять наступай, опять воюй. Не-ет, братья, мы уж наступили друг дружке на животы, не-ет! Так ли?

Толпа почти единогласно согласилась:

— Так.

Заявления о необходимости коренной — социальной — революции раздаются все громче, идут от массы. В массе возникает воля к самодеятельности, к жизни активной. Эта воля должна организовать ее, сделать политически зрячей.

«Вождям» не верят. На-днях в цирке «Модерн» молодой парень, видимо шофер, ловко играл созвучными словами «вожди» и «вожжи» — человек двести слушало его и одобряло смехом.

И с каждым днем жизнь принимает все более серьезный, строгий характер: всюду чувствуется напряжение ее сил...

САДОВНИК

17-й год, февраль.

Брызгая грязью на стены домов, на людей, по улице мчатся с грохотом и ревом автомобили. Они туго набиты солдатами, матросами и ощетинились стальными иглами

штыков, точно огромные, взбесившиеся ежи. Иногда сухо щелкают выстрелы. Революция. Русский народ суетится, мечется около свободы, как будто ловит, ищет ее где-то вне себя. В Александровском саду одиноко работает садовник, человек лет пятидесяти; коренастый, неуклюжий, он спокойно сметает лист и сор с дорожек и клумб, сгребает подтаявший снег. Его, видимо, нимало не интересует бешеное движение вокруг, он как бы не слышит рев гудков, крики, песни, выстрелы, не видит красных флагов. Наблюдая за ним, я жду, когда он поднимет голову, чтоб посмотреть на людей, бегущих мимо него, на грузовики, сверкающие штыками. Но, согнувшись, он упрямо работает, точно крот, и, кажется, так же слеп.

Март.

По улице, по дорожкам сада, направляясь к Народному дому, медленно шагают сотни, тысячи серых солдат, некоторые из них везут за собой на веревочках пулеметы, точно железных поросят. Это пришел из Ораниенбаума какой-то неисчислимый пулеметный полк; говорят, что людей в нем более десяти тысяч. Им некуда девать себя, они с утра бродят по городу, ищут пристанища. Обыватели боятся их, — солдаты устали, голодны и злы. Вот несколько человек уселось и разлеглось по краям большой круглой клумбы, разбросав на ней пулеметы, ружья, вещевые мешки. Не спеша, к ним подходит с метлой в руках садовник и сердито увещевает:

— Ну, где разлеглись? Тут — клумба, цветы посажены будут. Ослепли? Детское место. Вставай, уходи!

И сердитые, вооруженные люди покорно сползают с клумбы.

Июль, 6-ое.

Солдаты, в металлических шлемах, вызванные с фронта, окружают Петропавловскую крепость; не торопясь, они идут по торцам дороги, по саду, тащат пулеметы, небрежно несут ружья. Иногда тот или другой добродушно покрикивает обывателям:

— Расходись, сейчас стрелять будут!

Горожанам хочется посмотреть сражение, они молча, крадущейся лисьей походочкой, идут по следам солдат, прячутся за деревьями и вытягивают шеи, жадно заглядывая вперед.

В Александровском саду на куртинах цветут цветы, по дорожкам сада ходит садовник. Он в чистом переднике, в руках у него лопата, он покрикивает на зрителей и солдат, как на баранов.

— Куда? Куда лезешь на траву? Нет вам места по дороге?

Бородатый, железноголовый мужик в солдатской форме, держа ружье под мышкой, говорит садовнику:

— Гляди, дядя, застрелим...

— Иди, знай! Застрельщик...

— Воюем, брат...

— Ты воюй, а у меня свое дело.

— Это так. Покурить — нету?

Доставая из кармана кисет, садовник громко ворчит:

— Ходите где нельзя.

— Война!

— Мало ли что! Воевать — просто, а я тут — один! Ты вот ружье-то почистил бы, заржавлено ружье-то...

Верещит свисток, солдат, не успев закурить, бежит между деревьями, а садовник, плюнув вслед ему, кричит:

— Куда те черти понесли? Нет тебе дороги?..

Осень.

Садовник ходит по аллее с лестницей на плече, с ножницами в руках, подстригает деревья. Он похудел, съежился, платье на нем висит, как парус на мачте в безветренный день. Ножницы, перекусывая голые ветки, щелкают громко, сердито.

Глядя на него, я подумал, что ни землетрясение, ни всемирный потоп не могли бы помешать этому человеку делать его дело. И если б оказалось, что трубы архангелов, возглашающих конец мира, день страшного суда, недостаточно ярко блестят, человек этот, наверное, деловито и сурово упрекнул бы архангелов:

«Трубы-то почистили бы...»

ЗАКОННИК

Мокрым утром марта в 17 году ко мне пришел аккуратненький человечек лет сорока, туго застегнутый в поношенный, но чистый пиджачок. Сел на стул, вытер платком лицо и, отдуваясь, сказал, не без упрека:

— Высоконько изволите жить, для свободного народа затруднительно лазить на пятый этаж!

Ручки у него маленькие и темные, как птичьи лапы, стеклянные глазки строги, в них светится что-то упрямое, недоверчивое. На желтом, костистом лице острый и желтый, точно у грача, нос. Осторожно внюхиваясь, человечек осмотрел меня, полки книг и спросил:

— Действительно — господин Пешехонов будете?

— Нет, я Пешков.

— А это не одно то же самое?

— Не совсем.

Он вздохнул и, еще раз осмотрев меня, согласился:

— И непохоже: у того — бородка. Значит: я попал в недоразумение. — Сокрушенно покачал головою:

— Эдакие путаные дни!

Я сообщил ему, что, вероятно, он найдет А. В. Пешехонова по Каменноостровскому, в кинематографе «Элит», где организуется Комиссариат Петроградской стороны.

— У вас какое дело к нему, можно спросить?

Человек сначала независимо и громко высморкался, потом, взяв со стола книгу, посмотрел на корешок ее и наконец ответил:

— По обязанности свободного гражданина хочу предложить для расклейки на заборах небольшой закончик...

Чувствуя нечто курьезное, я осведомился: какой именно?

— А — вот-с!

Сунув руку за пазуху, он вынул и подал мне лист бумаги, сложенный вчетверо; крупными буквами, тщательно на бумаге было изображено:

«Обязательные постановления.

Настоящие постановления имеют цель в виду всеобщего возмущения строжайше охранять свободу, для чего

Немедленно:

Пунт 1. Арестовать всех лиц, которые обсуждают события и свободу скопцычески. Продолжая жить по старому обычаю как господа.

Пунт 2. А именно: одну жену содержателя публичного дома: в Новой Деревне в доме Иакова Федорова Анну Погосову по прозвищу Варнашку.

Пунт 3. и примечание. Означенная Варнашка злобно фыркает на его Благородие господина гражданина Пешехонова за неимение у него знака власти и штатский вид, а так же по причине законного отказа ей присвоить чужие бочки, хотя они даже бы и пустые.

Пунт 4. и продолжения примечания. А так же порицает бородку и вообще наружность. И говорила: что Свобода как Невинная Девушка стоит дорого. Ее нельзя хватать каждому.

Пунт 5. А посему: ее в первую очередь не взирая на отговорки.

Верно. Составитель закона

Иаков Федоров».

Прочитав закон, я попросил законодателя разрешить мне снять копию с его труда.

Прищурясь, он осведомился:

— Для какого намерения?

— На память!

Он бережно свернул лист, говоря:

— А вы, когда его расклеют, с заборчика сдерите.

Но я стал упрашивать его, и, подумав, он милостиво дал мне бумагу.

Пока я писал, он, принюхиваясь, рассматривал титулы книг на столе, вздыхал, покачивая головою, и ворчал:

— Многие теперь запрещены будут книги. Тоже закончик надо. Обязательно.

Кончив переписывать, я спросил его:

— Так, по-вашему, надо арестовать всех людей...

— Обязательно, которые скопцычески...

— Вы хотите сказать — скептически?

Но он строго поправил меня:

— Скопцы, значит — скопцычески. Исковеркавши слово, правду не скроешь. Скопцы — это которые не признают меня членом жизни.

Видя, что с ним трудно говорить, я спросил: чем он занимается?

— А — вот-с!

И человек угрожающе потряс в воздухе законом.

— А до законодательства — чем?

Он встал со стула, оправил пиджачок и сказал:

— Думал.

Потом, выпрямясь, недоверчиво проговорил:

— Значит — господин Пешехонов не одно то самое, что господин Горький? Писатель?

— Нет, не одно...

— Очень затруднительно понять это, — сказал он, вдумчиво прищурясь. — Как будто бы два лица, а выходит — три! Если же считать — трое, то будет два. Разве нарушение закона арихметики не запрещено властями?

— Властей еще нет...

— Н-да... Так! И — с точки зрения устава о паспортах — по двум паспортам жить не разрешается. Закон!

Неодобрительно кивнув головою, он пошел к двери, но по пути запнулся за что-то и, обернувшись, сказал:

— Извиняюсь, попал в недоразумение. Омрачен думами, хотя голова у меня светлая, как известно. Такое, знаете, время...

За дверью, набивая на ноги галоши, он ворчал:

— Тут сам Бисмарк... Не то — двое... не то — трое...

МОНАРХИСТ

В восьмидесятых годах по улицам Нижнего-Новгорода ходил, с ящиком на груди, остроглазый парень, взывая негромко, вопросительно и как-то особенно назойливо:

— Крестики нательные, поминаньица, шпилечки, булавки?

Часто встречая его, я заметил, что парень этот склонен к озорству: избрав какого-нибудь прохожего, он неотвязно шел сзади его, заходил сбоку и навязчиво выпевал:

— Крестики нательные, поминаньица?

Прохожий сердито отмахивался, иногда — ругался, а торговец, обогнав его, шел уже навстречу и, угодливо заглядывая в глаза раздраженного человека, снова предлагал ему крестики. Мне думалось, что этот парень ищет скандала, хочет, чтоб его толкнули, ударили, и почему-то я воображал, что торговля — дело не его души и что, наверное, он занимается еще чем-то более интересным, а может быть, и более опасным.

И я был несколько разочарован, когда парень этот поставил «ларек» в углублении церковной стены на бойкой Рождественской улице и стал торговать календарями и «листовками» Сытина, а через малое время ларек его вырос в лавку, с вывеской над нею:

«Книжная торговля В. Бреева».

Затем явилась в Нижнем розовенькая книжонка «Житие старца Федора Кузьмича». На обложке книги этой красовался портрет очень высокого, лысого старика с огромной бородою, а под ногами его напечатано:

Издание В. И. Бреева.

Я узнал, что книжка эта создалась при таких условиях: в трактире «Грачи» какой-то странник рассказывал легенду о таинственном сибирском отшельнике, Бреев тотчас же предложил «босяку» Терентьеву, бывшему учителю, написать «за целковый» житие старца. Оказалось, что Терентьев кое-что уже слышал о Федоре Кузьмиче, и ему удалось сочинить довольно занятное «житие»; оно разошлось в десятках тысяч экземпляров по всей Волге и по Оке, и Бреев хорошо заработал на нем.

Когда вышли первые книжки моих рассказов, Бреев явился ко мне, скромно, но солидно одетый в мохнатенький синий пиджачок, с тяжелыми серебряными часами в кармане жилета, с цепью «фальшивого золота» на груди и в новых скрипучих сапогах. От него сильно пахло ваксой, душистым мылом, он сиял улыбками и вдохновенно, негромко говорил:

— Позвольте изложить мечту сердца! Для прославления древнего нашего города и желая принести посильную пользу истории государства, затеял я издание сочинений небольшого размера о знаменитых земляках наших,

как то: Козьме Минине, патриархе Никоне, Аввакуме-протопопе, о Кулибине, Милии Балакиреве, господине Боборыкине, о Добролюбове, конечно, а также о Мельникове-Печерском и всех прочих талантах земли Нижегородской. Окажите делу этому литературную помощь...

Говорил он вполголоса, как бы «по секрету», гладко, надуманно и весь трепетал: двигал ногами, размахивал стареньким платочком, хватал меня за колени и вдруг, сунув руки в карманы, бряцал там чем-то, как медью лошадиной сбруи, потом отирал лицо ладонями, точно магометанин на молитве. Казалось, что он страдает накожной болезнью и все тело его нестерпимо чешется.

Было в нем что-то мохнатенькое, смешное, но почти приятное, эдакая русская, на все готовая бойкость. Его скуластое лицо украшалось на подбородке нерешительным клочком бесцветных волос, клочок этот конфузливо загибался к шее, как будто желая врасти в кадык концами волос. Волосы усов торчали колко, точно усики ячменного колоса, так же щетинисто и напряженно торчали они в бровях. Глядя на Бреева, я подумал:

«Вот таких и зовут «ежова голова».

Очень необычны были его глаза, — круглые, голые, зеленоватого цвета, они вдохновенно сияли, испуская щекочущие лучики или, вернее, пыль мелких искр. Казалось — вот сейчас они вспыхнут и на месте их останутся черные ямы.

Когда я отказал ему в «литературной помощи», он пронзительно высморкался, вздохнул и продолжал, не угашая вдохновения:

— Тогда — позвольте сделать другое предложение, более легкое для вас.

Встал и, точно стихи читая, проговорил в два удара:

— Интересность необыкновенной вашей жизни и новое ее начало — чистые денежки! И ежели вы согласны написать вашу автоисторию за пятьдесят рубликов, то я — вот он! — издатель вам!

Написать «автоисторию» я тоже отказался, но это не помешало Брееву издать составленную кем-то глупую книжонку, нечто вроде моей биографии. Издателю пригрозили судом, если он не уничтожит эту книжку.

— Поверьте сердцу земляка, — оправдывался Бреев, смешно подпрыгивая, — не из жадности к деньгам — что

есть деньги? — а только из патриотического взрыва чувств решился я обойти вашу скромность.

В 905 году мне сообщили, что В. И. Бреев избран председателем нижегородского отдела «Союза русского народа» и весьма энергично борется с крамолой, укрепляя самодержавие.

Затем, кажется, в 910 году, Бреев прислал мне на остров Капри письмо, в котором, воспевая доброту и великодушие царя Николая, убеждал меня покаяться во грехах и просить разрешения вернуться в Россию. Письмо было написано очень забавно и не рассердило меня. Я даже ответил Брееву, что эмигрантом себя не считаю, могу вернуться в Россию когда захочу, не испрашивая никаких разрешений, и прибавил к этому характеристику самодержавия; ответ мой был кем-то напечатан в «Манчестер гардиэн» под заголовком «Письмо к монархисту».

В 14 году, возвратясь в Россию, я узнал, что Бреев куда-то уехал из Нижнего, а в 17-ом, суетливым днем мая, меня вызвали к телефону, и я услышал взволнованный голос:

— У телефона — Бреев, Василий Иванович Бреев — помните? Мечтатель нижегородский?

Через час он вертелся на стуле предо мной, брызгая во все стороны быстрыми словами, такой же мохнатенький и забавный, каким был двадцать лет тому назад. Только ежовые волосики его стали мягче, потеряли свою колючесть, он подстриг сконфуженно изогнутую бородку и растрепанные усы, лишь брови его, как раньше, напоминали мне плавники молодого ерша. И так же, как раньше, молодо, бойко сияли зеленоватые глаза, сея пыль остреньких искр. Он был одет в какую-то толстую материю дымного цвета, в галстуке его сверкал бриллиант, на пальце левой руки — крупный рубин в золотом перстне, а в общем это был все тот же возбужденный человек, точно страдающий чесоткой.

Размахивая руками, он совал их в карманы брюк, пиджака, жилета, вытаскивал оттуда кусочки различных руд и приговаривал, катая их по столу:

— Золотоносный кварц! Вольфрам-с! Литографский камень редчайшего свойства! Неизвестный металл, никто не может сказать — какой именно! Все — мое! Сделаны

заявки. Приехал к вам как земляку, — помогите реализовать, так как вы в добром знакомстве с новыми правителями судеб наших!

Мой отказ помочь ему в этом деле нимало не охладил его, он только немножко удивился, заметив:

— Четвертый раз отказываете вы мне...

— Но я же ничего не понимаю в этом деле!

Он пожал плечами:

— А что ж понимать в золоте? Его — просто — добывать надо, чтобы жизнь наша озолотилась...

Прижмурил глаза и, качая головой, продолжал лирически:

— Если б вы знали, до чего неестественно богата Сибирь? Это даже не земля, а — вымя симментальской коровы-с, ей-богу! Пожалуйте доить! А — доить некому. Не умеем. Одни там искусные доильцы — это англичане на Лене...

Я спросил: давно ли он живет в Сибири?

— Три года, три. Как только началась бессмысленная эта война, так я — туда. Сердечно желаю рассказать вам необыкновенную карьеру моей жизни, будучи уверен, что вам, нижегородцу, приятно послушать историю преуспеяний земляка. Кому же знать удивительную жизнь русского человека, как не вам? Ведь вы, кроме того, что земляк, вы, так сказать, законный регистратор полетов русской души и самою судьбой вашей назначены к построению словесных монументов нам, людям древнего города, которому вся Россия обязана была, триста лет тому назад, спасением от преждевременной гибели...

Уходя, он спросил:

— Слышал — и вы тоже приглашаетесь в министры? Нет? Весьма жаль! Нам, нижегородцам, лестно было бы видеть министром своего человека.

Испытующе посмотрев на меня, он добавил:

— Хотя бы — по просвещению?

На другой день, вечером, Бреев, сидя у меня, взволнованный, потный, ощетинясь белобрысым волосом, двигая руками так, точно он тесто месил, рассказывал:

— Перелом жизни моей начался в обиднейшие годы японской войны. До той поры жил я единственно любовью к нашему красавцу городу, политика мне даже и не снилась, видел я другие сны, даже наяву видел их. Мечтал: разработаюсь, разбогатею и выстрою в Нижнем-Новгороде красивейший дом на удивление не токмо своих людей, но даже иностранцев. Чтобы из Парижа и Лондона приезжали смотреть дом Бреева! Чтобы напечатали в газетах: даже в провинциальных городах России строятся такие дома, каких у нас — нет!

Снизу, с улицы, поднимался тяжелый гул, ревели гудки автомобилей, неистощимым, серым потоком шли бородатые солдаты, тяжкий топот сотрясал землю, доносились чьи-то крики — раскачивалось и рушилось российское государство.

— Я — не дурак, размер сил своих знаю. Но ежели я, Васютка Бреев, блоха земли русской, могу так отчаянно чувствовать обиду этого позора, чтобы какой-то неизвестный народ бил великую мою державу, мать гениальных людей, — ежели моему малому сердцу обида эта так нестерпимо горька, каково же, думаю, другим-то русским, покрупнее, поумнее меня? С этого и началось озлобление мое против всей интеллигенции, людей образованных, так как в них я нашел только не понятное мне равнодушие сердца и ума к судьбам России. А озлобление — исток всякой политики, то есть я так понимаю политику: она есть озлобление.

— Соображаю: как же это? Что народ наш, армии наши бьют и вам того не жалко — это я могу понять: народ никому не жалко, он даже и сам себя жалеть не умеет, я народ знаю! Вы меня извините, но я считаю так, что вообще никакого народа нет, не существует народ до поры, пока не соберешь людей в кучу да не крикнешь на них, не испугаешь их, не прикажешь им. Народа, у которого был бы один интерес, — нету! Народ — это песок, глина! И, чтоб он годился для построения государства, его надобно очень много мять и на огне обжигать.

— Так — народа не жалко вам? Хорошо, согласен. А— мечту тоже не жалко? Человек живет мечтой, и больше ему нечем жить. Каждый из нас имеет настойчивое устремление к самому прекрасному, это и есть то

самое электричество, которое двигает людьми. Есть мечта о великолепном государстве, лучше которого нигде нет. У всех людей есть мечта, кроме, конечно, евреев, которые, потеряв землю под собою, могут мечтать только своекорыстно. Еврею мечта об украшении всеобщей жизни так же недоступна, как цыгану и всякому другому кочующему человеку. Я знаю, что вы с этим не согласны, у вас преданность евреям, не понятная никому, — извините, но я думаю, это искривление души, вроде болезни. Это я заглянул в сторону.

— Итак — 905 год. Шум на весь мир, все делают революцию, даже и такие, которые не умеют пришить пуговицу к собственным штанам. Все бегают по улицам женихами, но у некоторых, даже у многих — на душе похороны. И загорается мечта: триста лет тому иазад город Нижний-Новгород спас Россию от разрушения — не пора ли ему вспомнить подвиг свой? Что такое революция? Был у меня приказчик Леонидка, не глупый парень, он тоже записался в революционеры, орет ежедневно на всех улицах. Спрашиваю: «Ну, хорошо, Леонид, сделаешь ты революцию, а потом что будешь делать?» — «Я, говорит, как только все кончится и войдет в новое русло — грибами займусь, грибы разводить и мариновать буду, я, говорит, такой способ знаю, что у меня каждый гриб сорок процентов урожаю даст!» — «Дурак ты, говорю, разве можно грибов ради строй государства разрушать?» И так везде: кого ни спросишь о намерении революций, у всех оказывается в итоге что-нибудь мизерное, вроде грибов.

— Ну, мы, «черная сотня», оказали вашему, извините, безумию достойное сопротивление и даже кое-кого побили. Признаю, что некоторых — напрасно, как, например, знакомого вашего, аптекаря Гейнце. Что делать? В драке волос не жалеют. В праведниках убыль — чертям любо.

— Одержав победу над смутой, мы, коиечно, весьма возликовали и принялись за дело укрепления жизни. Подходили сроки значительные — 912, 13, столетие и трехсотлетие величайших событий. Я стал готовиться...

— Откровенно скажу вам, — затем ведь и сошлись, чтоб говорить без запятых, — открыто скажу: смелостью

письма вашего в ответ на мое я был даже восхищен: вот как нижегородцы пишут! Но согласиться с мыслями вашими — не мог, не могу и теперь, когда видимое основание империи рушилось и царь в плену своих подданных. Подумать жутко, до чего легко свел нас с ума несчастный этот союз с французами, — вот и мы низвергли трон!

— Да, так согласиться с вами — не могу я. Я — народ знаю. Ему совершенно наплевать, кто там, на троне, сидит, пускай хоть татарин или киргиз, лишь бы сидел и было бы за что уцепиться мечте. Народ живет мечтой, народу нужно иметь огромное воображение, чтобы помириться со своей жизнью, а жизнь эта дана ему на веки веков...

Я прервал речь Бреева, указав, что вот мы снова живем во дни революции, — он вскочил на ноги, лицо его побурело от возбуждения, он заговорил приглушенным голосом:

— Революция? Свобода? Полноте! Завтра же выскочит кто-нибудь, крикнет: «Цыц! Я вам покажу, как надо жить!» И — пойдут, и поведет, и дойдут снова до своей каторжной точки. Поверьте мне, уважаемый земляк: истинно народная свобода — это только свобода воображения. Жизнь для него не благо и никогда не будет благом, но всегда — ныне и присно — ожидание блага. Для народа нужен герой, праведник, генерал Скобелев, Федор Кузьмич, Иван Грозный, все едино — кто! И чем дальше, смутнее, недоступнее герой, тем больше свободы воображения и легче жить. Надо, чтобы кто-то жил-был! Сказка нужна. Не бог в небесах, а вот на темной земле нашей был бы кто-то великого разума и чудовищных сил. Чтобы он все мог. Захочет — и все счастливы, — вот какого надо вообразить!

— Так что доказывать народу, будто Романовы — немцы, бесполезное дело. Хоть — мордва, я вам говорю, я же знаю народ! Ему нужно не многовластие, не аглицкий парламент, он механику, машину не любит, он тайну любит. Нужна ему власть великой единицы, хотя бы эта единица была круглым нулем, он сам наполнит нуль силой воображения своего — да, да!

— Договорю о письме вашем: я все-таки снял с него пяточек копий и кое-кому землякам сунул, а подлинник

губернатору Хвостову отнес: «Вот, говорю, извольте видеть, что Горький пишет!» Зачем я сделал это? Надо же было познакомить нижегородцев с мыслями вашими, хотя мысли и вредные. Я ведь не на шутку патриот и хоть вы отбились от своей стаи, а все-таки — нашего леса ягода. А губернатору передал письмо, чтобы отвести от себя вину в распространении копий.

— Очень хотелось мне возвратить вас в землю отечества ко дням торжественного празднования великих сроков нашей грозной державы — к 12-му, 13-му годам!

Бреев зажал уши ладонями и, раскачивая голову, мигая острыми глазами, пробормотал:

— Сбивает мысли мои этот счет назад: 13—12, а потом — 14, неправильна эта передвижка цифр! Ежели бы избрание Ро́мановых состоялось в 11 году, а разгром дванадесяти язык — как он был — в 12-ом, так 14-го-то, может, и не было бы...

Выпустив голову из рук, он вздохнул и снова понесся:

— Мы, верующие в закон единовластия, собирались праздновать преодоление смуты и победу над Европой всемирно и громогласно с потрясающим великолепием и эдак бы с намеком: вот, мол, смотрите — Отечественная война против всей Европы, взятие Парижа, а — почему? Потому что триста лет назад Русь взята была счастливыми руками Романовых! Понимаете? Планчик этот родился в моей голове, и я даже отяжелел от разных соображений, как беременная женщина. Надо было так устроить, чтоб сияние празднеств затмило в памяти народа и горестную неудачу японской войны, и постыдные безумства, начатые Мазепой этим, Гапошкой-попом, и вообще все зловещие случаи прошлого, надо было показать солнечные дни истории нашей во всем их ослепительном великолепии.

Он подскочил в кресле, точно уколотый, и, упираясь ладонями в ручки его, наклонился вперед. Зеленая влага явилась на его глазах, потное, красное лицо побурело и расширилось, на скулах вздулись желваки и ноздри раздулись. Он шевелил кадыком, как будто хотел проглотить что-то и — не мог. С минуту он не мог овладеть волнением своим, потом стер слезы со щек круглым

жестом руки, криво усмехнулся и продолжал, все так же горячо, вполголоса, почти шопотом:

— Вдруг мне говорят: «Василий Иваныч, наш дружеский союз с Францией не позволяет шуметь по случаю Отечественной войны, а то союзники обидятся». Да-с, так и сказали! Возражаю: «Позвольте! Ежели мое умное лицо компаньону не нравится, так я должен дурацкую маску надеть?» Так мы, говорю, глупую маску эту давно уже носим, и весьма правы те, кто смеется, указывая, что когда самодержавный монарх танцует с республикой, так, пожалуй, у монарха у первого голова закружится. Да уж и закружилась: вот — у нас парламентик шумит, и господин Милюков в президенты насыкается.

— Вы, конечно, знаете, что франко-русский альянс этот понимался «Союзом русского народа» как несчастная ошибка, как дружба ястреба с медведем: один — в небесах, другой — в лесах, и оба друг другу ни на что не нужны. Мы справедливо думали, что для нас была бы полезнее дружба с немцами, дружба каменная, железная, величайшей несокрушимости дружба!

— Одним словом: празднование поучительной Отечественной войны не удалось, поиграли кое-где, на площадях, «12-й год», музыку Чайковского, и на том — уснули.

— Тем более ожесточенно начал я готовиться к юбилейному торжеству трехсотлетия Романовых — царей. Позвал учеников Академии художеств: «Пиши, ребята, картины из жизни Нижнего-Новгорода в 613 году, расписывай гробницу Минина, действуй во всю силу души!» Ну, они действительно постарались, превосходные картины были написаны ими; я потом открытые письма напечатал с этих картин и расторговался ими в десятках тысяч. Нанял баржу, устроил на ней выставку картин и повез ее вверх по Волге: гляди, народ, на какие дела был ты способен! Народ шел тысячами. Смотрит, мычит... Эх, народ, народ... Чугунное племя.

Закинув руки, скрестив пальцы на затылке, Бреев поднял лицо к потолку и, закрыв глаза, долго молчал.

— Большие это были дни в жизни моей, высоко чувствовал я себя. Все парадно, празднично, по всем городам волжским звон колокольный, музыка, и как будто

вся неприглядная жизнь наша вдруг стала императорской оперой. Высокие дни...

Он взял со стола чайную ложку, внимательно осмотрел ее и не торопясь, задумчиво согнул ложку вокруг пальца кольцом. Положил ее на стол, вздохнул, облизал губы.

— Жил я тогда в опьянении всех чувств, и тут постиг меня оглушительный удар. Представили меня царю Николаю, он весьма обласкал и даже вот перстень подарил, с рубином. Н-но, известный содержатель цирков Аким Никитин тоже царским перстнем хвастался мне...

— С царем у меня было, примерно, так: верили бы вы в некоего недоступного для вас человека, думали бы вы, что в человеке этом соединены все допустимые достоинства, вся сила, мудрость и святость России, он — как бы духовный стержень, проницающий сквозь все, ось народной жизни. И вдруг, волею безответной судьбы, поставлены вы глаз в глаз с этим человеком, и вдруг со скорбью, со страхом видите, что это — не то! Не то, чем жили вы, не ваша мечта. И блеск вокруг его, и великолепие внешности, а все — фольга! Так и я увидал пред собою не царя воображения моего, не владыку мечты и даже не большого человека, а — так себе человечка — на обыкновенных ногах. И даже как будто не умнее Василия Бреева, который, от юности своея, сам себе вожатый. А тут — обыкновенное лицо. Ну — ласковый, ну — приветлив, и — все.

Бреев встал, ощетинился, взмахнул рукою и выговорил с тихой, жуткой яростью:

— Р-русский царь должен быть страшен, жесток! Даже — видом страшен, не токмо характером. Или — сказочный красавец, или такой же сказочный урод, а — русский царь должен быть страшен и жесток...

Растирая горло, он подошел к окну, громко отхаркнул и плюнул на улицу, в неугомонный шум ее, а потом глухо спросил:

— Портрет царя Ивана Грозного работы художника Васнецова — видели? То-то-с! Вот — царь для русского народа. Помните — глазок у него, косит чуть-чуть? Это — царский глаз. Всевидящее око. Такой царь все видит и никому не верит. Сам! Самость у него в каждом пальце.

Пред ним тотчас как-то вытянешься и всего себя пощупаешь — все ли на тебе застегнуто? Царь царства, владыка владычества...

Бреев снова сел, облокотился о стол и продолжал более спокойно:

— Дальше рассказывать почти уже скучно. Оказался я сбитым с коня. Жил — как все, шапку носил — как все, а однажды открыл глаза: головы-то у меня и нету!

— А тут грянул четырнадцатый год, разразилась эта проклятая война. Ну, думаю, наступил конец России и надобно убираться куда-нибудь в щель поглубже, до конца дней. Решил ехать в Сибирь, откуда, через старца Федора Кузьмича, началось мое благополучие. Мы тогда, многие, думали, что немцы затолкают нас за Урал. Мы народ — знаем! Терпеть он способен, а сопротивляться — нет. Кроме того, поманило меня в Сибирь и еще одно обстоятельство: попала на глаза мои одна девушка, сибирячка, училась она в Казани, где у меня дом, книжная лавка, семья. Известно, что любовь годов не считает. Полюбили мы с ней друг друга, хотя мне за пятьдесят, а ей — двадцать. Я и говорю своим — жене, детям: «Работал я на вас всю жизнь, а теперь — довольно! Хочу сам жить. Беру пятьдесят тысяч, а все остальное и здесь и в Нижнем — ваше! Живите. Прощайте!» И — уехал.

— В Сибири, случайно, наткнулся на человека, знакомого с богатством земли, и — вот, занялся рудным делом. Надобно чего-нибудь строить, не привык я попирать землю праздными ногами. Мечту мою — потерял. Русь вижу в брожении и безумстве, извините! Народа своего — не узнаю. Конечно — не верю, что он долго будет колобродить и семечки лущить... Прижмут его к земле.

Бреев говорил нехотя и, видимо, не о том, что думал. Зеленоватые глазки его щурились, мерцали, снова я видел мелкие, острые искорки в потемневших зрачках. Он открывал рот, точно рыба, и быстро облизывал языком сухие темные губы. Вдруг, точно поперхнувшись каким-то словом, он взмахнул рукою, пресек свою речь, встал и схватился руками за спинку кресла. Было ясно, что у него неожиданно возникла какая-то жгуче волнующая мысль.

Он прищурил глаза, острые волосы бровей его знакомо ощетинились и дрожали. Сухо покашливая, он снова заговорил почти шопотом:

— Человек живет мечтой, говорю я. Большое, говорю, надо иметь воображение, чтобы принять жизнь за благо, без всякой злобы, без противоречия, а так, просто, как материал для обработки разумом. Человек же и народ без мечты — слепорожденный... И — поэтому...

Он закашлялся, потер себе рукою грудь, глаза его все разгорались.

— Этим наклоном человеческой души надо уметь пользоваться. Умейте разжечь пред людьми какую-нибудь понятную им красоту, и — они за вами пешком по морю пойдут! И всё простят, забудут все грехи и ошибки. А — потому...

Схватив обеими руками мою руку, он крепко сжал ее.

— Ведь вы — тоже человек мечты! И вот сейчас пред вами к-какая благородная задача! Талант ваш в один час может исправить все...

Он точно бредил, дрожал весь и казался обезумевшим. Меня не очень удивило, когда он, дергая мою руку, зашептал в ухо мне:

— Спросите — как? Очень просто. В народе ходит сказание: неизвестный старец Федор Кузьмич — это Александр Благословенный, Григорий Распутин — сын русского царя от простой крестьянки, а цесаревич Алексей — сын Распутина, внук Александра Благословенного, цесаревич народной крови! Понимаете? Искупление! Все грехи прошлого, все ошибки омыты истинно русской, чисто народной кровью. Царь мужицких кровей, а?

— Ну, — пусть не так все это, пусть не так, но — поверьте же! — здесь правды не нужно, тут мечта нужна, на голой правде государства не построишь, нет такого государства! И вот, ежели бы вы талантом вашим послужили великому делу воскресения мечты, истинно государственной, подлинно русской...

Он поднял руки, точно вознося, и с безумной — или детской? — улыбкой воскликнул хрипло, захлебываясь словами:

— И — подумайте! — а мне-то, Брееву-то, Васютке, Василью-то Иванычу — каково бы это? Начал я жизнь

силою таинственного старца Феодора, — а Феодор-то ведь Филарет! — отец Михаила Романова! — и кончил бы я жизнь мою, вознеся имя его на высоту высот, а? Сказка? А?

Внизу, на улице, оглушительно шумел русский народ, разрушая, ломая тысячелетием созданную железную клетку государства...

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТИПЫ

В эту весну, с первых же ее теплых дней, на улицы Петербурга выползли люди фантастические, люди жуткие. Где и чем жили они до сей поры? Воображаешь, что в какой-то трущобе разрушен огромный, уединенный дом, там все эти люди прятались от жизни, оскорбленные и отверженные ею. Навязчиво думается: они что-то забыли и вспоминают, тихо ползая по городу.

Они оборваны, грязны, видимо очень голодны, но — не похожи на нищих и не просят милостыни. Молчаливые, они ходят осторожно, смотрят на обыкновенных горожан с недоверчивым любопытством. Останавливаясь пред витринами магазинов, они рассматривают вещи глазами людей, которые хотят догадаться или вспомнить: зачем это нужно? Автомобили пугают их, как пугали деревенских баб и мужиков двадцать лет тому назад.

Высокий, темнолицый старик с провалившимися глазами, кривым носом и зеленоватой бородою, вежливо приподняв измятую шляпу, с дырой на тулье, спрашивает прохожего, указывая длинной рукой вслед автомобилю:

— Электричество? Ага... Благодарю.

Ходит он выпятив грудь, гордо подняв голову, никому не уступая дороги; смотрит на встречных отталкивающим взглядом прищуренных глаз. Он — босой и, касаясь ступнями камня панелей, подгибает пальцы, словно пробуя прочность камня.

Празднично настроенный, бойкий юноша спросил его:

— Вы — кто?

— Вероятно —человек.

— Русский?
— Всю жизнь.
— Военный?
— Возможно.
И, оглянув юношу, он сам спрашивает:
— Делаете революцию?
— Сделали!
— Ага...
Старик отвернулся и стал разглядывать витрину букиниста, взяв себя за бороду левой рукою. Юноша, вертясь около него, спросил еще что-то, но старик, не взглянув на него, сказал спокойно, негромко:
— Идите прочь.

На Семионовской улице, прижавшись к церковной ограде, стоит женщина лет сорока; желтое лицо ее опухло, глаз почти не видно, рот полуоткрыт, точно она задыхается. Ее голые ноги всунуты в огромные башмаки, на башмаках толстая корка сухой грязи. Она окутана в нанковый мужской халат, руки ее сложены на груди, голову украшает соломенная шляпа с измятыми листьями и одной ягодой вишни; ягод была целая гроздь, но осталась только одна, голые стебли и какие-то осколки, блестящие, как стекло. Сдвинув густые, красиво изогнутые брови, она внимательно смотрит, как люди втискивают друг друга в вагоны трамвая, как они выпрыгивают, вываливаются с площадок вагонов и бегут во все стороны. Губы женщины вздрагивают, точно она считает людей. А может быть, ожидая кого-то, припоминает слова, которые необходимо сказать при встрече. В красных, узеньких щелках опухших глаз ее светится что-то недоброе, сухое и режущее. Она брезгливо сторонится мальчиков и девочек, торгующих папиросами, раза два, три она даже отталкивала их движениями то локтей, то бедра.
Ее тихонько спросили:
— Может быть, вы нуждаетесь в помощи?
Смерив спросившего сердитым взглядом, она ответила так же тихо:
— С чего это вы взяли?
— Извините.

Рядом с нею стояла чистенькая старушка в кружевной наколке, продавая какие-то пеньковые или глиняные лепешки. Женщина спросила ее:

— Вы — дворянка?

— Купчиха.

— А... Сколько жителей в этом городе?

— Не знаю. Много.

— Ужасно много!

— Вы — приезжая?

— Я? Нет. Я здешняя.

Покачнулась и, кивнув старушке смешной головою, пошла к цирку, шаркая по камням тяжелыми башмаками; они спадали с голых, грязных ног ее.

...Она сидит на скамье в саду за цирком, рядом с нею, опираясь на палку, тяжело дышит большая, грузная старуха с каменным лицом, в круглых, черных очках, одетая в остатки шубы, в клочья шелка и серого меха.

Проходя мимо, я слышу хриплый голос, резкие слова:

— Последний порядочный человек в этом городе умер девятнадцать лет тому назад...

А старуха кричит, как глухая:

— Окружный суд сгорел, ходила смотреть, одни стены остались. Сгорел. Наказал бог...

Женщина в огромных башмаках говорит в ухо ей:

— Мои — в тюрьме. Все.

Мне послышалось, что она смеется.

Быстро, мелкими шагами ходит, почти бегает маленький, очень волосатый человечек с лицом обезьяны, с раздавленным носом. Темносиние зрачки его глаз беспокойно расширены, их окружает тоненькое, опаловое колечко белков. Парусиновое пальто не по росту ему, полы обрезаны неровно и висят бахромой, — точно собаки оборвали их. На ногах у него растоптанные валенки. Он без шляпы, на голове торчат серые вихры, густая, сильно поседевшая борода растрепанно растет из-под глаз, под скулами, из ушей. Он бегает и тревожно бормочет что-то, размахивая руками, часто и крепко переплетая пальцы их.

На бульваре, около Народного дома, он говорил солдатам:

— Поймите, — вам особенно нужно понять это! — человек счастлив только тогда, когда помнит, что он — человек ненадолго, и мирится с этим...

Говорит он тихонько, тонким голоском, а по внешнему его виду ждешь, что он должен бы рычать. Он качается на ногах, одна его рука прижата к сердцу, кистью другой он дирижирует, — руки у него тоже волосатые, на пальцах темные кустики. Пред ним, на скамье, трое солдат грызут семечки, сплевывая шелуху в живот и на ноги человека, четвертый солдат — с красной ямой на щеке — курит и старается вдунуть струю дыма в рот и нос оратора.

— Утверждаю: бесполезно возбуждать в нас, людях, надежды на лучшее, это даже бесчеловечно и преступно, это значит — поджаривать людей на огне...

Солдат заплевал окурок папиросы, подбросил его щелчком пальца в воздух и, вытянув ноги, спросил:

— Кем нанят?

— Что? Я?

— Ты. Кем нанят?

— Что значит — нанят?

— То и значит. Буржуями нанят, жидами?

Человек, растерянно улыбаясь, замолчал, а один из трех солдат лениво посоветовал допросчику:

— Дай ему пинка в брюхо.

Другой сказал:

— У него и брюха-то нет.

Человечек отступил на шаг, сунул руки в карманы, потом вырвал их оттуда, крепко сжал:

— Я говорю от себя. Я — не нанят. Я тоже думал и читал, верил. Но теперь я знаю: человек — ненадолго, все разрушается, и он...

Солдат с ямой на щеке крикнул свирепо:

— Брысь!

Человечек побежал прочь, поднимая валенками пыль, а солдат сказал товарищам:

— Стращает, сволочь. Будто мы его не понимам. А мы — всё понимам...

Вечером этого же дня человечек рассуждал, сидя на скамье у Троицкого моста:

— Поймите: в сущности, человек большинства, простой человек, тот, кого мы считаем дураком, он-то и есть

настоящий строитель жизни. Большинство людей — глупо...

Его слушали: рябой, кривоногий матрос, широкий и тяжелый, милиционер, толстая женщина в синем платье, трое серых людей — видимо, рабочие, и юноша-еврей, зашитый в черную кожу. Юноша горячился; он ехидно спрашивал:

— Может быть, и пролетариат — дурак, а?

— Я говорю о людях, которые хотят очень немногого и прежде всего, чтоб им не мешали жить, как они умеют...

— Это — буржуи, да?

— Стойте, товарищ! — тяжело сказал матрос. — Пускай говорит...

Оратор мотнул головою в сторону матроса:

— Благодарю вас.

— Не на чем.

— Человек глуп только с нашей книжной точки зрения, но сам он вполне доволен количеством разума, данного ему природой, и хорошо владеет им...

— Верно! — сказал матрос. — Дуй дальше!

— Он — человек ненадолго, знает это и не смущается тем, что через некоторое время ему нужно будет лечь в могилу...

— Все умрем, верно! — повторил матрос, подмигнув кожаному юноше, и широко усмехнулся, заставив этим подумать, что он твердо уверен в личном бессмертии своем.

А волосатый оратор продолжал все так же тихо, очень странным тоном, как будто он просил, умолял верить ему:

— Он не хочет беспокойной жизни надеждами, его удовлетворяет медленно текущая, тихая жизнь под ночными звездами. Я утверждаю: возбуждать несбыточные надежды в людях, которые вообще — ненадолго, это значит: путать их игру. Что может дать коммунизм?

— Ага! — сказал матрос, уперся ладонями в колени, качнулся вперед и встал на ноги:

— Н-ну, идём!

— Куда? — спросил волосатый человечек, отступая.

— Я знаю куда. Товарищ, прошу и вас следом за мной...

— Ах, оставьте его, — презрительно сказал юноша, отмахиваясь рукою.

— Прошу следовать! — повторил матрос тише, но рябое лицо его побурело и глаза сурово мигнули.

— Я — не боюсь, — сказал волосатый, пожимая плечами.

Баба, перекрестясь, пошла прочь, милиционер тоже отошел, ковыряя пальцем замок винтовки, а трое остальных встали на ноги так машинально, так одновременно, как будто у всех троих была одна воля.

Матрос и кожаный юноша повели арестованного к Петропавловской крепости, но двое прохожих, догнав их на мостике, стали уговаривать матроса отпустить философа.

— Не-ет, — возражал матрос, — ему, пуделю собачьему, надо показать, сколько недолго живет человек.

— Я — не боюсь, — тихо повторил пудель, глядя под ноги себе. — Но я удивляюсь, как мало вы понимаете.

Он вдруг круто повернулся и пошел назад, к площади.

— Глядите — уходит! — удивленно и негромко сказал матрос. — Идет! Эй, куда?

— Ах, оставьте, товарищ, вы же видите — ненормальный...

Матрос свистнул вслед волосатому человечку и, усмехаясь, сказал:

— Чорт, ушел, и — никакого шума! Храбрый, собака, действительно совсем без рассудка...

Около Народного дома шныряет, трется между людей остроглазый старичок в порыжевшем котелке, в длинном драповом пальто с воротником шалью. Он останавливается у каждой группы и, склонив головку набок, ковыряя землю палкой с костяным набалдашником, внимательно слушает: что говорят люди? У него кругленькое, мячом, розовое личико, круглые мерцающие глаза ночной птицы, под ястребиным носом серые, колючие усы, а на подбородке козлиный клок светложелтых волос, — быстрыми движениями трех пальцев левой руки

он закручивает его, сует в рот и, пожевав губами, выдувает изо рта:

— Пп!

Ввертывается плечом в тесноту людей, точно прячется среди них, и раздается его наяривающий голосок, быстрые, четкие слова:

— Это я знаю, которые сословия нам особенно вредны и уничтожить надо дотла, чтобы даже косточки в пыль...

Его очень внимательно слушают солдаты, рабочие, прислуга и «женщины для удовольствия», слушают, глядя ему в рот и как бы всасывая наяривающие слова. Говоря, он держит палку свою поперек туловища и быстро перебирает пальцами по ней, как по флейте.

— Первое: чиновники всех чинов; сами знаете, какое это наказание и досада нам, — чиновники, что злее их? Суды, тюрьмы, канцелярии — всё в их руках. Каково? У них, как у фокусников, кабинеты разных тайн. Их в первую голову — уничтожить...

Какая-то рыжая девушка, видимо, горничная, сердито спросила:

— А сам-то кто? Тоже, поди, чиновник?

Он торопливо и обиженно отрекся:

— Никогда я ничем не занимался против бедного народа, никогда ничего не делал. Я — гадатель, прорицатель, я будущую жизнь знаю...

Ему предложили погадать.

— Это — дело тайное, на людях нельзя!

А на вопрос: «Что с нами будет?» — он ответил, опустив глаза:

— Плохо будет, если, начав дело, сразу не кончим, плохо! Зубы рвать надо с корнем. Чиновников — скосить. Также и ученую часть, и ее, — не служи ослеплению разума нашего, не выдавай копейку за рубль, да! Мы, дескать, ученые, вы, дескать, слушайте нас, мы вам законы напишем! Написали, наклеили везде закон: «Не пейте сырой воды!» А? Эхе-хе-хе...

Он не то смеялся, не то вздыхал, выпуская из округленного рта это яростное:

— Эхе-хе-хе-е...

И, кривя личико, торжествуя, спрашивал:

— А мы — как: пьем ее, сырую-то, али не пьем, а?

Публика, посмеиваясь, отвечала в несколько голосов:

— Пьем.

— Живы, а?

— Будто — живы.

— То-то! Вот они, законы эти. Во-от! За это и — скосить...

И, убежденный, что он сделал свое дело, человек этот вывертывался из толпы, шагал прочь, помахивая палкой, а в новой группе снова наяривал:

— Два, два сословия особенно в язву нам, в боль и скорбь...

Несомненно, он тоже вылез из какого-то темного угла, куда его затискала жизнь и где он годы одиноко торчал, корчился, накопляя злобу и месть.

Возбуждающих вражду против интеллигенции, видимо, не мало; мне кажется, что чаще всего это дворники, лакеи, кухарки, вообще — домашняя прислуга.

После одного из митингов в цирке «Модерн» краснолицая, толстая женщина рассказывала солдатам, «как живут господа», рассказывала остроумно и такими словами, что из десяти даже трех не напишешь. Солдаты бешено хохотали и плевались смачно, слушая, как действовал доктор, специалист по женским болезням, как вела себя еврейка-дантистка и как «обрабатывал» своих учениц актер.

— Бить эту сволочь, — сурово сказал черный солдат с подвязанной челюстью, — бить ее до последнего колена...

А в другой группе хромой человек лет сорока, безволосый, как скопец, кричал:

— Я всю жизнь в конюшне с лошадями, в навозе, а они в превосходных квартирах на мягких диванах с собачками играют. Нет, стой! Это я желаю с собачками играть, а вы — марш в конюшню, да? Почему — не так, почему, ну?

Страшно и нещадно говорила молодая женщина, одноглазая, с лицом, сожженным серной кислотой:

— Глядите в библию — есть там господа? Нет господ в библии! Цари есть, судьи, пророки, а господ — нет!

И сам бог приказывал избивать племена, в которых господа были, поголовно все такое племя истреблять велел, с женами и детьми, и с рабами даже. Потому что от господ и слуги испорчены, и слуги уже — не люди, нет!

— Удавись, тетка, — посоветовали ей из толпы.

Но она, сжимая руками круглые высокие груди свои, кричала резко и звонко:

— Я одиннадцать лет в горничных жила, и видела я...

Она видела много такого, чего не знал Октав Мирбо, когда писал «Дневник горничной», и, когда она говорила о том, что видела, ее слушали без смеха, молча, мрачно.

И только когда она ушла, вся красная и потная от возбуждения, курносенький солдатик сказал, глядя вслед ей:

— Не зря бабе этой рожу испортили...

ОТРАБОТАННЫЙ ПАР

...Стекла окна посинели, костистое лицо моего собеседника стало темнее, особенно густо легли тени в ямах под глазами. Мне показалось, что растерянно блуждающий взгляд его стал сосредоточеннее, углубился; скучные слова жалоб зазвучали значительнее, раздраженный и сиплый голос — мягче. Безжалостно и, должно быть, до боли туго накручивая на палец бесцветные волосы жиденькой бороды, он говорил:

— Народ, торжествующий свободу, я видел во сне, лет десять тому назад; тогда я сидел в орловской тюрьме и еще свежи были впечатления девятьсот пятого года. Вы знаете, как зверски били людей в орловской тюрьме. Да. Сон мой начался кошмаром: кучка людей, и среди них Борисов, наборщик, мой ученик, тыкала, размешивала палками чье-то растерзанное тело. Я спросил Борисова:

— «За что вы истерзали человека?»

— «Это — враг!»

— «Но — человек же?»

— «Что-с? — крикнул Борисов и замахнулся на меня палкой. — Бей его!»

— Но палка вывалилась из рук, он протянул их вперед и зашептал с восторгом, приплясывая:

— «Глядите, — вот, идут, кончено, идут!»

— Шли неисчислимые массы одухотворенных людей, я видел неестественный какой-то, звездный блеск тысяч глаз. Именно в этих глазах почувствовал я самое главное — воскрес народ! Понимаете? Воскрес, преобразился духовно. И я тотчас исчез в нем, точно, вспыхнув, сразу сгорел.

Гость мой постучал карандашом о край стола, прислушался к сухим звукам и постучал еще.

— Теперь я вижу торжествующий народ наяву, но чувствую себя чужим среди него. Он торжествует, но в нем нет для меня того нового, что я видел во сне, и в чем смысл, — нет перевоплощения. Он торжествует, я истратил лучшие силы мои, чтоб подготовить это торжество, и — остался чужд ему. Очень странно...

Взглянул в окно, послушал; осторожно, неуверенно звонили ко всенощной, в Петропавловской крепости щелкал пулемет: солдаты или рабочие изучали технику защиты свободы.

— Может быть, я, как многие, вообще не умею торжествовать. Энергия ушла на борьбу, на желание, способность наслаждаться обладанием убита. Может быть, это просто бессилие. Но дело в том, что я вижу много злобы, мести и совсем не вижу радости, той радости, которая перевоплощает человека... И веры в победу — не вижу.

Он встал, оглянулся, слепо мигая, протянул руку и, пожимая мою, сказал:

— Мне плохо. Как будто Колумб достиг, наконец, берегов Америки, но — Америка противна ему.

Ушел.

...Ныне многие чувствуют себя так, как этот. А он — точно сторожевой пес на исходе дней собакиной жизни: от юности своей рычал и лаял пес так честно, с непоколебимой верой в святость своего дела, получал в награду за это пинки. Вдруг — видит: сторожить было как будто нечего, никому ничего не жалко. Зачем же он сидел всю

жизнь в темной будке «долга», на цепи «обязанностей»? И — до безумия обидно старой, честной собаке...

...Другой из людей этого типа сказал о революции:

— Мы, как влюбленные романтики, обожали ее, но пришел некто дерзкий и буйно изнасиловал нашу возлюбленную.

Соседний вагон «буксует», ось надоедливо визжит:

— Рига-иго-иго, рига-рига-иго...

А колеса поезда выстукивают:

— По-пут-чик, по-пут-чик...

Попутчик — человек до того бесцветный, что при ярком солнце он, вероятно, невидим. Он как бы создан из тумана и теней, черты голодного лица его неразличимы, глаза прикрыты тяжелыми веками, его тряпичные щеки и спутанная бородка кажутся наскоро свалянными из пеньки. Измятая, серая фуражка усиливает это сходство. От него пахнет нафталином. Поджав ноги, он сидит в уголке на диване, чистит ногти спичкой и простуженным голосом тихонько бормочет:

— Истина — это суждение, насыщенное чувством веры.

— Всякое суждение?

— Ну да, всякое...

— Иго-иго-рига...

За окном, в сумраке осеннего утра, взмахивают черными ветвями деревья, летят листья, искры.

— У пророка Иеремии сказано: «Отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина на зубах». Истина детей наших — вот эта самая оскомина. Мы питались кислым виноградом анализа, а они приняли за истину неверие и отрицание.

Он окутал острые колена свои полою парусинового пыльника и, внимательно ковыряя спичкой ногти, продолжал:

— Перед тем, как уйти в Красную Армию, сын мой сказал мне: «Вы честный человек, откройте же глаза и посмотрите: ведь в теории все основы жизни уже разрушены вашей же, вашего поколения долголетней и всесторонней критикой, — что же, собственно, вы защищаете?»

Сын мой был неумен, он формировал мысли свои книжно и неуклюже, но он был честный парень. Он стал большевиком тотчас после опубликования тезисов Ленина. Сын мой был прав, потому что он веровал в силу отрицания и разрушения. Разумом и я согласился с большевизмом, но сердцем — не могу принять его. Так я и сказал следователю Чеки, когда меня арестовали как контрреволюционера. Следователь — юноша, щеголь и, очевидно, юрист, он допрашивал меня весьма ловко. Он знал, что сын мой погиб на фронте Юденича, и относился ко мне довольно благожелательно, однако я чувствовал, что ему приятнее было бы расстрелять меня. Когда я намекнул ему о противоречии моего сердца с разумом, он задумчиво сказал, ударив ладонью по бумагам: «Мы это знаем из ваших писем к сыну, но, разумеется, это не улучшает вашего положения». — «Расстреляете?» — спросил я. Он ответил: «Это более чем вероятно, если вы не захотите помочь нам разобраться в этом скучном деле». Ответил без смущения, но с эдакой, как бы извиняющейся усмешкой. Кажется, я тоже улыбался, мне понравилось его отношение к своему долгу. И еще более он подкупил меня, сказав так, знаете, просто, как самое обыкновенное: «Может быть, для вас и лучше — умереть, не правда ли? Ведь жить в таком разрыве с самим собой, как вы живете, должно быть — мучительно?» Потом извинился: «Извините за вопрос, не идущий к делу».

— Иго-рига-рига, иго-иго, — визжит ось.

Позевывая, ежась, человек смотрит в окно, струйки дождя текут по стеклу.

Я спрашиваю:

— И все-таки он освободил вас?

— Как видите. Вот — жив. Как видите.

И, обратив ко мне пеньковое лицо свое, человек сказал с легкой насмешкой и вызовом:

— Я помог ему разобраться в некоторых вопросах следствия...

— По-пут-чик, по-пут-чик, — стучат на стыках колеса поезда. Усиливается дождь, — ось визжит еще более пронзительно.

— И-гуи-гуигу-игуи...

...В стеклянном небе ожесточенно сверкает солнце июльского полудня. Город задохнулся в жаре, онемел, молчит, лишь изредка возникают неясные звуки, бредовые слова.

Гнусавенький фальцет задумчиво тянет песню:

Над серебряной рекой
В золотом песочке
Я девчонки молодой
Все искал следочки...

Густой голос сердито спрашивает:

— Куда вас, под утро, гоняли?

— Расстреливать.

— Многих ли?

— Трех.

— Мычали?

— Зачем?

— Без крику, значит?

— Они — без капризу. У них тоже своя дисциплина: набедовал и — становись к расчету.

— Господа?

— Будто — нет. Крестились.

— Стало быть — простяки.

Минута молчания, потом снова заныл фальцет:

Ясный месяц — укажи...

— Ты — стрелял?

— А — как же...

Иде она гуля-ала...

Густой голос насмешливо говорит:

— Про девчонок вот поешь, а рубаху сам чинишь. Обормот...

— Погоди, будет и девчонка. Все будет...

Тихий ветер, расскажи,
О чем р-размышляла...

...Колонны зала украшены кумачом и нежной зеленью березовых ветвей. Сквозь узоры листьев блестят золотые буквы, слагаясь в слова:

«Пролетарии... Да здравствует...»

В открытые окна свежо дышит весна, видны черные деревья и звезды над ними.

В углу зала черный человек, изогнув тонкую шею, колотит длинными руками по клавишам рояля. По полу скользят, извиваясь, матросы и рабочие, обняв разноцветных девиц, гулко шаркая ногами, притопывая. Дьявольски шумно, неистово весело.

— Гранд-ром, черти! — с отчаянием орет великан-юноша, в белых башмаках и синей рубахе, вихрастый, со шрамом на лбу и на щеке. — Стой, — не гранд-ром, а — как его? Хватайся за руки, кругом — мар-рш!

Образуется визгливый хоровод, кружится вихрь разноцветных пятен, гудит пол под ударами каблуков, тревожно позванивает хрусталь огромной люстры.

За колонной, под складками багряного знамени, приютилась отплясавшая пара: гологрудый, широкоплечий матрос, рябой и рыжий, с ним — кудрявенькая барышня в голубом. Серенькие глаза ее удивленно блестят, — должно быть, еще впервые так покорно сгибается пред нею большой такой зверюга, заглядывая в фарфоровое личико ее добрыми, круглыми глазами. Она обмахивается беленьким платочком и часто мигает, ей, видимо, и страшно и приятно.

— Ольга Степановна, позвольте снова задеть ваше религиозное чувство...

— Ой, погодите, жарко...

— Нет, все-таки! Хорошо: допустим это — бог! Ну, ведь бог штучка воображаемая, а я — реальный факт, однако как будто не существующий для вас.

— Вовсе — нет...

— Позвольте! Разве это мне не обидно? Предмет воображения заводит вас в пустоту неизвестности и в беспомощность, а перед вами человек, готовый хоть куда ради милой вашей души...

— Р-равняйсь по дамам! — грозно командует великан, подняв руку над головою. — Беги восьмерками вокруг колонов!

— Пожалуйте, Ольга Степановна...

Он подхватывает барышню так, что ноги ее, оторвав-

шись от пола, мелькают в воздухе, и бросается с нею в пестрый, шумный вихрь пляски.

Потом она, задыхаясь, сидит на подоконнике, а он, стоя пред нею, вполголоса, очень убедительно говорит:

— Конечно, мы — люди нового характера, народ прямой, однакож мы не звери, не черти...

— Разве я говорю что-нибудь подобное? Ничего подобного...

— Позвольте! Если вы обязательно желаете венчаться в церкви, то, конечно, это пустяки, однако товарищи могут смеяться надо мной...

— А вы не говорите никому...

— Тихонько? Даже и на этот поступок против атеизма я готов ради милой вашей души; однакож, Ольга Степановна, лучше будет, ежели мы начнем привыкать к атеизму, ей-богу! Жить надо, Ольга Степановна, на свои средства, без страха, и — вообще довольно боялись! Теперь никого не надо бояться, кроме как самого себя. Вы — что, товарищ? Вы, собственно, чего желаете? Может быть, этого?

Медленно поднимается в воздухе кулак, объемом с полупудовую гирю.

А на средине зала неистово кричит главнокомандующий танцами, великан:

— Отступление от барышень на два шага и поклон, — р-раз, два-а! Барышни выбирают кавалеров, кому который нравится, — без стеснения...

ИЗ ПИСЬМА

Из письма гражданина Ф. Попова:

«Так как знаменитый Дарвин твердо установил факт необходимости борьбы за существование и ничего не имеет против уничтожения слабых, то есть не способных к полезному труду людей, и принимая во внимание, что в древности и без Дарвина знали это: стариков отвозили в овраги на смерть от голода или, посадив на деревья, стряхивали их оттуда, чтоб они разбились, — то отсюда ясно, что наука опередила нашу приторную мораль. Однако протестуя против неразумной жестокости,

я предлагаю следующее: уничтожать не способных к социально полезной работе мерами более сострадательного характера, примерно: окармливать их чем-нибудь вкусным, ветчиной или сладкими пирогами со стрихнином, а дешевле — с мышьяком. Эти гуманные меры смягчили бы формы борьбы за существование, ныне повсеместной. Так же следует поступать с идиотами, деревенскими дурачками, некоторыми калеками и неизлечимо больными чем-нибудь вроде чахотки или рака. Такое законодательство, конечно, не понравится нашей ноющей интеллигенции, но пора уже решительно перестать считаться с ее реакционной идеологией».

МИТЯ ПАВЛОВ

Где-то в Ельце умер от тифа Митя Павлов, земляк мой, рабочий из Сормова.

В 905 году, во дни Московского восстания, он привез из Петербурга большую коробку капсюлей гремучей ртути и пятнадцать аршин бикфордова шнура, обмотав его вокруг груди. От пота шнур разбух или слишком туго был обмотан вокруг ребер, но — войдя в комнату ко мне, Митя свалился на пол, лицо его посинело, глаза выкатились, как это бывает у людей, умирающих от асфиксии.

— Вы с ума сошли, Митя? Ведь вы могли дорогой упасть в обморок — понимаете, что тогда было бы с вами?

Задыхаясь, он ответил виновато:

— Пропал бы шнур и капсюли тоже...

М. М. Тихвинский, растирая грудь его, тоже ворчливо ругался, а Митя, щурясь, спрашивал:

— Сколько будет бомб? Разобьют нас? Пресня держится?

Потом, лежа на диване, указав глазами на Тихвинского, который рассматривал капсюли, спросил шопотом:

— Это он здесь бомбы делает? Профессор? Из рабочих? Да — ну-у?

И вдруг беспокойно осведомился:

— А не взорвет он вас?

О себе же, о той опасности, которую он только что чудом избежал, — ни слова.

...Иногда мне кажется, что русская мысль больна страхом пред самою же собой; стремясь быть внеразумной, она не любит разума, боится его.

Хитрейший змий В. В. Розанов горестно вздыхает в «Уединенном»:

«О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать? Теперь уже я не умру спокойно, как надеялся».

У Л. Толстого в «Дневнике юности» 51 г. 4. V сурово сказано:

«Сознание — величайшее моральное зло, которое только может постичь человека».

Так же говорит Достоевский:

«...слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь... много сознания и даже всякое сознание — болезнь. Я стою на этом».

Реалист А. Ф. Писемский кричал в письме к Мельникову-Печерскому:

«Чорт бы побрал привычку мыслить, эту чесотку души!»

Л. Андреев говорил:

«В разуме есть что-то от шпиона, от провокатора».

И — догадывался:

«Весьма вероятно, что разум — замаскированная, старая ведьма, — совесть».

Можно набрать у русских писателей несколько десятков таких афоризмов — все они резко свидетельствуют о недоверии к силе разума. Это крайне характерно для людей страны, жизнь которой построена наименее разумно.

Любопытно, что и П. Ф. Николаев, автор книги «Активный прогресс», человек, казалось бы, чуждый этой линии мысли, писал мне в 906 году:

«Знание увеличивает требования, требования возбуждают неудовлетворенность, неудовлетворенный человек — несчастен, вот почему он и социально ценен и симпатичен лично».

Совершенно непонятная и какая-то буддийская мысль.

Впрочем, и Монтень печально вздыхал:

«К чему вооружаемся мы тщетным знанием? О, сколь сладостно и мягко изголовье для избранных — незнание и простота сердца».

Он объяснял долголетие дикарей их незнанием наук и религии, не зная, что все это — в зародыше — есть у них. Эпикуреец Монтень жил в эпоху религиозных войн. Он был весело мудр и находил, что каннибализм дикарей не так отвратителен, как пытки инквизиции.

Через триста лет Лев Толстой сказал о нем:

«Монтень — пошл».

Лев Толстой мыслил церковно и по форме и по содержанию. Не думаю, что догматизм был приятен ему, и едва ли процесс мысли давал Толстому то наслаждение, которое, несомненно, испытывали такие философы, как, например, Шопенгауэр, любуясь развитием своей мысли. На мой взгляд — для Льва Николаевича мышление было проклятой обязанностью, и мне кажется, что он всегда помнил слова Тертуллиана, — слова, которыми выражено отчаяние фанатика, уязвленного сомнением:

«Мысль есть зло».

Не лежат ли — для догматиков — истоки страха пред мыслью и ненависти к ней — в библии, VI, 1—4?

«Азазел же научил людей делать мечи и ножи... научил их разным искусствам... объяснил течение звезд и луны. И настало великое безбожие и разврат на земле, и скривились пути человеческие»...

Все это припомнилось мне после вчерашней, неожиданной беседы с А. Блоком. Я вышел вместе с ним из «Всемирной литературы», он спросил меня: что я думаю по поводу его «Крушения гуманизма»?

Несколько дней тому назад он читал на эту тему нечто вроде доклада, маленькую статью. Статья показалась мне неясной, но полной трагических предчувствий. Блок, читая, напоминал ребенка сказки, заблудившегося в лесу: он чувствует приближение чудовищ из тьмы и лепечет встречу им какие-то заклинания, ожидая, что это испугает их. Когда он перелистывал рукопись, пальцы его дрожали. Я не понял: печалит его факт падения гуманизма или радует? В прозе он не так гибок и талантлив,

как в стихах, но — это человек, чувствующий очень глубоко и разрушительно. В общем: человек «декаданса». Верования Блока кажутся мне неясными и для него самого; слова не проникают в глубину мысли, разрушающей этого человека вместе со всем тем, что он называет «разрушением гуманизма».

Некоторые мысли доклада показались мне недостаточно продуманными, например:

«Цивилизовать массу и невозможно и не нужно». «Открытия уступают место изобретениям».

XIX и XX века именно потому так чудовищно богаты изобретениями, что это эпоха обильнейших и величайших открытий науки. Говорить же о невозможности и ненужности цивилизации для русского народа — это, очевидно, «скифство» — и это я понимаю как уступку органической антигосударственности русской массы. И зачем Блоку «скифство»?

Как только мог осторожно, я сказал ему об этом. Говорить с ним — трудно: мне кажется, что он презирает всех, кому чужд и непонятен его мир, а мне этот мир — непонятен. Последнее время я дважды в неделю сижу рядом с ним на редакционных собраниях «Всемирной литературы» и нередко спорю, говоря о несовершенствах переводов с точки зрения духа русского языка. Это — не сближает. Как почти все в редакции, он относится к работе формально и равнодушно.

Он сказал, что ему приятно видеть, как я освобождаюсь «от интеллигентской привычки решать проблемы социального бытия».

— Я всегда чувствовал, что это у вас не настоящее. Уже в «Городке Окурове» заметно, что вас волнуют «детские вопросы» — самые глубокие и страшные!

Он — ошибается, но я не возражал, пусть думает так, если это приятно или нужно ему.

— Почему вы не пишете об этих вопросах? — настойчиво допытывался он.

Я сказал, что вопросы о смысле бытия, о смерти, о любви — вопросы строго личные, интимные, вопросы только для меня. Я не люблю выносить их на улицу, а если, изредка, невольно делаю это — всегда неумело, неуклюже.

— Говорить о себе — тонкое искусство, я не обладаю им.

Зашли в Летний сад, сели на скамью. Глаза Блока почти безумны. По блеску их, по дрожи его холодного, но измученного лица я видел, что он жадно хочет говорить, спрашивать. Растирая ногою солнечный узор на земле, он упрекнул меня:

— Вы прячетесь. Прячете ваши мысли о духе, об истине. Зачем?

И, раньше чем я успел ответить, он заговорил о русской интеллигенции надоевшими словами осуждения, эти слова особенно неуместны теперь, после революции.

Я сказал, что, по моему мнению, отрицательное отношение к интеллигенции есть именно чисто «интеллигентское» отношение. Его не мог выработать ни мужик, знающий интеллигента только в лице самоотверженного земского врача или преподобного сельского учителя; его не мог выработать рабочий, обязанный интеллигенту своим политическим воспитанием. Это отношение ошибочно и вредно, не говоря о том, что оно вычеркивает уважение интеллигенции к себе, к своей исторической и культурной работе. Всегда, ныне и присно наша интеллигенция играла, играет и еще будет играть роль ломовой лошади истории. Неустанной работой своей она подняла пролетариат на высоту революции, небывалой по широте и глубине задач, поставленных ею к немедленному решению.

Он, кажется, не слушал меня, угрюмо глядя в землю, но когда я замолчал, он снова начал говорить о колебаниях интеллигенции в ее отношении к «большевизму» и, между прочим, очень верно сказал:

— Вызвав из тьмы дух разрушения, нечестно говорить: это сделано не нами, а вот теми. Большевизм — неизбежный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редакциях, в подполье...

С ним ласково поздоровалась миловидная дама, он отнесся к ней сухо, почти пренебрежительно, она отошла, смущенно улыбаясь. Глядя вслед ей, на маленькие, неуверенно шагавшие ноги, Блок спросил:

— Что думаете вы о бессмертии, о возможности бессмертия?

Спросил настойчиво, глаза его смотрели упрямо. Я сказал, что, может быть, прав Ламеннэ: так как количество материи во вселенной ограничено, то следует допустить, что комбинации ее повторятся в бесконечности времени бесконечное количество раз. С этой точки зрения возможно, что через несколько миллионов лет, в хмурый вечер петербургской весны, Блок и Горький снова будут говорить о бессмертии, сидя на скамье, в Летнем саду.

Он спросил:

— Это вы — несерьезно?

Его настойчивость и удивляла и несколько раздражала меня, хотя я чувствовал, что он спрашивает не из простого любопытства, а как будто из желания погасить, подавить некую тревожную, тяжелую мысль.

— У меня нет причин считать взгляд Ламеннэ менее серьезным, чем все иные взгляды на этот вопрос.

— Ну, а вы, вы лично, как думаете?

Он даже топнул ногою. До этого вечера он казался мне сдержанным, неразговорчивым.

— Лично мне — больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую «мертвую материю» в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь «мир» в чистую психику.

— Не понимаю, — панпсихизм, что ли?

— Нет. Ибо ничего, кроме мысли, не будет, все исчезнет, претворенное в чистую мысль; будет существовать только она, воплощая в себе все мышление человечества от первых проблесков до момента последнего взрыва мысли.

— Не понимаю, — повторил Блок, качнув головою.

Я предложил ему представить мир как непрерывный процесс диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделяет такие виды энергии, как свет, электромагнитные волны, волны Герца и так далее, сюда же, конечно, относятся явления радиоактивности. Мысль — результат диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов «мертвой», неорганической материи. В мозговом веществе человека эта материя непрерывно превращается в психическую энергию. Я разрешаю себе думать, что когда-то вся «материя», поглощенная человеком,

претворится мозгом его в единую энергию — психическую. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании — в созерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных творческих возможностей.

— Мрачная фантазия, — сказал Блок и усмехнулся. — Приятно вспомнить, что закон сохранения вещества против нее.

— А мне приятно думать, что законы, создаваемые в лабораториях, не всегда совпадают с неведомыми нам законами вселенной. Убежден, что, если б время от времени мы могли взвешивать нашу планету, мы увидали бы, что вес ее последовательно уменьшается.

— Все это — скучно, — сказал Блок, качая головою. — Дело — проще; дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтоб верить в бога, и недостаточно сильны, чтоб верить только в себя. Как опора жизни и веры, существуют только бог и я. Человечество? Но — разве можно верить в разумность человечества после этой войны и накануне неизбежных, еще более жестоких войн? Нет, эта ваша фантазия... жутко! Но я думаю, что вы несерьезно говорили.

Он вздохнул:

— Если б мы могли совершенно перестать думать хоть на десять лет. Погасить этот обманчивый, болотный огонек, влекущий нас все глубже в ночь мира, и прислушаться к мировой гармонии сердцем. Мозг, мозг... Это — ненадежный орган, он уродливо велик, уродливо развит. Опухоль, как зоб...

Помолчал, крепко сжав губы, потом сказал тихо:

— Остановить бы движение, пусть прекратится время...

— Оно прекратится, если придать всем видам движения одну и ту же скорость.

Блок взглянул на меня искоса, подняв брови, и быстро, неясно заговорил какими-то бредовыми словами, я перестал понимать его. Странное впечатление: казалось, что он срывает с себя изношенные лохмотья.

Неожиданно встал, протянул руку и ушел к трамваю. Походка его на первый взгляд кажется твердой, но, присмотревшись, видишь, что он нерешительно качается на ногах. И как бы хорошо ни был он одет, — хочешь

видеть его одетым иначе, не так, как все. Гумилев даже в каком-то меховом костюме лопаря или самоеда кажется одетым, как все. А Блок требует одеяний необычных.

Только что записал беседу с Блоком — пришел матрос Балтфлота В. «за книжечками поинтересней». Он очень любит науку, ждет от нее разрешения всей «путаницы жизни» и всегда говорит о ней с радостью и верой. Сегодня он, между прочим, сообщил потрясающую новость:

— Знаете, говорят, будто один выученный американец устроил машинку замечательной простоты: труба, колесо и ручка. Повернешь ручку, и — все видно: анализ, тригонометрия, критика и вообще смысл всех историй жизни. Покажет машинка и — свистит!

— Мне эта машинка тем особенно нравится, что — свистит.

В ресторане «Пекарь» барышня с Невского рассказывала мне:

— Это у вас книжечка того Блока, известного? Я его тоже знала, впрочем — только один раз. Как-то осенью, очень поздно и, знаете, слякоть, туман, уже на думских часах около полуночи, я страшно устала и собиралась идти домой, — вдруг, на углу Итальянской, меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: иностранец. Пошли пешком, — тут, недалеко, по Караванной, десять, комнаты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он — молчит, и мне было неприятно даже, необыкновенно как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил он, а слуга — не идет, тогда он сам пошел в коридор, а я так, знаете, устала, озябла и уснула, сидя на диване. Потом вдруг проснулась, вижу: он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня так строго — ужасные глаза! Но мне — от стыда — даже не страшно было, только подумала: «Ах, боже мой, должно быть, музыкант!» Он — кудрявый. «Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь».

А он улыбнулся вежливо и отвечает: «Не надо, не беспокойтесь». Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, гладя волосы: «Ну, подремлите еще». И — представьте ж себе — я опять заснула, — скандал! Понимаю, конечно, что это нехорошо, но — не могу. Он так нежно покачивает меня и так уютно с ним, открою глаза, улыбнусь, и он улыбнется. Кажется, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал: «Ну, прощайте, мне надо идти». И кладет на стол двадцать пять рублей. «Послушайте, говорю, как же это?» Конечно, очень сконфузилась, извиняюсь, — так смешно все это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся тихонько, пожал мне руку и — даже поцеловал. Ушел, а когда я уходила, слуга говорит: «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт — смотри!» И показал мне портрет в журнале, — вижу: верно, это он самый. «Боже мой, думаю, как глупо вышло».

И действительно, на ее курносом, задорном лице, в плутоватых глазах бездомной собачонки мелькнуло отражение сердечной печали и обиды. Отдал барышне все деньги, какие были со мной, и с того часа почувствовал Блока очень понятным и близким.

Нравится мне его строгое лицо и голова флорентинца эпохи Возрождения.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Странные бывают совпадения мнений: в 901 году, в Арзамасе протоиерей Феодор Владимирский рассуждал:

«Каждый народ обладает духовным зрением, — зрением целей. Некоторые мыслители именуют свойство это «инстинктом нации», но, на мой взгляд, инстинкт ставит вопрос: «как жить?», — а я говорю о смутной тревоге разума и духа, о вопросе: «для чего жить?» И вот: хотя у нас, русских, зрение целей практических не развито, — потому что мы еще не достигли той высоты культуры, с которой видно, куда история человечества повелевает нам идти, однакож я думаю, что именно нам суждено особенно мучиться над вопросом: «для чего жить?» Пока

что — мы живем слепо, наощупь и крикливо, а все-таки мы уже люди с хвостиками, люди с плюсом».

Через пять лет, в Бостоне, Вильям Джемс, философ-прагматист, говорил:

«Текущие события в России очень подняли интерес к ней, но сделали ее еще менее понятной для меня. Когда я читаю русских авторов, предо мною встают люди раздражающе интересные, однако я не решусь сказать, что понимаю их. В Европе, в Америке я вижу людей, которые кое-что сделали и, опираясь на то, что они уже имеют, стремятся увеличить количество материально и духовно полезного. Люди вашей страны, наоборот, кажутся мне существами, для которых действительность необязательна, незаконна, даже враждебна. Я вижу, что русский разум напряженно анализирует, ищет, бунтует. Но — я не вижу цели анализа, не вижу — чего именно ищут под феноменами действительности? Можно думать, что русский человек считает себя призванным находить, открывать и фиксировать неприятное, отрицательное. Меня особенно удивили две книги: «Воскресение» Толстого и «Карамазовы» Достоевского, — мне кажется, что в них изображены люди с другой планеты, где всё иначе и лучше. Они попали на землю случайно и раздражены этим, даже — оскорблены. В них есть что-то детское, наивное и чувствуется упрямство честного алхимика, который верит, что он способен открыть «причину всех причин». Очень интересный народ, но, кажется, вы работаете впустую, как машина на «холостом ходу». А может быть, вы призваны удивить мир чем-то неожиданным».

Среди таких людей я прожил полстолетия.

Надеюсь, что эта книга достаточно определенно говорит о том, что я не стеснялся писать правду, когда хотел этого. Но, на мой взгляд, правда не вся и не так нужна людям, как об этом думают. Когда я чувствовал, что та или иная правда только жестоко бьет по душе, а ничему не учит, только унижает человека, а не объясняет мне его, я, разумеется, считал лучшим не писать об этой правде.

Ведь есть немало правд, которые надо забыть. Эти правды рождены ложью и обладают всеми свойствами

той ядовитейшей лжи, которая, исказив наше отношение друг к другу, сделала жизнь грязным, бессмысленным адом. Какой смысл напоминать о том, что должно исчезнуть? Тот, кто просто только фиксирует и регистрирует зло жизни, — занимается плохим ремеслом.

Мне хотелось назвать этот сборник: «Книга о русских людях, какими они были».

Но я нашел, что это звучало бы слишком громко. И я не вполне определенно чувствую: хочется ли мне, чтоб эти люди стали иными? Совершенно чуждый национализма, патриотизма и прочих болезней духовного зрения, все-таки я вижу русский народ исключительно, фантастически талантливым, своеобразным. Даже дураки в России глупы оригинально, на свой лад, а лентяи — положительно гениальны. Я уверен, что по затейливости, по неожиданности изворотов, так сказать — по фигурности мысли и чувства, русский народ — самый благодарный материал для художника.

Я думаю, что, когда этот удивительный народ отмучается от всего, что изнутри тяготит и путает его, когда он начнет работать с полным сознанием культурного и, так сказать, религиозного, весь мир связующего значения труда, — он будет жить сказочно героической жизнью и многому научит этот и уставший и обезумевший от преступлений мир.

А. М. ГОРЬКИЙ
Берлин. 1922—1923 гг.

ПРОВОДНИК

Скучно стало нам — доктору Полканову и мне — шагать второй день по горячему песку берега ленивой Оки, мимо небогатых рязанских полей, под солнцем последних дней мая; слишком усердное в этом году, оно угрожало засухой.

Все наиболее сложные вопросы цивилизации и культуры мы с доктором окончательно решили еще вчера, установив, что пытливый разум человека развяжет все узлы и петли социальной путаницы, разрешит все загадки бытия и, освободив людей из хаоса несчастий, из тьмы недоумений, сделает их богоподобными.

Но когда мы опустошили котомки наших знаний, рассыпав мудрость нашу друг пред другом по дороге цветами слов, — идти нам стало труднее, скучней.

О полдень наткнулись на пастуха; согнав стадо к реке, он, маленький, сухой человечек, с жестким рыжим волосом на костях лица, посоветовал нам:

— Вы бы лесом шли, лесом идти — прохладно, лес этот — древний, зовется Муромский; ежели его наискось пройти, прямо в Муром и упретесь.

Лес непроницаемой, синеватой стеною возвышался верстах в трех от берега. Поблагодарив пастуха, пошли межою, сквозь поле ржи; пастух, щелкнув плетью, закричал нам:

— Эй, заплутаетесь вы в лесе! Зайдите в деревню, там есть знающий старик Петр, он вас проводит за малые деньги, за двугривенный.

Зашли в деревню; домов пятнадцать, прижавшихся по скату долины, над игрушечной речкой, торопливо и как будто испуганно вытекавшей из леса.

Благообразный, седобородый Петр, с невеселым взглядом серых глаз, чинил кадку, вставляя в нее дно; он выслушал наше предложение молча, а толстый мужик, наблюдавший за его работой, покуривая трубку, сказал:

— Он вас доставит аккуратно. Это у нас путеводитель самый первый на всю округу. Ему лес известен, как своя борода.

Борода у Петра была не велика, не густа, а сам он был не по-мужицки опрятен и очень солидный, спокойный. Хорошее, мягкое и покорное лицо.

— Ну что ж? — сказал он, отодвинув кадку длинной ногою в лапте. — Можно. Благословясь, пойдемте. Полтину — дадите?

Толстый мужик чему-то обрадовался, заговорил оживленнее:

— Полтинник — цена дешевая. Я бы вот за полтинник не пошел, нет! А это человек — знающий. Он вас к ночи доставит в самый в Муром. Тропой поведешь?

— Тропой, — сказал Петр, вздохнув.

Пошли. Петр, высокий и прямой, с длинным посохом в руке, шагал впереди нас и молчал, точно его не было. На вопросы доктора он отзывался не оглядываясь, кратко и спокойно:

— Ничего. Привыкли. Как сказать? Конечно, плоховато живем.

Когда он сказал: «И мураш привычкой живет» — доктора Полканова обожгло восхищение; он вспомнил Вуда, Леббока, Брема и долго и восторженно говорил о таинственной жизни муравьев, о скромной мудрости русского народа и красноречивой точности его языка.

Входя в лес, Петр снял картуз, перекрестился и объявил нам:

— Вот он начинается, лес!

Сначала шли по дороге между стволами мощных сосен, их корни, пересекая глубокий песок, размятый колесами телег, затейливыми изгибами лежали, как серые, мертвые змеи. Пройдя с полверсты, путеводитель наш остановился,

поглядел в небо, постучал палкой по стволу дерева и молча, круто свернул на тропу, почти незаметную под хвоей и среди каких-то маленьких елочек; захрустели под ногами сухие сосновые шишки, нарушая важную тишину; она очень напоминала внушительное безмолвие древнего храма, в котором давно уже не служат, но еще не иссяк теплый запах ладана и воска. В зеленоватом сумраке, кое-где пронзенном острыми лучами солнца, в золотых лентах стояли бронзовые колонны сосен, покрытые зеленой окисью лишайника, седыми клочьями моха; среди мохнатых лап сверкали синеватые узоры небесного бархата.

Потом, когда вошли глубже в лес, мне показалось, что весь он как-то внезапно и чудесно оживился. Вместо Соловья Разбойника свистели дрозды, было много багряных клестов, крючковатые носа их неутомимо шелушили сосновые шишки, серой мышью бегал по стволам неуловимый поползень, мерно долбил кору дятел, тенькали суетливые синицы, рыжие белки перемахивали по воздуху с кроны на крону, распушив хвосты. И все-таки было так тихо, что даже доктор Полканов догадался: в этой тишине самые умные слова звучали бы неуместно.

— Заяц, — сказал наш путеводитель и вздохнул: — Эх...

Я не заметил зайца. Тропа, — если только она была, — удивляла меня своим капризным характером: иногда, там, где ей следовало бы лежать прямо, она огибала кольцом отдельные группы деревьев, там же, где пред нею деревья стояли плотной стеною и у корней их густо росли кусты черники, она с прямолинейностью, которая казалась мне излишней, лезла сквозь стволы сосен и, невидимая, врезалась в заросли.

— Сейчас должен быть овраг, — предупредил Петр очень тихо.

Версты через две я спросил его:

— Где же овраг?

— Видно, в сторону отошел, — сказал старик и, посмотрев в небо, прибавил:

— Заяц этот...

Доктор Полканов осведомился:

— Мы не заплутались?

— Зачем? — спроснл путеводитель.

Но когда начало темнеть, а мы почувствовали себя достаточно усталыми, нам стало ясно: заплутались. Доктор снова вежлнво намекнул об этом старику и получил уверенный ответ:

— Я же тут сорок раз ходил. Через версту временн будет просека, ею выйдем на пожог, обойдем его боком и опять в лес, а там и Муром будет видно.

Говоря, он спокойно отмернвал посохом сажени н, не останавлнваясь, шагал, отступал пред какимн-то невиднмыми мне препятствиями н не очень счнтался с преградамн вндимымн. Назначенная им «верста временн» растянулась на добрый час пути, просека н пожог тоже, должно быть, «отошли в сторону», не желая показаться нам. Но вот мы вышлн на небольшую поляну, серебряная луна внсела над нею, освещая кучу обгоревших бревен и среди ннх — черную обломанную трубу полуразрушенной печи; это было похоже на тщательно н трудолюбнво сделанный рисунок бесталанного художннка.

— Я тут бывал, — объявнл нам проводннк, оглядываясь. — Это — сторожка, лесник жнл в ней. Пьяница.

Доктор невесело, но твердо сказал:

— Заблуднлнсь.

— Немножко похоже, — осторожно полусогласился старик, сняв картуз, глядя на луну. — Заяц дорогу перебнл нам, — пожаловался он. — Круто влево подалнсь мы. Днем — трудно соображать; ночью — звезда путн указует, а днем небо пустое.

И, тыкая концом палки в головню под ногами, он, вздохнув, добавил:

— На лысой голове и вошь не воднтся.

Это странное добавленне показалось мне нзлишннм. Решнлн отдохнуть, закусить; селн на черные, отшлнфованные дождямн бревна; запаслнвый доктор вынул из котомки хлеб, колбасу, печеные яйца, отвинтил вместнтельный стаканчнк с горлышка фляги, обшнтой кожей, налил коньяку и предложил:

— Путеводнтелю!

Старнк, перекрестясь на луну, выпил, — удивился:

— Очень сильный напиток! На ладане настоян илн — как?

Потом он долго, молча и усердно жевал колбасу, ел яйца и после третьей рюмки рассказал нам:

— Скрывать не стану, господа ласковые, заплутались мы, куда теперь идти — я не знаю. Сами видите, каков это скушный лес: сосна и сосна, и нет промеж ее никакого различия. Прямо скажу: не люблю я этот лес. А что слава про меня пущена, будто я первый знаток лесной, так это в насмешку надо мною сделали, по бесстыдству людей, из озорства. Это — напраслина, как я догадываюсь. А начало всему положила обезьяна. Тут, видите, под Елатьмой, жила на даче одна женщина вдовая, из Москвы; с обезьяной жила, и окаянная зверюшка эта сбежала от нее. Сами понимаете: зверь лесной, видит — деревья, думает: «Господи, вот меня назад в Австрию привезли!» И — махнула в окошко, да — в лес, а женщина — плакать по звере, кричит: «Кто ее поймает, тому десять рублей!» Было это давно, лет тридцать назад, в ту пору десять-то рублей — корова, а не то что обыкновенная обезьяна. Вызвался я, в числе прочих, ловить ее да четверо суток и плутал за ней, стервой. Упрям был, и бедность толкала. Лесу этого я тогда обошел не знаю сколько, может, больше сотни верст. Сволочь эту, обезьяну, я скоро приметил, хожу за нею, зову: «Кис-кис; Машка, Машка». А у нее свой характер, она сигает с дерева на дерево, морды корчит мне, дразнит, пищит, как лисенок. Птички ее, подлую, интересуют, за птичками гоняется, ну, конечно, нашу русскую птичку обезьяне не поймать. При всем моем упрямстве надоела она мне, да и голод морил, ягодой сыт не будешь, а ведь я день и ночь преследую ее — не шутка! Бога молил: «Пошли ты, господи, смерть на нее». Ну, все-таки и она ослабла, подстерег я ее, пакость, на сучке невысоком да палкой и швырнул в нее, — свалилась, свалилась, поползала несколько, я ее боюсь в руки взять, ударил еще разок, а она мяукнула и — готова! Ну ладно, пес тебя дери, думаю; взял, понес ее. С барыней дело у меня ничем кончилось, дала она мне вместо десяти рублей — семь гривен: «Дохлую, говорит, мне ее не нужно». А для меня с того времени началась страдная жизнь: церковь ограбят — сейчас меня за шиворот: «Иди, Петруха, ищи воров, ты лес знаешь». Беглый появится, лошадей украдут — опять меня гонят: ищи! Охотники приехали — тоже я провожать их.

Так, зиму и лето, и ходил и хожу. Да. А у меня все-таки хозяйство. И всегда меня в понятые; становой, исправник все кричат: «Ты лес этот знаешь, дурак!» Довели до того, что я сам обманулся, поверил, будто действительно знаю я лес. Иду храбро, а войду и вижу: ничего я не знаю. А сказать людям, что не знаю, — совестно. Счету нет, скольких я людей водил тут. Ученый один из Москвы прибыл, определили меня к нему — показывай! Он для меня, ученый этот, оказался тоже вроде обезьяны, хотя — солидный человек, с бородой. Ходит и ходит, а что ему надо — невозможно понять. Травы нюхает, мычит. Едва довел я его до Карачарова села, откуда Илья Муромец родом, плутали тоже суток трое. Ругается. А мне его, извините, тоже палкой по башке треснуть охота, так надоел он! Нет, очень я не люблю этот лес, большие неприятности растут мне в нем...

Недружелюбно поглядев на черное кольцо деревьев, в котором сидели мы, как на дне ямы, путеводитель наш дополнил свой анекдотический рассказ:

— И к тому же, я смолоду близорукий; в даль будто хорошо вижу, а близко — туман. Со стыда, всё на зайцев поклепы ввожу, будто зайцы сбивают меня с дороги.

Немножко захмелев, он благодушно улыбался серыми глазами и, очищая яйцо, молвил, качнув головою:

— Перед зайцами я виноват.

МАМАША КЕМСКИХ

Вошел я в город вечером; красные облака рдели над крышами; в неподвижном воздухе взвешена розоватая пыль. Суббота, в церквах благовестят ко всенощной. Из ограды маленькой, убогой церковки, затисканной в глухой тупик, застроенный каменными домами, бородатый, босой мещанин выгонял палкой свинью и семь штук пестрых поросят. Против паперти стояла, как вкопанная, женщина в черном платье, в черном, порыжевшем платке; она озабоченно пересчитывала медные деньги, сосчитает, уложит на ладонь столбиком, посмотрит в пыльное небо, на синюю главу колокольни и, надув толстые, темные губы, снова начинает считать.

Зашел в трактир, спросил бутылку пива и, глядя в окно, задумался: что проклинать, что благословлять?

Я еще очень молод и, в поисках устойчивого равновесия, качаюсь во все стороны. Мне кажется, что жизнь бессмысленно дразнит меня, показывая мне свои отвратительные, унижающие гримасы. То, что мне опытные люди советуют благословить, — скучно, бесцветно и мертво, проклинать же рекомендуют именно то, что мне нравится.

В общем я ничего не понимаю. Иногда мне кажется, что в голове у меня нет никаких мыслей, там, как пыль в воздухе, взвешены и прыгают какие-то разноцветные шарики, больше — ничего. А хуже всего то, что я, кажется, все меньше верю тем мудрым людям, которые говорят мне,

что они-то всё поняли. Мне трудно и глупо, как вот этой мухе, которая бьется головою о стекло окна, — как будто ничего нет, а — непроницаемо.

По безлюдной, скучной, чисто выметенной улице идет необыкновенная старуха; в ее походке есть что-то птичье, летящее, ныряющее, неожиданные, неоправданные фигурные изгибы, изломы, пугливые прыжки назад и в сторону при встрече с людями; люди тоже отскакивают от нее, провожают старуху косыми взглядами, хмурятся.

Поистине — походка ее напоминает капризный и резвый полет ласточки; сходство с птицей еще более усиливают пестрые лохмотья, развеваясь на ее маленькой, легкой фигурке, она вся в каких-то лоскутках, на серых волосах птичьей головы бумажные ленты. Голова тревожно вертится на тонкой шее, остренький нос что-то вынюхивает, короткая нижняя челюсть непрерывно шевелится, жует воздух, на темной коже подбородка торчат седые волосы. Из-под подола юбки, обильно и, должно быть, нарочно украшенной разноцветными заплатами, мелькают грязные голые ноги, звериные лапы, такие же лапы судорожно хватаются за столбы фонарей, тумбы, заборы и стены домов.

Человеческого — мало в этом странном существе, оно напоминает химеру, уродливую выдумку и кажется слепым, глаза спрятаны в темных ямах и под густыми клочьями сердито соединенных бровей. Вот она перешла улицу, подпрыгнула, возвратилась, идет под окном.

Спрашиваю буфетчика:

— Это кто?

— Мамаша Кемских, — отвечает он с тою гордостью, с какой в провинции говорят о монументах знаменитым людям: Карамзину — в Симбирске, в Казани — Державину.

Буфетчик — старый человек, сытый, с гладким лицом актера или повара, у него вставные зубы, он любезно улыбается золотой улыбкой.

Хотя я не прошу его об этом, — он бойко, с удовольствием и даже как будто с восхищением рассказывает о «мамаше Кемских».

Некто Кемской, помнится — князь, молодой человек, приехал откуда-то из-за границы хоронить вотчима своего;

похоронил, влюбился в актрису, быстро прожил с нею унаследованное состояние и, решив, что больше жить незачем, выстрелил себе в рот, но от этого не умер, а только вырвал себе язык и, прострелив шею, остался жить, онемев; голова у него свернулась набок. Когда он, тяжко раненный, лежал у себя в старом, барском доме, к нему приехала девушка-институтка, родственница его вотчима, стала ухаживать за ним, вылечила, поставила на ноги и в одиннадцать лет жизни с ним родила ему пятерых детей.

При жизни Кемского она кормила его и детей, зарабатывая уроками музыки и рисования, продавая мебель и вещи, а когда Кемской умер, тринадцать комнат двухэтажного дома были совершенно опустошены, и «мамаша» с детьми забилась в две.

Блестяще ухмыляясь, буфетчик говорил:

— Все распродала; дети на полу спят, и сама валяется на полу, разве иной раз сена, соломы украдут; совсем одичали...

Он восхищался, буфетчик, восклицая жирненьким голосом:

— Ни зеркал нет, ничего! Добрые люди интересовались: зачем она муку эдакую взяла на себя? «Фамилию, говорит, поддержать надо, невозможно, говорит, чтоб такая фамилия вымерла, Кемские, дескать, Россию спасали много раз». Конечно, это — глупая фантазия: от чего Россию спасать? Россию никто похитить не может, Россия — не лошадь, ее цыгане не своруют.

Двадцать восемь лет бегала по улицам города «мамаша Кемских», жилистая, лохматая, голодная волчиха, бегала, двигая челюстью, и всегда что-то нашептывала.

— Как молитву твердила, хотя — злая.

Она так оборвалась, обносилась, одичала, что «порядочные люди» уже не пускали ее к себе, и она не могла больше учить детей их музыке, рисованию. Стремясь насытить своих детей, она воровала овощи по огородам, ловила на чердаке голубей, воровала кур, летом собирала щавель, съедобные корни, грибы и ягоды; в зимние ночи, в метели ходила в лес воровать дрова, выламывала доски из заборов, чтоб согреть хотя одну печь полуразрушенного дома. Весь город изумляла неиссякаемая энергия «мамаши»; ее даже будто бы не преследовали за воровство.

— Разве, иногда, побьют маленько, но чтобы в полицию отправить — никогда! Жалели ее.

Горожан удивляло, что она не просит милостыню, ее даже уважали за это, но никто никогда не помогал ей жить.

— А — почему? — спросил я.

— Как вам сказать? Потому, надо думать, что уж очень злая и горда, хотелось поглядеть, докуда этой гордости хватит. Теперь, уж четвертый год, стали ей милостыню подавать; теперь она совсем с ума сошла. И — как вы думаете — на чем? Представьте себе — на детях! «Дети мои, кричит, на царства рождены: Борис — царь польский, Тима — болгарский, Саша — греческий царь», — вот как она! А мы этих царей бьем, они все в мать пошли, — воры. Бориска даже горбат, из окна вывалился, будучи ребенком, Тимофей — дурачок, Александр — глухонемой, еще один, меньшой, тоже выродок. Главное — все воры, а Борис особенно нахален в этом. Только из старшего, Кронида, человек вышел, он бойцом на бойне работает. Этот — скромный, тихий, матери и братьев стыдится, не живет с ними, не знает. Недавно женился на прачке. А мамаша все шнырит, бегает, прокорма ищет дармоедам своим. Замечательная; даже владыко удивлялся: «Вот, говорит, какое терпение неисточимое, учитесь!» Милостыню подать ей надо умеючи, людей она боится, отвергает нас, кричит: «Прочь!»

Оглушительно поет канарейка, изумляя силою, скрытой в таком ничтожном комочке желтых перьев, крошечных мускулов и тоненьких, изящных косточек. Пение канарейки всегда напоминает мне рыдающий крик осла.

Буфетчик благодушен, словоохотлив и удивлен благополучием своего бытия. Я не заметил, когда он прервал где-то рассказ о «мамаше Кемских» и почему заговорил о себе.

— Мне судьба за всякую неприятность аккуратно платила удовольствием. С женой я жил семнадцать лет душа в душу, но при ней у меня болели зубы. И рвал я их и драл — ноют! А умерла жена — и зубы в тот же год перестали болеть. Значит, существует равновесие событий. Жаловаться — грех...

Он, очевидно, забыл, что зубы у него искусственные.

— Глядите, глядите, — вон тащится польский царь!

Посредине улицы двигается на кривых ногах большая охапка соломы, неумело связанная мочальной веревкой, человека под соломой не видно, а только паучьи, тонкие ноги, на левой ноге штанина оторвана и видно голое, неестественно вывернутое колено.

— Вот-с, — говорит буфетчик и смеется вежливым смешком:

— Хэ-хэ-хэ...

...Ночь. Сквозь деревья виден рыбий глаз луны и несколько далеких одна другой звезд. Гудят провода телеграфа. Синеватый воздух над моей головою пахнет пылью и чем-то гнилым.

Предо мною двухэтажный дом с тремя облупленными колоннами по фасаду; зияют окна верхнего этажа; рамы из них выломаны, колоды — тоже, вывалилась и часть кирпичей; окна — зубчатые, рваные дыры, и кажется, что из них на улицу холодным дымом лезет густейшая тьма. Вокруг дома ничего нет — ни забора, ни служб; от широких ворот остались только кирпичные, обломанные столбы. Дом как будто выброшен из города на пустырь.

Пять окон; два из них тоже без рам, с выломанными косяками, заложены кирпичом. Сквозь мутное стекло одного из трех, крайнего, просвечивает рыжеватое пятно лампы; это окно, несмотря на духоту, закрыто и даже забито снаружи доскою наискось: очевидно, рама сгнила и открыть ее нельзя.

За окном — шумят; шум похож на лай и вой собак; кажется — кто-то плачет; два голоса наперебой кричат:

— Валет пик...

— Врешь — король...

— Две копейки!

— На-ко, выкуси...

Из-за угла дома выползает призрачная фигура неопределенных форм, кажется, что она идет на четвереньках. Присмотревшись — узнаю: это «мамаша Кемских»; она, согнувшись, подбирает что-то с земли, кладет в подол; слышно, как она ворчит. Вот она подползла ко мне, почти наткнулась на мои ноги, стремительно выпрямилась и, бросая в меня щепками, прутьями, кричит:

— А-а, проклятый...

Это неестественный, нечеловеческий крик; человек не может, не должен так кричать.

Вблизи «мамаша Кемских» маленькая, точно подросток, это, вероятно, потому, что она в одной рубахе. Сгибаясь под прямым углом, она хватает с земли пыль, сор, швыряет в меня и зовет режущим голосом:

— Дети, дети...

Я слышу топот босых ног и ухожу; меня провожают раздраженные возгласы:

— Тащи ее...

— Э, дура...

— Кто ее выпустил?

Молодой, неокрепший басок произносит слова сквернейшей русской ругани.

...Светает. Сижу на скамье городского бульвара, и очень хочется спросить кого-то:

«А зачем это нужно — «мамаша Кемских» и подобные ей? Кому нужны бессмысленные страдания человека?»

УБИЙЦЫ

Преступность — возрастает; убийства становятся все более часты, совершаются хладнокровнее и приобретают странный, вычурный характер.

В современных убийствах наблюдается что-то надуманное, показное; как будто убийцы видят себя спортсменами, стремятся установить фантастические рекорды холодной жестокости; если один разрезает труп убитого на шесть кусков, то другой режет его на двенадцать.

Нет сомнения в том, что развитию преступности в сильной степени способствуют газеты, навязчиво и ярко расписывая, раскрашивая убийства и тем создавая из убийцы — героя, из преступления — подвиг. Обнаруживая острый интерес к преступнику и полное равнодушие к его жертве, газеты больше всего говорят о ловкости убийцы, о его хитрости и смелости.

На той же медной трубе сенсации играют и господа авторы так называемых «детективных» романов, которые правильнее именовать дефективными романами.

Этим двум влияниям успешно помогает кинематограф: воспроизводя на экране картины преступлений, он возбуждает зоологические эмоции одних людей, развращает воображение других и, наконец притупляет у третьих чувство отвращения к фактам преступности. Все это делается для того только, чтоб развлечь людей, которым живется скучно.

Вполне допустимо, что кинематограф увеличивает и даже углубляет серую скуку жизни тех людей, которые,

как барабаны, пусты внутри и звучат, лишь получив удар извне. И несомненно, что возрастает количество людей, желающих быть замеченными.

Я склонен думать, что для многих преступление становится путем к славе, а для некоторых даже развлечением простым, легко доступным и поощряемым потому, что можно поощрять и порицанием, если к порицанию присоединить удивление.

А простота, — да что же может быть проще и глупее убийства человеком человека в наши дни, после того, как на полях Франции уничтожены — чего ради? — миллионы европейцев, ценнейших людей нашей планеты?

Если идиот разрежет ближнего на куски и пожрет его, об идиоте целый месяц будут говорить и писать как о человеке исключительном, замечательном, но о том, что хирург Оппель трижды, приемом массажа сердца, воскрешал людей, умерших на операционном столе, об этом не знают и не пишут.

В этом противопоставлении извращений социального быта чудесам науки скрыта тема огромной важности. Непонятно, почему до сей поры ни один из честных европейских умов не развернул эту тему во всей ее широте и глубине?

Этот ум мог бы осветить и уничтожить одно из роковых недоразумений современности; он показал бы, как тяжело и уродливо ложится на все то, что мы называем «культурой», мрачная и тревожная тень естественного недовольства цивилизацией.

Убийцы всегда вызывали у меня ощущение воплощенной глупости. И как бы чисто ни был одет убийца, он всегда возбуждает подозрение в его физической чистоплотности.

Первый убийца, встреченный мною, жил в Казани, на окраине города, в Задней Мокрой улице; его звали — Назар. Старик шестидесяти семи лет, высокий, сутулый, с большим, плоским лицом, в огромной белой бороде, с широким раздавленным носом и длинными, до коленных чашек, руками, он отдаленно напоминал обезьяну, но голубые, жиденькие глазки его светились детски ясно, и в языке, в словах было что-то детское, шепелявое, мягкое.

В молодости он был пастухом и уличен в скотоложстве; над ним издевались и особенно сильно — семья его дяди. В день апостолов Петра и Павла он вырезал всю эту семью отточенным обломком косы; дядю:

— Не позволяй смеяться!

брата и жену его:

— Не смейтесь!

племянницу свою, девяти лет:

— Чтобы молчала!

и батрака-рабочего:

— Просто, под руку попал.

Так он сам рассказывал мне и приятелю моему — студенту Грейману; рассказывал, улыбаясь улыбкой человека, который вспоминает самое крупное и удачное дело своей жизни. За это дело он был бит кнутом и получил двадцать лет каторги; бежал из рудника, через три месяца добровольно вернулся на работы, снова был наказан кнутом и ему «набавили срок».

— Начальники жалели меня за простоту души, — говорил он.

За «хорошее поведение» ему дважды уменьшали кару, но в общем он работал двадцать три года, затем долго жил в Сибири поселенцем. В Казани он собирал тряпки, кости, старое железо и, продавая это, зарабатывал 25—40 копеек в день. Питался только чаем и пшеничным хлебом; хлеба съедал по три, по четыре фунта в день, чай пил трижды в сутки, нестерпимо горячий и каждый раз стаканов по десяти. По субботам парился в бане до обмороков.

Хромал, болела правая нога. Задирая штанину, показывал Грейману синюю опухоль на колене и просил:

— Ну-ка, черненький, погляди, чего она?

Грейман, юрист, брезгливо морщился, говорил, что он — не доктор, старик настаивал:

— А ты погляди! Докторам, знахарям я не верю, а тебе — верю! Пускай ты — жид, да у тебя привычка хороша, всегда ты правду говоришь; что ни скажешь — правда!

Греймана изумлял этот человек до болезненного раздражения, почти до ужаса. Органическое отвращение еврея к убийству и крови отталкивало его от Назара, а юношеское наше стремление «понять человека» влекло нас к старику. Мы спрашивали:

— Как ты, такой простой, мог убивать?

Он важно отвечал нам:

— Про это — не расскажешь. Это — дело не мое, бесово дело. Я тогда молодой юнош был, вроде вас. А прост я — от старости.

И поучал:

— Молодость, ребятки, срок опасный. От молодости праведный Адам в раю погиб через суку Еву.

В то время я был мальчишкой семнадцати, шестнадцати лет и, разумеется, старик удивлял меня; более того: хорошо помню, что я находил нечто лестное для себя в знакомстве с необыкновенным человеком, с убийцей. Но также хорошо помню, что меня возмущала важность тона, которым старик говорил о себе и о преступлении — самом значительном поступке за всю свою жизнь. Самодовольно поглаживая бороду опухшей, багровой рукою, он рассказывал:

— В те поры нашему брату особый парад был: вывозили нас на базарную площадь, да там, на черном эшафоте, которых кнутом били, которых просто показывали народу: гляди, народ, каковы есть злодеи! Начальство, начальник грамоту читал...

О жизни на каторге Назар говорил равнодушно:

— Житье там, с непривычки, трудное.

Я никогда не слышал, чтобы он жаловался на страдания, а к людям он относился благодушно и беззлобно, как существо высшего порядка.

Кажется, именно из его уст я впервые услыхал характерно русские слова:

— До греха я жил, как тень, а — ушиб меня бес, тут я и себе и людям стал приметен...

Тогда я, конечно, не мог понять смысла этих слов, но они хорошо укрепились в моей памяти, а впоследствии другие встречи, иные люди и русская литература неоднократно подновляли и подчеркивали жалкую, уродливую мысль, заключенную в этих словах.

Теперь мне кажется, что именно наши расспросы будили в старике гордость его собою, наше любопытство возвышало убийцу в его глазах.

Совершенно бесспорно, что болтовня газет, сенсационные уголовные романы, фильмы кинематографа, изображающие ловкость и смелость убийц, развивая в нервозной и жадной до сенсации городской массе болезненное любопытство к преступникам, способствует росту преступлений; на это указывают и ученые криминалисты. Также бесспорно, что все эти сенсации внушают убийцам самодовольное сознание своей исключительности.

Известно, что человек, чувствуя себя центром внимания ближних, уродливо распухает и кажется сам себе значительнее, больше, чем он есть на самом деле. Мы слишком часто надуваем человека нашим любопытством; возможно, что отчасти поэтому наши политические и иные герои так недолговечны и так легко лопаются. И поэтому же мы, в нашем стремлении создать хотя бы маленького героя, так часто создаем большого дурака.

Газеты, в погоне за сенсациями, несомненно, притупляют органическое отвращение даже здоровых людей к убийцам и убийствам. Этим притуплением естественного чувства объясняется неестественный, ужасающий своим равнодушием цинизм, с которым люди смотрят на смертную казнь, как на спектакль театра «Гран Гиньоль».

Кстати: существование и успех этого театра явно указывает на то, что люди, которым скучно жить, в своем желании развлечься уже не брезгуют болезненным желанием ужаснуться. В этом есть нечто поразительно уродливое: ведь ужаснее современной нам действительности ничего невозможно выдумать, однако люди идут любоваться ужасами, выдуманными грубо, искусственно и совершенно чуждыми действительному искусству сцены.

Зло потому так резко бросается нам в глаза, что мы сами подчеркиваем его; наше внимание фиксируется, главным образом и всего охотнее, на явлениях отрицательного характера, — это мое давнее и непоколебимое убеждение. С течением времени убеждение это укрепляется тем, что люди становятся все менее гуманными, более равнодушными друг к другу. Убеждение это не может поколебать тот изумительный факт, что жители города Ном

были спасены от смерти не подобными им людями, а — собакой.

Хуже всего то, что мы фиксируем зло не из органического отвращения к нему, не по мотивам физиологической эстетики, но лишь по силе какого-то дрянненького и, в сущности, преступного любопытства. И, конечно, по внушению фарисейства.

В нашем отношении к преступному и злому всего меньше — чувства самосохранения. Я особенно подчеркиваю отсутствие этого чувства, но совершенно не могу понять, как это совмещается с нашим эгоизмом, рост которого принимает все более уродливые, чудовищные формы и размеры.

Было бы разумнее и гигиеничней создавать вокруг убийц атмосферу молчания и забвения, совершенно исключающую всякий явный интерес к их личностям и поступкам.

Насколько я знаю человека, — я знаю, что мною рекомендуется самая жестокая кара из всех возможных. Человек, о котором не говорят, — перестает существовать. Самая страшная тюрьма — это тюрьма под открытым небом, тюрьма, не огражденная стенами и решетками в окнах, Фиваида без бога, без людей.

А с другой стороны следовало бы помнить очень здравую мысль Эдгара По:

«Говорите негодяю, что он — хороший человек, и негодяй оправдает это ваше мнение о нем».

Вспоминаю кошмарные впечатления: человек, много и жестоко пострадавший «за други своя», по-русски широко добрый, по-русски исключительной душевной чистоты, показав мне глазами на некоего молодца, прошептал почти благоговейно:

— Это он убил N-ского губернатора.

«Он» — парень лет двадцати трех, пяти, с лицом военного писаря; курносый, светленькие глазки, жирные уши, жесткие, щеткой, волосы. Он стоит у окна и снисходительно смотрит вниз, на улицу, на людей, торопливо шагающих по жидкой петербургской грязи, под назойливым дождем болотной, финской осени. Он держит руки в кар-

манах и жует мундштук погасшей папиросы. От него крепко и душно пахнет идиотом.

У меня явилась обидная и, может быть, неумная мысль:

«Этот баран чувствует себя так же удовлетворенно, как человек, совершивший нечто, признанное важным и полезным для всех людей мира сего».

А один «политический деятель» рассказал мне такое: некто, исполняя приговор своей партии, убил провокатора и, кажется, даже на глазах его отца и матери. Убил и докладывает «пославшим его» о том, как он исполнил это дело. Но во время доклада у докладчика возникла необходимость посетить уборную, куда он и отправился. Через минуту один из его начальников и товарищей, старый человек, схватив со стола ненужную бумажку, подбежал к двери уборной и, постучав, сказал:

— Бумажку — надо? Я принес...

Да. Возможно, что это великодушие было вызвано не чувством почтения и благодарности к убийце, а только пристрастием к гигиене или недостатком у человека уважения к себе самому.

Разумеется, я — понимаю: политическая борьба, «тираномахия» и так далее. Да, да. А все-таки: когда же люди перестанут и перестанут ли убивать друг друга, любоваться убийцами? Политические убийства становятся столь же часты, как и уголовные.

Из всех убийц, встреченных мною, наиболее отвратительное впечатление оставили двое.

Мне пришлось присутствовать при беседе моего патрона А. И. Ланина с одним из его подзащитных, человеком, который, напоив свою сестру, убил ее ударом молотка по черепу. Это был торговец битой птицей; не помню фамилии — Лукин, Лукьянов или Лучков, но фигура его и сейчас стоит предо мною в очертаниях исключительной ясности.

Он вошел в кабинет патрона независимой походкой избалованной собаки, для которой все комнаты дома одинаково доступны, привычны и которая ничего не боится. Взглянув в угол, он поднял руку ко лбу, но, не найдя

иконы, тотчас улыбнулся понимающей, снисходительной к человеческим заблуждениям улыбочкой и сунул руку за борт сюртука. Этот жест привлек мое внимание удивительной легкостью, даже — хочется сказать — бесплотностью. Затем он благосклонно согнул шею, кланяясь Ланину, больному, лежавшему на диване.

И во всем дальнейшем убийца поражал меня именно этой благосклонностью человека, который великодушно принес в дар ближнему своему — помимо заработка, гонорара — нечто необыкновенно значительное и ценное. Был он небольшого роста, юношески строен, одет в длиннополый сюртук и новенькие сапоги. У него — маленькое личико странного, глиняного цвета, от висков к подбородку и на шею опускались две полоски темных, прямых волос; на подбородке и под ним они сгущались в плотную бороду, — казалось, что она вырезана из черного, мореного дуба. Нижняя челюсть коротка, подбородок вдавлен в шею, а верхняя часть лица и высокий крутой лоб так необыкновенно высунулись, что получалось фантастическое впечатление: лицо этого человека живет далеко впереди его тела. Темные глаза посажены глубоко и влажны; они смотрят прямо, от них к вискам идут маленькие морщинки улыбки, застывшей в зрачках и не оживляющей деревянное лицо, с невидимым под усами ртом и туго натянутой коричневой кожей.

Вот именно в этой улыбке и светилась снисходительная благосклонность человека, который пережил нечто потрясающее, чувствует себя исключительным и как бы говорит вам:

«Послушайте меня, послушайте, хотя едва ли поймете!»

Он сидел пять месяцев в тюрьме, а теперь был выпущен на поруки крестному отцу его, тюремному инспектору. Он очень удобно уселся в кресло пред диваном, положил на колени свои ручки с толстенькими пальцами; трудно было поверить, что такие, чисто вымытые, маленькие руки могли раздробить череп женщины. Склонив голову вбок, он сидел в позе насторожившейся птицы и вполголоса, мягко говорил с патроном моим, как говорил

бы с подрядчиком, которому он предлагает работу по ремонту его дома.

Из семи свидетелей, допрошенных следователем, пятеро рисовали убийцу человеком скупым, жестким; регент церковного хора, его постоялец и друг, дал о нем странный отзыв:

«Считаю человеком мелким и на убийство не способным».

Дворник его дома показал, что за хозяином своим он «никаких пустяков не замечал». Трое свидетелей утверждали, что он и раньше пытался убить сестру — сбросил ее в погреб.

Потирая колени свои, торговец битой птицей увещевал Ланина:

— Примите в расчет: мне открыты ворота в богатейший дом; я, значит, вхожу туда зятем, а покойница, обязательно пьяная, конфузит меня на весь город, кричит, что я ее ограбил, будто сгреб часть ее наследства, триста рублей, после родителя — папаши.

Мне кажется, что это буквально точные его слова, — я слушал рассказ внимательно, и у меня неплохая память. Он говорил — «тысящ», а не «тысяч» и часто повторял слово «сумраки», — слово, должно быть, недавно пойманное им, потому что только его одно он произносил неуверенно и как-то вопросительно.

— Я ее уговаривал: «Палагея, не становись на тропу моей жизни».

В сущности, он не говорил, а «выражался», как это вообще свойственно «мелким» людям; когда они видят, что судьбишка улыбается им, они пыжатся, теряют естественность и простоту речи, стараются говорить афористически. Архиерейский певчий, мой знакомый, напечатав рассказ в журнале, изрек:

— Вчера город слышал, как я пою, а сегодня мир узнает, как я мыслю!

В день убийства торговец птицей пришел к сестре своей:

— С душой решительной, с добрым сердцем, — поверьте! «Палагея, говорю, человек должен направлять себя к благополучию, а не к безобразию. Великодушно получи триста рублей и забудь меня, бога ради!» Она

даже плакала и расстроила мне душу. Чай пили с вареньем, мадеру, после чего она спьянела. Тут это и произошло, не помню как, потому что, примите в расчет, от нее на меня всегда сумраки...

Патрон мой спросил его:

— А зачем вы принесли с собой молоток?

Тогда, помолчав, человек этот не то — спросил, не то — напомнил:

— Ежели признать молоток, так ведь обнаружится заранее обдуманное намерение...

Мой патрон был человек благовоспитанный и мягкий, но после этих слов он, незнакомо для меня, взбесился, накричал на убийцу и кончил резким заявлением:

— Вы не смеете рассматривать защитника как соучастника вашего преступления!

Мне показалось, что убийца не обиделся, не испугался окрика, он только очень удивился и спросил:

— Как-с?

А когда патрон повторил свои слова более спокойно и понятно, торговец битой птицей встал и, не скрывая обиды, произнес:

— Тогда, извините, поищу другого. В такое дело надобно вступать сердцем-с...

Защищал его «другой», адвокат «с сердцем».

На суде кто-то из свидетелей назвал убийцу:

«Оловянная душа».

Еще более противен был художник М., убивший известного артиста сцены Рощина-Инсарова. Он выстрелил Инсарову в затылок, когда артист умывался. Убийцу судили, но, кажется, он был оправдан или понес легкое наказание. В начале девятисотых годов он был свободен и собирался приложить свои знания художника в области крестьянских кустарных промыслов, кажется, к гончарному делу. Кто-то привел его ко мне. Стоя в комнате моего сына, я наблюдал, как солидно, неторопливо раздевается в прихожей какой-то брюнет, явно довольный жизнью. Стоя пред зеркалом, он сначала причесал волосы головы гладко и придал лицу выражение мечтательной задумчивости. Но это не удовлетворило его, он растрепал

прическу, сдвинул брови, опустил углы губ, — получилось лицо скорбное. Здороваясь со мною, он уже имел третье лицо — лицо мальчика, который, помня, что он вчера нашалил, считает однако, что наказан свыше меры, и поэтому требует особенно усиленного внимания к себе.

Он решил «послужить народу, отдать ему всю свою жизнь, весь талант».

— Вы, конечно, понимаете, что личной жизни у меня не может быть, я человек с разбитым сердцем. Я безумно любил ту женщину...

Его разбитое сердце помещалось в теле, хорошо упитанном и одетом в новенький костюм солидного покроя и скучного цвета.

— Да, — говорил он, покорно вздыхая, — надо «сеять разумное, доброе, вечное», как заповедал нам Николай Некрасов.

После Николая Некрасова он вспомнил о Федоре Достоевском, спросил: люблю ли я Федора?

Нет, я Федора не люблю.

Тогда он любезно и внушительно напомнил мне, что Федор Достоевский — глубокий психолог, да, но что он, М., вполне согласен с критической оценкой Н. К. Михайловского:

— Это действительно «жестокий талант».

Мне показалось, что этому человеку особенно приятно называть литераторов по именам: Николай, Федор, Лев, как будто все они — люди, служащие ему. Шекспира он назвал тоже дружески просто: Вильям.

Затем он сказал, что «Преступление и наказание»:

— В сущности — вредная книга; ее тенденцию можно понять только так: убивать человека — грех, но чтобы внутренно почувствовать это, все-таки необходимо убить хотя бы какую-нибудь паршивую старушку.

Он так и сказал: «внутренно почувствовать», и вся эта фраза была самым остроумным и наглым из всего, сказанного им в течение полутора или двух часов. Она даже показалась мне чужой, подслушанной художником; а выговорив ее, он и сам понял, что ему удалось сказать нечто необычное, надул щеки и победоносно посмотрел на меня темными глазами, белки которых были расписаны розоватым узором жилок.

После этого им овладел легкий припадок гуманизма: увидав на окне в клетках чижа и коноплянку, он лирически заговорил о том, что ему всегда жалко видеть птиц в клетках. Выпив рюмку водки и закусив маринованным грибом, он вдохновенно, очень дешевыми стертыми словами сообщил мне о своей любви к природе. А затем пожаловался на газеты:

— Всего мучительнее для меня был газетный шум. Писали так много. Вот, посмотрите!

Он вынул из бокового кармана толстенькую книжку, в ней были аккуратно наклеены вырезки из газет.

— Не хотите ли воспользоваться? — предложил он. — Убийство из ревности — тема для очень хорошего романа.

Я сказал, что не умею писать очень хороших романов.

Похлопывая книжкой по мягкой своей ладони, он, вздохнув, продолжал:

— Я бы очень много рассказал вам, добавил. Интересная среда: художник, артисты, соблазнительная женщина...

Руки у него были коротки сравнительно с туловищем, на руках — тупые и тоже коротенькие пальцы бездарного человека, а нижняя губа формой своей напоминала пиявку, но — красную, каких нет в природе.

ЕНБЛЕМА

Осенний ветер треплет голые кусты, прутья гнутся, но не шумят, хотя, покрытые ржавой пылью, кажутся железными и, качаясь, должны бы скрежетать. Свинцовый туман плотно окутал и скрыл все вокруг маленькой степной станции; около почти невидимой водокачки устало вздыхает и шипит локомотив, звенят бандажи под ударами молотка; все звуки приглушены осенним унынием. Над моей головою призрачно висит плоская рука семафора. Тощий, мокрый козел тоже, как призрак, стоит в кустах и скучно смотрит, как пятеро служащих станции пытаются втащить в дверь товарного вагона тяжелый, длинный ящик.

Погрузкой руководит старичок в клеенчатом пальто; под башлыком трясется розовое от холода круглое личико с длинными усами; усы и ястребиный нос старичка очень напоминают портрет одного из гетманов Украины.

— Что это вы грузите?

— Енблему.

Вежливо касаясь ручкой башлыка, старичок отвечает не по-старчески звонко и не по-осеннему весело.

— Енблема, — объясняет он, — статуя из мраморного камня итальянской работы; она изображает идола справедливости — женщину с мечом в руке, а другая рука — в ней весы были — отстрелена по недоразумению. В древнее время римляне почитали эту женщину за богиню, называемую Енблема.

Слово явно нравится старичку, он повторяет его со вкусом, с удовольствием.

Погрузив ящик, ожидая пассажирского поезда, он сидит в грязном зале станции и, покуривая немецкую фарфоровую трубку, рассказывает любезно:

— Привез ее из-за границы дедушка теперешних господ, и, может быть, не менее ста лет красовалась она на клумбе, перед домом; это вещь очень великолепная, из лучшего материала; на зиму ее даже войлоком кутали и покрывали деревянным футляром. Она стояла бы и еще неизвестное время, да вот господин Башкиров — слышали? Известнейший фабрикант? Совершенно так, этот самый. Он, четыре года тому назад, для отдыха души и по причине своей старости, купил усадьбу господ моих и вообразил, что Енблема ему угрожает. Некоторый смысл воображение его имело, потому что статуя искусной работы и в лунные ночи принимала вид оживленности, как бы даже движения по воздуху, не взирая на то, что она — камень. К тому же основание под нею покосилось от собственной ее тяжести, и это дало ей наклон вперед, как будто она хочет спрыгнуть со своей высоты.

— Господин Башкиров сразу ее не взлюбил, стал жаловаться: «От нее, говорит, у меня бессонница. Ночью взгляну в окно — торчит в воздухе не то сестра милосердия, не то — чорт ее знает кто такая? И что значат весы в руке у нее? Торговала, что ли, чем?» Господин Башкиров, несмотря на свое богатство, человек слабо образованный и даже, в некотором роде, дикий. Я, конечно, объяснил ему, что это римский идол справедливости, потом он еще у священника справился и в городе у кого-то насчет ее назначения, но после этого не взлюбил Енблему того хуже и начал даже палкой ей грозить, походит по парку, подойдет к ней и грозит... А однажды ему вообразилось, что она в окно лезет, в спальню к нему, тут он начал из револьвера стрелять, метко отшиб ей руку и живот выщербил.

— Говорит мне: «Дуре этой, Покровский, место на кладбище, а не здесь». Меня он очень уважал и любил весьма подробно расспрашивать о моей жизни. Я, видите ли, сын диакона, но к духовной карьере пристрастием не заразился, а пошел в учителя, но вскоре усмотрел, что это дело не моей души. К дрессировке детей надо иметь природное пристрастие и строгость, а у меня характер

оказался мягкий, и укротителем детских наклонностей я не мог быть. Шалостей детских — не люблю, бессмысленная шалость! Когда взрослые шалеют — этому всегда заметна причина, а у детей... Я даже и собственную жизнь прожил холостым...

— Ах да, господин Башкиров. Он был по натуре шалый. Он мне не нравился. Хотя человек уважаемый, но личность темная и, что называется, с легендой.

Осторожно выковыривая какой-то ложечкой перегар из трубки, старичок объяснил:

— Легенда, конечно, не всегда правда, а все-таки родня ей. О господине Башкирове ходил слух, что у него были разные женские истории жестокого характера, и даже со вмешательством окружного суда. Вообще — человек нечистоплотный и подозрительного ума. Пил, конечно, во вред своему здоровью. Мне с ним было неприятно, я — двадцать три года садовник, цветовод, у меня другой вкус. Однако цветы он любил. Издали любовался ими; стоит, смотрит и жует бороду; борода у него была роскошная. Посмотрит на цветы, погрозит палкой Енблеме и удаляется в беседку лимонад с коньяком пить. Да, цветы он любил. «Ты, говорит, Покровский, синеньких больше разводи». Предлагал мне жалования прибавить, но сам же себе и возражает: «Зачем тебе деньги, ты — одинокий. Я вот тоже одинок. Деньги, Покровский, в этом случае нисколько не помогают, на пятак дружбы не купишь».

Дали звонок — повестку пассажирскому поезду.

— Умер он?

— Умер. В одночасье. Он не лечился, а только коньяк с доктором пил.

— Куда же вы отправляете статую?

Доставая что-то из кармана брюк, Покровский сказал:

— В сумасшедший дом.

И, видимо, заметив мое удивление, любезно объяснил:

— Господин Башкиров подарил ее доктору для развлечения безумных больных. Доктор в парке поставить Енблему эту хочет, при сумасшедшем доме очень хороший парк.

Покачиваясь важной походкой павлина, садовник Покровский пошел к кассе, сказав мне любезно:

— Будьте здоровы!

О ТАРАКАНАХ

На песчаном холме, на фоне темносинего неба — мохнатая сосна, вся в звездах; под сосною рыжеватый, ржавый валун; сосна как будто растет из камня — цветок его. За холмом — озеро; в гладко отшлифованной воде шевелятся золотыми тараканами отражения утонувших звезд. Вдали, в плотной тьме воды и воздуха, — зубчатые, желтые трещины — огни невидимого города.

У камня, на небольшой кучке золотых углей, качаются оранжевые огоньки, освещая ноги в сапогах из листового железа, ноги бородатого человека в шапке с наушниками, в тяжелом, овчинном тулупе; из бороды торчит трубка, на коленях человека — сухие ветки; он, потрескивая, мелко ломает их и скупо кормит ими огонь маленького костра; едва ли этот костер способен согреть его огромные, железные ноги.

Другой человек лежит, вытянувшись, на песке, он прижался к рыжему боку валуна, лицо его прикрыто измятой шляпой, из-под шляпы высунулся костяной, голый подбородок, вокруг головы венцом лежат на песке синеватые волосы. Почему-то ясно, что этот человек — мертв.

— Кто это?

— А — не видишь?

— Что с ним?

— Известно что — помер.

— От чего?

— На ходу.

— Убит?
— Его спроси.
— А кто таков?
— Нездешний.

Человек с трубкой в зубах отвечает невнятно, неохотно и как будто даже враждебно; трубка его погасла, не дымит, волосатое лицо стерто дрожащим отблеском костра. Пойду дальше, по дороге, измятой копытами терпеливых лошадей.

Ночь — суха, свежа; есть в ней что-то металлически холодное: от холода земля, вода и воздух твердеют, сжимаясь в единую массу; с неба и озера она пронизана, прошита медной проволокой звездных лучей. Очень тихо, и кажется, что тишина тоже все густеет. В такую ночь легко идти капризной тропою дум в бесконечную даль воспоминаний.

«Нездешний» человек, который помер «на ходу», больше никуда не пойдет и никогда не почувствует усталости. Странно, что у меня не явилось желания приподнять шляпу с его лица, взглянуть: каков он? Впрочем — мертвые однообразны: юморист Марк Твен принял в гробу сходство с трагиком Фридрихом Ницше, а умерший Ницше напомнил мне Черногорова, скромного машиниста водокачки на станции Кривая Музга.

Звезды в небе, отражение звезд в озере и земные огни вдали воспринимаются как дерзкие просветы сквозь тьму осенней ночи в область какого-то вечного и, должно быть, очень холодного огня. «Вселенная суть горение так же, как человеческая жизнь», — утверждал Шкалик, учитель физики, человек трезвого ума. Химия учит, что гниение суть тоже горение. Интересно: каким огнем сгорел «нездешний» человек, умерший «на ходу»?

Песок скрипит под ногами. Шильонский узник протоптал в камне пола тюрьмы своей глубокую тропу. От воспоминания об этом узнике фантазия всегда переносится к человечеству, которое тоже неутомимо и непрерывно протаптывает тропы сквозь тьму неведомого к познанию силы своего духа; «дух, возникнув из хаоса, стремится к совершенной гармонии». Не помню, кому принадлежит эта высокая мысль. Анатоль Франс склонен думать, что «высокие мысли» так же наивны, как «низкие истины».

«Высокие мысли» не удаются мне, «низкие истины» — не нравятся. У меня трудная позиция человека, который, квартируя между небом и землею, оглушен ревом, воплем земли, ничего не понимает в астрономии и которому в тихие ночи кажется, что созвездия иронически посвистывают.

Некто, помнится — Декарт, находил, что мыслить — это значит: стремиться к обоснованной связи истинных суждений. Другие утверждают, что, кроме дьявола, именуемого отцом лжи, никто не знает, что такое истинное суждение. Мне кажется: эта бестия, дьявол, искренно убежден, что хорошая ложь полезнее плохой правды. И несомненно, что это дьявол нашептал одному из поэтов слова, смутившие многих:

Мысль изреченная есть ложь.

Декарт, выделив душу из тела, как пламя из тьмы, сделал тьму — гуще, а пламя — холодным, и, должно быть, поэтому «истинные суждения» не греют меня. Впрочем, я знаю только одно истинное суждение: ничто в мире не заслуживает большего внимания, чем друг и недруг мой — человек. Я знаю также, что, по оценке философа, это суждение стоит дешево.

Но еще дешевле и смешнее оно с какой-то другой, не высказанной с достаточной ясностью, но общепринятой точки зрения. В одном известном мне случае некто, наивный, с великой тоскою спросил ближних:

— Понимаете ли вы, что такое человек?

В ответ ему все люди насмешливо улыбнулись, хотя не все они были идиотами.

Вот человек, умерший «на ходу», лежит там, сзади меня, под охраной угрюмого ближнего с погасшей трубкой в зубах, около маленького костра, огонь которого ничтожен и не греет. Мне ничего не известно об этом человеке, я знаю только одно: уж если он жил — он человек истории. Совершенно недопустимо существование какого-то человека, который не имел бы своей истории. Вероятно, и это — одно из бесчисленных моих заблуждений, но когда я думаю о храме, где обитают разнообразнейшие истины, грубая фантазия моя уподобляет сей храм одному из тех, впрочем, необходимых домов, куда мужчины разных воз-

растов ходят тратить избыток или восполнять недостаток своей любви к женщине.

Но, разумеется, я понимаю мудрость учителя Шкалика, который говорил гимназистам: «Истина необходима человеку так же, как слепому трезвый поводырь».

Он писал книгу «Пифагор и логика числа», но, к сожалению, не успел окончить ее, заболев прогрессивным параличом.

Налево, за рощей унылой ольхи, лает собака, лает тревожно, истерически захлебываясь желанием предупредить спящих людей о какой-то опасности. Собаку заслуженно именуют наиболее честным другом человека. Между собакой и пророком есть странное сходство, — это сказано не по недостатку уважения к пророкам, но только из любви к животному, которое ближе всех других подошло к человеку и, кажется, тоже обладает способностью предвидеть будущее.

Собакам знакомы сновидения, это уже много. У меня был фокстерьер Топи: когда сновидения будили его, он, прибежав ко мне, тихонько выл и лаял; я уверен, что это он пытался рассказать мне свое сновидение. Я знал также шотландскую лайку Дёти; когда ее хозяйка Престония Мэн Мартин играла на рояле, Дёти ложилась под рояль и слушала великих музыкантов, странно, как бы изумленно открыв свои прекрасные глаза. Но лишь только Престония Мэн начинала барабанить один из бесчисленных маршей Суза, Дёти уходила из гостиной, должно быть оскорбленная громкой профанацией величайшего искусства. Она была храброй собакой, яростно и ловко сражалась с барсуками, но панически боялась мышей.

Я знал также осла, влюбленного в лошадь; право же, я не скрываю здесь аллегории, обидной для кого-нибудь! Действительно был такой осел, и когда его возлюбленную лошадь продали — он перестал есть, явно пытаясь убить себя голодом. Известен рассказ об осле, который, после смерти хозяина своего, утопился в Луаре.

Лошади — плачут; мучительно видеть, как из их кротких и красивых глаз выкатываются немые слезы и как по-детски обиженно дрожат их губы. Много интересного и таинственного можно рассказать об уме птиц и мышей.

Выла ли какая-нибудь собака, предчувствуя смерть «нездешнего» человека, который умер «на ходу»?

Отчаянно много знаю я анекдотов! Я оброс ими, точно киль корабля моллюсками, и это мешает мне плыть к совершенной истине так быстро, как я хотел бы. Истина же необходима мне: как всякий уважающий себя человек, я хочу быть похороненным в приличном гробе.

Весьма возможно, что человек, который лежит там, под сосной, — сын швейцара Дворянского собрания Василия Еремина, жандармского вахмистра; Еремин оказался неспособен к трудному делу политического розыска, потому что воспитание птиц увлекало его более сильно, чем ловля человеков. И вот он переселился из казармы жандармского управления под каменную лестницу желтого, с колоннами, Дворянского дома; там, в полутемной комнате с одним окном и важной пузатой печью, он прожил семь лет, искусно и терпеливо обучая толстых, красногрудых снегирей насвистывать «Коль славен наш господь в Сионе», «Боже, царя храни» и «Господи, воззвах тебе» на шестой глас. Воспитав птицу прославлять бога и царя, вахмистр продавал ее кому-нибудь из любителей оригинального или почтительно дарил преосвященному владыке Гурию, тюремному инспектору Топоркову и другим крупнейшим и наиболее благочестивым лицам Воргорода; своим искусством и мудрой щедростью своей вахмистр Еремин приобрел вполне заслуженную известность, а также скопил семьсот целковых.

Между любимым делом он, для порядка, женился на девушке-сироте; через год она родила ему сына, нареченного, в честь жандармского генерала Платонова, Платоном; а через пять лет жена скончалась, упав с крыши, куда залезла в припадке лунатизма. Вахмистра Еремина не очень огорчила смерть жены, она была женщиной рассеянного ума, за птицами ухаживала небрежно, клетки чистила плохо и, по доброте сердца, кормила снегирей как раз тогда, когда они должны были голодать. Ибо птицы прославляют богов земли и неба только с голода, свои же свободные песни поют ради любви, так же, как и другие честные художники.

После смерти жены вахмистр быстро убедился, что пятилетний сын мешает ему жить: он открывал дверцы и

ломал прутья клеток, выпуская птиц, затем, безуспешно стараясь поймать их, бил посуду, падал, разбивая себе лицо, обворовывал отца и снегирей, пожирая птичий корм, конопляное семя. Его нужно было часто бить, но он был толстенький, пухлый и какой-то жидкотелый, — побои не действовали на него.

Кроме птиц, в каменной пещере под лестницей жили черные и рыжие прусаки-тараканы, а также — мыши; мыши, тихо питаясь семенем, просыпанным птицами на пол, никому не мешали, прусаки тоже вели себя смиренно, а черные, заползая в клетки снегирей, будили их, и почти каждый вечер испуганные птицы неистово бились, передавая страх свой из клетки в клетку.

— Бей тараканов! — приказал отец, вооружив сына подошвой резиновой галоши. Платон охотно стал пришлепывать усатых сожителей к штукатурке стен, но это недолго забавляло его, он скоро понял, что источником неудобств и обид его жизни являются насекомые, птицы и отец.

Когда он дорос до школьного возраста, он стал еще более раздражать отца, обнаруживая в шалостях молчаливое упрямство, оно принимало в глазах вахмистра не только характер преступлений против власти, но угрожало убить его репутацию искуснейшего воспитателя птиц.

Ибо вахмистр с великим изумлением заметил, что некоторые из снегирей, уже обученные славословиям, вдруг онемели, нахохлились более мрачно, чем это вообще свойственно им, а потом они стали несвоевременно умирать. Догадываясь о причине этих печальных явлений, вахмистр начал следить за сыном и скоро поймал его, как раз в ту минуту, когда Платон, накалив шпильку на огне лампы, прижигал ею толстый, черный язык одного из лучших певцов.

Схватив сына за волосы, тыкая лицом его в доску стола, солдат огорченно закричал:

— Чорт дурацкий, зачем ты делаешь это? Ведь птице-то больно! Больно, а? Говори, кривоногий дьяволенок!

— Не больно, — ответил сын, шмыгая носом, из которого брызгала кровь.

— Врешь, — как не больно?

— Они — рады.

Нужно было очень долго и разнообразно бить Платона, прежде чем он сказал, что ему надоел птичий свист, война с тараканами, что уход за снегирями и все вообще мешает ему учить уроки и что он хочет утопиться в омуте, за мельницей.

— Попробуй, стервец! Я те утоплюсь, — пригрозил вахмистр, швырнув сына в угол, за печку, где жили тараканы и где, на жесткой кошме, спал Платон.

Вахмистр Еремин строго следил, чтоб сын не бегал зря по улицам, отпускал его только в церковь ко всенощной и обедне, заставлял помогать себе чистить лестницу, выбивать пыль из ковров и вообще всячески старался заполнить свободное время сына полезным трудом. Но все-таки Платон знал и радости, без которых совершенно невозможна жизнь больших и маленьких человечков. Осенью и зимою желтый дом дворянства сказочно оживлялся, по лестнице, парадно украшенной цветами, покрытой красным ковром, всходили, точно ангелы во сне Иакова, удивительно красивые женщины, их манил яркий свет наверху, и ласковая музыка изливалась встречу им мягким потоком необыкновенной звучности. Платон, прикрываясь кадкой, в которой росло большое дерево, очарованно смотрел на женщин, слушал музыку, но отец, заметив его, подходил и подзатыльниками загонял под лестницу к снегирям и тараканам.

— А кто учиться будет, дурак? — грозно спрашивал он и уходил, плотно прикрыв дверь.

Платон садился учить уроки, но музыка, отрывая его от стола, поднимала на ноги; осторожно, бесшумно, точно кот за мышами, он шел темным, путаным коридором к задней лестнице на хоры и там, примостясь около музыкантов, оглушенный визгом скрипок, ревом меди, смотрел вниз, на дно большой, ослепительно светлой комнаты; по блестящему полу, между колонн, похожих на деревья с золотыми ветвями, скользили и бегали ловкие военные, штатские; крепко обняв женщин, они кружились, как заводные игрушки из раскрашенной жести, — игрушки, которые свободно двигаются сами, если их завести маленьким ключиком.

Вблизи музыка была не так приятна, как издали, но все же Платон чувствовал, что она наполняет его необыкновенной, до слез сладкой скукой, заставляя забы-

вать снегирей, тараканов, отца, учителя, мальчишек школы, не любивших его за трусость и угрюмость, филистимлян, апостолов и все остальное. Музыка уносила за пределы всего, что знакомо и обижает, что непонятно и тревожит. Иногда казалось, что музыка способна навсегда смыть неприятное и ненужное.

Отец находил его в состоянии полузабвения, отгибал железными пальцами ухо сына и, ущемив ухо, вел Платона вниз, нашептывая:

— А кто учиться будет, а кто будет дрыхнуть?

Платон снова садился к столу перед маленькой лампой голубого стекла и, преодолевая томление сладкой скуки, желание спать, пытался думать о купце, который продал двадцать два аршина сукна, об Исаве, который тоже что-то продал Иакову за похлебку, о деепричастии и сути. Пред ним устрашающе вставал кривозубый учитель; непрерывно сморкаясь, он квакающим голосом говорил:

«Имена существительные... суть... Повтори, Еремин! Как?»

Имена существительные не интересовали Платона, а учитель носил необыкновенную фамилию — Буздыган, и, глядя на его длинное тело с головою, похожей на яйцо, на его мокрый, красный нос и слезоточивые глаза, Платон всегда с унынием думал: неужели есть такой край, где живут не похожие на людей длинные буздыгане и квакают: «Квак! Квак!»?

Кроме того, Платон иногда находил, что шестью девять «суть» шестьдесят девять, а иногда ему казалось, что это — девяносто шесть, — обе цифры, похожие на мышей, были неустойчивы, капризно кувыркались, взмахивая хвостиками вверх они давали 66, а опустив хвостики вниз, обращались в 99, и совершенно нельзя было понять, когда именно они показывают настоящую «суть». Буздыган же упрямо доказывал, что шестью девять только пятьдесят четыре, заставляя Платона думать: как это две большие цифры, помноженные одна на другую, дают две цифры меньше их? Учитель, никогда не соглашаясь с Платоном, часто оставлял его без обеда, это вызывало побои отца и наконец внушило Платону упрямую мысль: все, что он обязан понять, нарочито спутано окаянным словечком учителя — «суть», оно же сбивает с толка и самого Буз-

цыгана, который, сердясь, сморкался и квакал все более часто, более грозно.

Из всего, чему учили в школе, только сказочные уроки веселого красавца попа Александра Фиалковского возбуждали внимание Платона, отводя его далеко в сторону от птиц, тараканов, всевозможных обид и жестких корок школьной науки. Поп рассказывал свои чудеснейшие истории так же интересно, как слепой нищий Мартын пел стихи, сидя в базарные дни на паперти церкви Трех Святителей; в эти дни Платон всегда опаздывал в школу и оставался «без обеда».

Музыка, вливаясь в каменную пещеру под лестницу, сквозь дверь и через трубу печи, гудела, манила, ласковый шопот ее вторгался в голову и вытеснял оттуда все, что необходимо знать о воде, которая одновременно втекала в бассейн и вытекала из него, о признаках, которые отличают существительное от прилагательного. Музыка будила снегирей; чуть видные в сумраке, точно полупогасшие угли, уже подернутые пеплом, они начинали прыгать по жердочкам клеток, выскрипывая, высвистывая хвалу богу и царю, напоминая грешников с картинки, изображающей адовы муки. Музыка оживляла даже посудный шкаф, самую приятную вещь в полутемной пещере отца; на синих дверцах шкафа хорошей, золотистой краской изображено широколицее, доброе солнце в красных иглах лучей; оно было несколько похоже на ежа; в подбородок солнцу ввернуто медное кольцо; если, повернув кольцо налево, осторожно тянуть его к себе, дверцы шкафа, взвизгнув, точно девчонка, когда ее внезапно ущипнешь, открывались, солнце разрезала темная полоска: сначала узенькая, она, расширяясь, смешно раздваивала милую рожицу светила; круглые, усатые глаза его, улыбаясь, расплывались, исчезали, а на внутренней стороне дверей шкафа цвели синие и красные цветы, наполняя комнату запахами различных кушаний, которые ежедневно дарил отцу кум его, повар, крестный отец Платона.

По красивым полкам шкафа разбегались тараканы; на верхней блестела чайная посуда, и среди ее особенно соблазнительна была зеркального стекла ваза, всегда почти полная вареньем из крыжовника, любимым лакомством вахмистра. Эта ваза формой своей напоминала Платону

чашу, которую Христос видел в небесах Гефсиманского сада, и Платон был уверен, что, если б тогда она была наполнена вареньем из крыжовника, — Христос не сказал бы:

«Господи, пронеси чашу сию мимо меня!»

А на нижней полке шкафа стояла банка с патокой, ненавистная Платону; горько было смотреть на нее, ибо однажды, когда ему надоело избивать черных тараканов подошвой галоши, он придумал способ менее хлопотливого истребления насекомых: зачерпнув ложкой клейкой сладости, он намазал ею портреты двух царей, одного — с бритым подбородком и баками, другого — широколицего, с большой бородой. Портреты висели около печи, над постелью отца, и Платон правильно рассчитал: в первую же ночь множество прусаков и черных прилипло к портретам, особенно густо приклеились они к лицу бородатого царя.

Утром, проснувшись, сердито мигая, отец удивился:

— Что за дьявол! Вот видишь, лентяй, сколько их развелось, — сказал он сыну и хотел смахнуть тараканов ладонью, но ладонь, приклеившись, сорвала портрет со стены.

В этот день Платон не мог идти в школу, потому что отец лишил его возможности сидеть. Учился он дома, лежа на полу вверх спиною, не пошел он и на другой день, убежав на реку — топиться. И с этого дня он возненавидел и царей вместе с тараканами, снегирями каменной ненавистью, а вахмистру Еремину стало ясно, что нельзя жить под одним потолком с этим молчаливым, белобрысым, упрямым звереньшем. Уши у него были неудобные, они так плотно прилегали к черепу, что, прежде чем схватить за ухо, нужно было отогнуть его пальцем. В сумраке комнаты казалось даже, что у Платона совсем нет ушей, а слушает он круглыми глазами совенка, которые, никогда не мигая, следят за отцом, как за черным тараканом. Вообще этот человечек был непонятен отцу, не нужен ему и внушал какие-то тревожные чувства.

Вахмистр лучше понимал снегирей, больше привык к ним; возможно, что он истратил на птиц весь запас чувства любви, которым обладал, да ведь и всех нас природа оделяет этим чувством в ничтожной доле, лишь очень редких людей мучает избыток его.

Подождав, когда сын кончил второй класс школы, вахмистр отдал его в ученики «часовых дел мастеру» Ананию Тумпакову, толстому человеку с темными, жидкими глазами, которые переливались через стекла очков. Прищурив один глаз, схватив себя рукою за подбородок, Ананий сказал негромко, как человек сильно уставший:

— Часовое ремесло мелкое и тонкое; прежде всего — будь осторожен, мальчик! Вот — пятачок, иди к парикмахеру Гильому — третий дом направо — остриги себе волосы.

В тот же вечер он показал Платону, как нужно закрывать окно и дверь магазина ставнями, потом, сидя в кресле с отломленной ручкой, у стола, заваленного колесиками, коробочками, в которых было много часовых стекол и очень забавных кусочков меди, он долго говорил снова о том, что часовое ремесло требует внимания и ловкости. Взяв щипчиками тоненькую, свернувшуюся змеей пружинку карманных часов, он сказал:

— Вот, видишь, какая ничтожная, а в ней вся суть!

Недоверчиво глядя в жидкие, темные глаза, Платон спросил:

— Вы, что ли, добрый?

— Да, я — не злой, — ответил хозяин.

Подумав, Платон спросил еще:

— А может, вы — пьяный?

Ананий, смигнув из глаза на ладонь лупу, облизал рыжим языком седенькие усишки и осведомился:

— Почему же — пьяный?

Платон объяснил:

— Добрые — это пьяные, когда они не скандалят.

— Так, — сказал Ананий Тумпаков, подумав, — так! Разве отец твой пьет?

— Он и не добрый.

— Ага! Понимаю. Он бил тебя?

Платон промолчал, не зная, что выгоднее сказать: да или нет.

Тогда Ананий, заткнув глаз лупой, сказал очень тихо:

— Иди спать, мальчик. Я — не дерусь.

Нужно было не очень много времени для того, чтоб Платон понял: его хозяин — один из тех людей, которых

все остальные называют чудаками. Люди, приносившие в магазин больные часы, посмеивались над Ананием, как над горбатым, говорили с ним, точно с дурачком Игошей Смерть в Кармане, Ананий же говорил со всеми устало, тихо и неохотно. Его кожаное, бурое лицо, надутое, как резиновый мяч, напоминало крышку суповой миски, шишечку крышки заменял нос; полное сходство с миской нарушали выкатившиеся глаза, они вздувались за стеклами очков темными пузырями, и казалось, что только очки не позволяют им лопнуть. Подбородок и тугие щеки Анания посыпаны как будто молотым перцем и маковым зерном, лысина делала его выпуклый лоб почти вдвое больше лица.

Этот человек не рычал, не командовал, как отец, не учил скучно и строго, как школьный учитель. Он вообще был приятно не похож на всех людей, знакомых Платону, и мальчику хотелось видеть его красивым, как поп Фиалковский. С утра до вечера Ананий, вставив лупу в глаз, сидел за столом, против окна, щелкая чем-то, звякая, поскрипывая, подпиливая, рылся пухлыми пальцами в пыльном хаосе на столе и, вздыхая со свистом, бормотал прилипчивые темные слова:

— Нет, Софрон, это ты — в воздухе; ты, Софрон, на канате...

Эти слова не заглушали разнозвучного, непрерывного чмоканья и чавканья многочисленных маятников, скользивших по стенам маленького, сумрачного магазина, чавкая время. В словах хозяина было что-то навязчивое, и, когда Платону становилось скучно чистить щеточкой различные колесики или чистить мелом медь гирь и цепей, он тихонько напевал:

— На-ка-чвак, на-те-чмок; Соф-чок, рон-чок...

Зимою злая лошадь предводителя дворянства Бобоедова убила швейцара Еремина; Ананий, вместе с Платоном, проводил вахмистра в снежную и точно в железе вырубленную могилу; потом, закрыв магазин, несколько дней с утра до вечера бегал по городу и наконец устало рассказал Платону, что повар, духовный отец его, обворовал вахмистра, но что есть сиротский суд и дело еще можно поправить, а пока Платон имеет сто семьдесят три рубля, Ананий же назначен опекуном его. Он долго объяснял, что

такое опекун, но Платон понял только одно: это не хлебопек. Думая о смерти отца, он очень пожалел, что ему не пришлось видеть, как лошадь убила вахмистра, такого силача.

В ясные дни в окно магазина после двух часов проникало солнце, все часы на левой, от окна, стене встречали его блеском широкорожих, усатых циферблатов, а маятники раскалялись и отсекали лучи солнца, не допуская их коснуться стены.

Почти каждый день, между четырьмя часами и шестью, дверь магазина с визгом и дребезгом отворялась и влезал, шумно отдуваясь, всегда полупьяный скотский доктор Беневоленский, парусиновый человек в кожаной фуражке, похожей на кастрюлю, с разноцветным, как мыльный пузырь, лицом. Он — тоже толстый, и в его шерстяной, спутанной бороде торчало множество зубов какого-то фальшивого рта. Платону он казался двуротым, зубы у доктора прорезались не там, где у всех людей, а значительно ниже, настоящий же человеческий рот невидимо и крепко зашит волосами, поэтому доктор говорит глухо, как в бочку, и все, что он говорит, — неправда.

Голосом старинных английских часов, стоявших в углу, в гробоподобном ящике, Ананий приказывал:

— Маль-чик — чаю!

Когда Платон приносил поднос с двумя стаканами крепкого чая, сухарями, лимоном и густой, настоянной на сливах водкой в граненом графине, Ананий, смигнув лупу, смотрел на сизый нос гостя выкатившимися глазами и уговаривал его:

— Подожди, Софрон...

А доктор кричал, притопывая:

— Где логика?

Наклонясь друг к другу, почти соприкасаясь лбами, оба толстые, как снегири, они становились неразличимы, хотя один был волосат, а другой лысый. Доктор рычал и лаял, упираясь руками в свои колени, его красные глаза и желтые кости зубов сверкали так, что издали можно было подумать: Софрон говорит веселое, но оба они говорили скучно и непонятно. Софрон часто и угрожающе кричал: «Логика!» Платону казалось, что это инструмент, нечто похожее на ложку с длинным черенком, как та,

которой отец разливал суп и щелкал Платона по лбу. Ананий Тумпаков миролюбиво умолял доктора:

— Ты, Софрон, учился в семинарии, ты вообще ученый, я тебя люблю и уважаю, а верить — не могу...

— Говори, употребляя логику!

— Я — употребляю...

Чмокали, такали, чвакали маятники; по круглым рожицам часов незаметно передвигались черные усы стрелок, звенели и гудели боевые пружины, куковали две кукушки, разнозвучно отсчитывая семь, иногда восемь и даже девять, а двое толстых все спорили, глотая водку, густую и желтую, как патока, запивая ее крепким, горьким чаем. Всегда неожиданно, заставляя Платона вздрагивать, отворялась дверь магазина, отчаянно звенел колокольчик, с улицы входил человек, и Ананий, виновато, пьяненьким голосом говорил ему:

— Завтра, — обязательно — завтра!

Сквозь старые, мутноватые стекла окна и двери жизнь на улице казалась ненастоящей, фигуры людей теряли правильность форм, расплывались, как тени, ползли, точно облака, медноголовая команда пожарных почему-то свертывалась в огромные, быстрые комья, а лошади извозчиков, наоборот, вытягивались, становясь длиннее, чем они были. Когда же шли солдаты — как будто двигалась гребенка зубцами вверх и вычесывала из воздуха солнце, лучи его приставали к штыкам серебряными клочьями.

Ежечасно в магазине раздавался гулкий бой часов, особенно длительный до первого часа после полудня; Платон скоро научился заводить часы так, что они били не все сразу, а спустя минуту одни после других — это напоминало музыку в доме Дворянского собрания.

Интересно было рассматривать механизм часов, особенно карманных; там была черненькая пружинка, свернутая змеею, та, о которой Ананий сказал, что «в ней вся суть». Напоминая Платону пружины заводных игрушек, она также напоминала сказочные праздники в Дворянском собрании и урок закона божия, на котором поп Александр интересно рассказывал о рае и дьяволе под личиной змея.

Имя дьявола Платон слышал часто, — доктор ругал «тихим дьяволом» Анания. Это было неверно: толстый

часовщик похож на селезня, дьявол же совмещал в себе серую, с кровавыми глазами, лошадь Бобоедова и лицо его жены, длинное, костлявое, с безгубым ртом. Платону было известно, что дьявол мог изменять свою личину как хотел, в настоящем же своем виде он был темнодымчатой тучей с медными глазами без зрачков, как две луны.

Именно таким почувствовал его Платон, когда, претерпев жестокую порку в наказание за портреты царей, хотел утопиться; раньше чем прыгнуть из кустов с обрыва в черный омут, Платон задумался о чем-то и уснул, а проснувшись, увидал, что дьявол смотрит на него из омута и с неба медными глазами, как две луны; лицо у него огромное, больше всей земли, и кривое; одна щека, синяя, значительно больше другой, черной.

Ананий спорил с доктором почти четыре года, но из всех этих споров в памяти Платона остались только вот эти сердитые слова скотского доктора:

— Пойми, старый дурак: бог, может быть, из милости к тебе скрывает суть правды, так же как ты не скажешь правду вот этому мальчишке с глупой рожей. Ведь, употребляя логику, не скажешь ты мальчишке-то, что, например...

Софрон договорил слова свои в ухо Анания, именно поэтому Платон вцепился в них и с той поры начал вслушиваться в бесконечный этот спор внимательнее, желая и надеясь узнать, что именно скрывают от него эти люди, какую «суть правды». Он даже начал думать, что хозяин и Софрон сделали что-то нехорошее, может быть, украли деньги и не могут разделить, а может быть, убили знакомого человека и человек этот снится им. Хозяин особенно часто говорил слова таинственные.

— А вот один англичанин выдумал штучку... А вот рассказывают, что немец, в Гамбурге, придумал машинку, — говорил он и спрашивал:

— Это — как?

— Баба! Суевер! — кричал на него Софрон.

Но прежде чем Платон успел понять что-нибудь — умер царь. Софрон принес его портрет в гробу, а хозяин, посмотрев на портрет, сказал тихо, как всегда:

— На купеческого кучера похож. Говорили — он был глуп и пьяница.

Доктор рассердился, закричал, швырнул портрет на пол и, ударив Анания кулаком по лысине, ушел, дико ругаясь, а хозяин, потирая лысину, сказал, печально вздохнув:

— Ведь вот какой... неуютный.

Платону стало жалко хозяина, хотя кротость Анания показалась ему смешной. Платон поднял с пола мрачный портрет и хотел изорвать его, но, вспомнив, как сильно он потерпел из-за этого царя, решил отомстить ему и извлечь из куска бумаги некоторую пользу; он смазал портрет сиропом малинового варенья и положил в комнате за магазином на стол — для истребления мух.

— Это ты хорошо придумал и давно пора, — сказал Ананий, увидав гибельную для мух приманку. — Но, — продолжал он, задумчиво разглядывая погибших и погибающих мух, — во-первых, для этого продается специальная бумага, а во-вторых — смазать надо было с изнанки, а не с лица.

Подумав и будучи мало осведомленным в истории, он добавил:

— И вообще — царей вареньем не мажут.

— Я патокой мазал тоже, — похвастался Платон.

Тогда хозяин, переливая глаза через стекла очков, стал расспрашивать ученика: когда и зачем он делал это? А выслушав рассказ Платона, сказал, крепко потирая наперченную, шершавую щеку:

— Ты мальчик с фантазией, и этим надобно дорожить; может быть, ты выдумаешь какую-нибудь машину или другое, полезное. Но, видишь ли... — И Ананий сказал Платону, что за непочтительное отношение к царям людей сажают в тюрьмы, ссылают в Сибирь, а некоторых даже вешают. Говорил он долго, скучно, и Платону казалось, что хозяин сам не верит тому, что говорит, а только хочет испугать. Отец умел говорить о царях устрашающим басом, но и его грозные речи, после печального случая с патокой, не пугали Платона и не могли уже поколебать его неприязнь к царям, ненавистным ему, как «суть» и просяная каша, в которой всегда попадались какие-то каменные зерна, отвратительно скрипевшие на зубах.

Через день, в свое обычное время, явился Софрон, как всегда — полупьяный и очень ласковый; он обнял Анания

и, всхлипывая, как худой сапог в дождливую погоду, несколько раз поцеловал друга в лоб и лысину; но когда прошел в комнату и увидал на подоконнике царский портрет, обильно усеянный мертвыми мухами, — он снова рассердился, закричал:

— Ананий, тихий чорт, это — в насмешку надо мною, а? Но ведь это преступление! До чего ты дошел? До чего?

А узнав, что это сделано Платоном, он схватил его потной, горячей рукою за челюсть и, встряхивая ее, орал:

— Съесть заставлю, паршивец!

Потом, схватив бумагу, залепил ею лицо Платона.

— Жри!

Ананий отнял ученика, тщательно мелко изорвал клейкую бумагу и, скатав ее шариком, бросил в помойное ведро. Затем друзья стали пить чай с настойкой на сливах, и скоро Софрон Беневоленский запел мрачно и плачевно, отрывисто произнося каждое слово:

Не бил — барабан перед смут-ным полком,
Когда-а мы вождя хоронили...

Он — рычал, а хозяин, после каждого слова, стукал кулаком по столу так, что чайные ложки, подпрыгивая, звякали.

К шестнадцати годам Платон вполне искусно выучился чинить больные и уставшие часы и увидал, что это неинтересно: механизмы всех часов, стенных и карманных, были почти одинаковы, а таинственная пружинка не действовала, если ее не скрутить. В шестнадцать лет Платон Еремин вытянулся длинным, сутулым парнем, его серовато-голубые глаза смотрели невесело и недоверчиво, белесые брови хмурились; ходил он по земле нетвердо, покачиваясь, глядя под ноги себе; на его голове, большой несоразмерно узким плечам, отросли светложелтые, длинные волосы; пряди волос падали на щеки ему, он часто отбрасывал их за уши небойким жестом худой руки с длинными пальцами.

Ананий сказал ему:

— Ты стал заметно похож на сочинителя стихов, то есть на поэта, вроде Фофанова, который должен мне семь тридцать и не отдает. Но — не распускай губы, рот надо

закрывать. Я знаю, что это от задумчивости, но не надо, чтобы все люди видели: вот — юноша думает!

Платон неясно представлял себе, каковы поэты, но после слов хозяина начал одеваться щеголеватее. Он жил одиноко, не находя друзей, сосредоточенный на каких-то невеселых думах; они свернулись в голове тугим клубком и не развертывались, должно быть, потому, что их подавляло мутное и тягостное влечение к бойкой горничной домохозяйки, Анюте; встречаясь с ним на дворе, на улице, она, подмигивая рыженьким, куриным глазом, спрашивала:

— Как живем?

— По-вчерашнему, — отвечал Платон, чтобы не говорить обыкновенных слов. Он был недоволен собою за то, что его тянет к этой бойкой, навязчивой и нечистоплотной девице, у нее уже был роман с подмастерьем Гильома Лютовым, который глупо высмеивал длинные волосы Платона и вообще издевался над ним; недоволен был Платон собою и за то, что ему не удавалось внести в жизнь свою ничего интересного.

Он пробовал приучить мышонка и случайно задавил его; было очень неприятно видеть, как этот серенький комочек живого, лежа на боку, дрыгает розоватыми лапками, а черненькая горошина глаза блестит на острой мордочке, точно пытаясь скатиться с нее. Приобрел Платон кутенка-пуделя — кутенок издох, заболев чумою.

Не удалось и еще кое-что; горничная Анюта оказалась отталкивающе бесстыдной; целуя, она кусала и мычала; потная и липкая, она вызвала у Платона ощущение брезгливости, какой-то утраты и ожога, казалось, что поцелуи оставили несмываемые пятна на лице и на шее его.

Работал он добросовестно, но у него явилось тревожное опасение, что хозяин скоро и так же неожиданно умрет, как умер ветеринар Беневоленский. Еще накануне Софрон, презрительно и гневно надувая радужные щеки свои, убеждал Анания:

— Фу-фу, чорт!.. Где логика? Ведь если жизнь естественна, значит, сопротивление ей противоестественно?

— Пойми, Софрон, я — не сопротивляюсь...

— А зачем протестуешь?

— Когда человек хочет покоя, он волнуется.

— О, дурак! — крикнул Софрон, ушел, а ночью умер на улице от паралича сердца. Похоронив друга, Ананий сказал:

— Хороший был человек, но не верил фактам.

— Что такое факты? — спросил Платон.

— Это — события жизни, — ответил хозяин не сразу и неясно. Всегда стараясь придать непонятным словам какой-нибудь образ, Платон представил себе факты похожими на уток домохозяйки; жирные и прожорливые, они крякали на дворе дважды в день: утром, когда Анюта гнала их на пруд, и вечером, когда они возвращались домой, точно купчихи из церкви, самодовольно лоснясь чисто вымытым пером.

Пытаясь развлечься, Платон накормил уток остатками слив, на которых была настояна водка; жадные птицы тотчас опьянели, и было очень забавно смотреть, как они, открыв клювы, бессильно и нелепо распуская крылья, влачили их по двору, качались на коротких ножках, квакали не своими голосами, точно смеясь, сталкивались, щипали одна другую и падали набок, странно похожие на подпивших базарных торговок. Смешнее всех вел себя селезень; воткнув нос в землю, он приподнимал поочередно ноги и тряс задом, как бы желая перекувырнуться; это не удавалось ему, он, распуская крылья, хлопал ими по земле и хохотал:

— Кха-кха-кха-а!

Потом он издох и, следуя его примеру, издохли две утки; домохозяйка взыскала с Анания деньги за это, а он ворчливо сказал Платону:

— Если ты сделал это намеренно, — это, брат, плохо, утки тоже не хотят умирать.

Вздохнув со свистом, он добавил:

— И вообще тебе следует вести себя сообразно твоей скромной наружности.

Он очень редко поучал Платона; он даже тайнам ремесла учил его небрежно и нехотя. Платон долго не мог привыкнуть к тому, что этот толстый, пьяненький чудак не умеет или не хочет сердиться. В тех случаях, когда ученик делал что-либо не так или портил, хозяин, надувая тугие щеки еще туже, спрашивал его беззлобно, с удивлением:

— Как же это ты не понимаешь?

В спокойном удивлении этом Платон чувствовал что-то почти так же обидное, как обидны были картавые насмешки парикмахера Лютова.

— Почему вы никогда не сердитесь? — спросил он Анания за вечерним чаем. — Ананий, переплеснув глаза через ободок очков, ответил вопросами:

— А — зачем? Что переменится, если я рассержусь?

— Все сердятся, — напомнил Платон.

— Бесполезно, — сказал хозяин. — Факты всегда будут против.

Ананий все более толстел, надувался, дышал тяжелее. Удивительно было его спокойствие, оно не покинуло Анания ни на минуту и в ту ночь, когда загорелся флигель, где жила хозяйка.

— Вставай, пожар, — разбудил Ананий Платона и, натягивая брюки на толстейший свой живот, он скорее советовал, чем приказывал:

— Пожалуй, огонь перекинется на нас; укладывай стенные в ящики, а я соберу мелкие.

Одеваясь, Платон смотрел в окно и видел, что флигель, размахивая красными, дымными крыльями, отрывается от земли в черное небо осени, а сараи дрожат, качаются, рвутся в огонь, по двору мелькает маленькая, круглая хозяйка, похожая на курицу, и визжит:

— Анна — утки! Анка — уток...

— Постой, кажется... — вопросительно произнес Ананий, взмахнув рукою, указывая пальцем в окно.

Платон перестал грохотать ящиками, на которых спал, прислушался к треску и вою на дворе, а хозяин, отодвинув Платона, пошел к двери, невнятно промычав что-то. Испуганный Платон выбежал за ним во двор, тотчас же наткнулся на Лютова, который, подпрыгивая, как хромой, кричал:

— Сгорит, сгорит...

Кричали все люди, бегая по двору, вынося на улицу узлы, мебель, толкая друг друга.

— Горничная, — сказал Ананий и покатился к флигелю, дышавшему черным теплым дымом. Идя, Ананий закатывал рукава рубахи, точно собираясь бить кого-то. Лютов бросился за ним, сильно толкнув Платона.

— Свинья, — обругал его Платон и, на момент, примерз к земле, видя, что хозяин входит в дверь флигеля, фыркавшую дымом; Платону показалось, что этот старик, никогда не молившийся, перекрестился, входя на крыльцо, точно он шел в церковь. Тут Платон что-то понял, чего-то испугался почти до потери сознания, взвизгнул и, согнувшись, побежал за хозяином в дым, увидал его влезающим по лестнице на чердак, оттолкнул, обогнал и, кашляя, задыхаясь, закрыв глаза, прыжками вбежал в треск и жар, действуя, как в сновидении. Споткнувшись, он упал на колени и увидал в дымнокрасном облаке у открытой двери в комнату горничной ее голые ноги, высунувшиеся из-под ситцевого пестрого одеяла, окутавшего ее тело до колен; одеяло дымилось, красные кусочки, вшитые в него, шевелились, как языки огня; у Платона трещали волосы, сохли глаза; ползком он добрался до ног горничной и потащил ее неожиданно легкое тело к лестнице, быстро скатился ступени на три, рванув за собою голое тело, схватил его, взвалил на плечо и понес, тут его сбила с ног струя воды, больно ударив в грудь и лицо, последнее, что осталось в памяти его зрения — два медных шара, раскаленных докрасна.

Очнулся он на постели хозяина, Ананий сидел в ногах у него, домохозяйка, у стола, всхлипывая, терла картофель о терку, крикливо картавил Лютов.

— Ну, что? — спросил Ананий, положив ладонь свою на колено Платона, а Лютов крикнул:

— Ты, чорт, храбрый!

— Волосы-то придется остричь, — сказал Ананий, подавая Платону мутное питье в стакане; горящими пальцами Платон взял стакан, выпил что-то противно кисленькое, пощупал голову, пальцы его коснулись сухой корки, она рассыпалась под пальцами.

— А лицо у меня — как? — спросил он.

— Брови сгорели, — сказал Ананий, — руку ожег, а вообще — все хорошо!

Домохозяйка, приложив к левой руке Платона тертый картофель, ушла, ушел и Лютов; Платон ощупал все тело свое правой рукою, отыскивая боль, не нашел ее и пожалел сгоревшие волосы, — не скоро отрастут они так пышно, какими были! Потом он крепко уснул и проснулся

вечером; багровые лучи солнца освещали на дворе искусанные огнем доски, бревна, шкаф с отломленной дверью, набитый венскими стульями, черный хаос на месте флигеля и среди хаоса — круглую кафельную печь; возвышаясь колонной, она очень напоминала памятник на кладбище, медный квадрат вентилятора усиливал это сходство. Вспоминая о том, что он сделал ночью, Платон чувствовал страх, почти не верил, что все это было так, как он помнил, и ему хотелось, чтобы люди рассказывали о его подвиге. Люди охотно удовлетворили его желание — Ананий, Лютов, домохозяйка, сорокалетняя, маленькая, с глазами овцы, дворник Федор и все говорили о бесстрашии его восторженно, а хозяйка особенно горячо восхищалась.

— Анна — ничего не помнит, — тараторила она, — даже не поверила, дура, что это ты вытащил ее! Говорит, что, проснувшись, увидала огонь, окуталась одеялом и с разбега ударилась обо что-то, разбила себе все лицо... Нет, какой ты герой...

Рассказы о героизме его Платону было приятно слушать, но судьба Анны не трогала, хотя он молча гордился тем, что именно он вытащил ее из огня, а не Лютов руками пахучими, как руки покойника. Ананий сообщил, что, может быть, Платону дадут медаль «за спасение погибавшей».

— Если не подгадит брандмейстер, он, конечно, говорит, что не ты спаситель, а тебя команда спасла...

— Др-рянь, — обиженно сказал Платон.

Он стал героем улицы, и сначала это ему так нравилось, что у него даже походка стала другой, он ходил напряженно, как солдат, выпятив грудь, держал голову прямо и смотрел на всех, сурово сдвинув брови. Но скоро он заметил, что роль героя очень требовательна, все люди ждут от него еще каких-то необыкновенных поступков, ждут, когда он снова полезет в огонь. Почти каждый раз, как только в городе возникал пожар, — в магазин врывался наглец Лютов и кричал:

— Платон, горит, бежим!

Платон отказывался бежать, думая с негодованием: «Какой дурак!»

Особенно неприятно и даже опасно почувствовал он себя, когда явилась горничная благодарить его. В боль-

нице она похудела, остриженная голова ее напоминала головню, смуглое лицо казалось закоптевшим, и от нее пахло жареной печенкой, которую Платон терпеть не мог. Одетая в синюю юбку и голубую, бархатную кофту, пропотевшую под мышками, она была похожа на воровку. Ее хитренькие глазки смотрели в лицо Платона требовательно, а говорила она так, как будто это он должен благодарить ее за то, что она жива.

— До этого случая все считали тебя робким, а теперь — уважают, — намекала Анюта.

«Чорт тебя возьми», — думал Платон, отвечая ей сердито и громко, чтоб слышал Ананий, работавший в магазине. Уходя, Анна спросила с улыбочкой:

— Загордился немножко, а?

— Нет, зачем же, — пробормотал Платон.

Да, роль героя — обязывает. На святках Лютов стал уговаривать Платона:

— Ты — храбрый, будь другом, помоги мне и одному телеграфисту избить певчего, а? Он, певчий, не сильный, мы бы и вдвоем вздули его, да у нас смелости не хватает. Помоги, а?

Платону не хотелось бить певчего, но он понимал, что, отказав Лютову, потеряет в его глазах и что некое чувство, подобное самоуважению, обязывает его помочь Лютову.

— Хорошо, — сказал он, — только я палку возьму.

Певчий действительно оказался тощеньким человечком, курносым, с рыжими усиками в стрелку, очень похожим на таракана-прусака. Он был до смешного близорук; для того, чтоб поймать на столе ресторана стакан пива, он, прищурясь, откидывался на спинку стула и все-таки протягивал руку осторожно, как слепой.

— Первый тенор, солист, Дробягин, — рекомендовал он себя Платону. На указательном пальце его правой руки блистал тяжелый перстень с рубином, — Платон сразу понял, что перстень — «нового золота», а рубин — стекло. Держался первый тенор пренебрежительно, зачем-то часто трогал булавку с красным камешком, воткнутую в его голубой галстух, а близорукостью своей надоедливо хвастался.

— Доктора говорят, что я замечательно близорук, аб-со-лю-тно, говорят они, а уж если аб-со-лю-тно, то

больше желать нечего! Я перебил неисчислимое число посуды. Лицо ваше, Еремин, для меня мутное пятно и больше ничего.

— Это всякий может, — задорно говорил Лютов, сильно выпив для храбрости, и, подмигивая Платону, толкал под столом ногу его.

Платон видел, что певчий безобидный хвастун, жалел его; за что он будет бить такого человека?

— А где телеграфист? — строго спросил он Лютова. — Лютов сконфуженно ответил, что телеграфист пьян и не мог придти.

— Га! — произнес первый тенор гусиное слово и, сардонически усмехаясь, сообщил Платону:

— Телеграфист — враг мой, мы с ним охаживаем одну интересную девицу, а перевес на моей стороне, как солиста, и он хочет меня бить, этот телеграфист. Но — я купил кастет, вот он!

Вынув руку из кармана, он показал Платону маленький рыжеватый кулачок, вооруженный железными шипами.

«Если он этой штукой ударит по лицу», — сообразил Платон и отодвинулся от солиста.

— Костин этого не побоится, — заметил Лютов и попросил, протянув руку:

— Покажи!

— Га, — сказал певчий, спрятав кастет в карман.

— Значит, я ухожу, — заявил Платон и ушел, не простясь с Лютовым и тенором, ушел в густую метель, но Лютов, догнав его, толкнул плечом, подпрыгивая, шагал рядом и дразнил:

— Струсил! Не ожидал я, что ты струсишь! Стыдно...

Платон остановился, оттолкнул его, ударил палкой по голове, еще и еще.

— Меня? — изумленно крикнул Лютов и, подпрыгнув, исчез в облаке снега, а на месте его, точно сверху упав, явился певчий; неожиданное появление его испугало Платона, и в то же время он почувствовал, что теперь, когда он побил Лютова, справедливость обязывает бить и певчего. Дважды молча ударив палкой по голове маленького человека, он прислонился спиною к забору, ожидая нападения, но тенор, подняв шапку, сбитую ударом, отряхнул ее, надел на голову и сардонически спросил:

— Это за что?

Не ожидая ответа, он тоже быстро исчез в густой каше снега, сказав оттуда:

— Эх, дикие свиньи...

Тогда Платон, очень смущенный и негодуя на себя, крикнул вслед ему:

— Извините!.. Я ошибся, я думал...

Лгать было бесполезно, ему не ответили; шуршал снег, приглушая вечерний шум города. Платон медленно пошел домой, чувствуя себя одураченным, испытывая горестное недовольство собою, осыпаемый хлопьями мокрой ваты снега. Снег падал все более густо, и чем дальше Платон шагал, тем более съеживались и тускнели в этой холодной каше желтые огни фонарей.

«Не удастся мне интересная жизнь», — думал он и спрашивал себя:

«А что значит жить интересно?»

Все жили скучно: Ананий, с его былыми спорами, хозяйка в заботах об утках, Лютов, влюбленный в книжку сберегательной кассы, он читает эту свою книжку, как мальчик пятачковую сказку. Неинтересно живут приказчики с их тревожной суетливой беготней за швейками. Неужели не скучно жить первому тенору с фальшивым перстнем? Конечно, Ананий спорил с ветеринаром от скуки, так же от скуки дворник Федор ежедневно играет в карты с поваром адвоката Интролигатина, адвокат же каждую ночь уходит в клуб играть в карты. Если б жизнь была интересна, никто не играл бы в карты.

Все более тягостно он чувствовал эту всюду, как дым, проникающую скуку, но не мог понять, чего он хочет, и не пробовал искать, где скрыто интересное, не похожее на то, чем заняты все люди. У Анания было несколько толстых книг — «Краткий курс механики», «Сон и сновидения», «История умственного развития Европы» и еще какие-то, штук пять, все это были книги непонятные, и даже сам Ананий уже не читал их, а «Историей умственного развития» покрывал миску молока, которое пил ночью и утром, натощак.

Платон видел, что горничные и швейки смотрят на него все более благосклонно, но не соблазнялся, зная, что романы влекут за собою множество неприятного и, между

прочим, вызывают ревность, которая делает необходимыми заговоры и драки, как это подтвердил случай с тенором. Кроме того, романы требуют какой-то особенной ловкости слов и уменья бесстрашно, нагло лгать, как лгал Лютов, а Лютову Платон не хотел подражать ни в чем. В доме явилась новая квартирантка, нахлебница домохозяйки, Петрунина, телефонистка, прямая как солдат, с длинными ногами, в пенснэ на красненьком носу; Платон чинил ей часы, с той поры она здоровалась с ним очень ласково:

— Алло, Еремин!

Но и это было не то, чего хотел бы Платон.

То, чего он хотел, убедительно подсказал ему англичанин Лесли Мортон, эксцентрик; этот необыкновенный человек был решающим впечатлением юности Платона Еремина, он в несколько минут распахнул пред ним дверь в мир необычного и чудесного. Он обладал изумительно разработанным уменьем делать все не так, как делают обыкновенные люди. Сильный, ловкий, он ходил на вывернутых ногах, походкой какой-то большой, пьяной или безумной птицы и совершенно серьезно говорил птичьим голосом. У него и ступни ног были кожаными лапами птицы, да и весь он казался оперенным, обладающим невидимыми крыльями. Садясь на стул, он перекидывал ноги через спинку его и все делал так, что было ясно: иначе делать он не любит, не хочет, хотя и умеет. Он создал для себя забавнейший и даже несколько жуткий мир, в котором все вещи открывали ему какие-то свои смешные стороны, — мир, в котором самого Мортона ничто не удивляло, но все изумляло людей своей неожиданностью и капризным отсутствием здравого смысла.

Когда Мортон закурил сигару, голубой дым ее курчаво и обильно пошел из его лысины, на которой была нарисована гора, мяч, брошенный им на арену цирка, превратился в куб, трость, положенная на стол, ожила, извилась змеею и сползла на песок; Мортон, поймав ее, проглотил. Сняв с головы цилиндр, он дымно выстрелил из него женской кофтой и ловко притворился, что это испугало его; брови Мортона перевернулись и встали на лбу двумя знаками вопроса. После этого, гибкий, но явно нарочито неуклюжий, он стал еще более загадочен, и Платону показалось, что англичанин рассказывает свое сновидение,

воспроизводя его пред людями со всею чудесной и необъяснимой сложностью.

Было ясно, что этот человек с широким, красным лицом притворяется, будто бы изумляясь всему, что он делает, будто бы испуганный чудесным, что он сам же открывает в вещах. Конечно, Мортон знал нечто недоступное обыкновенным людям и ложно удивлялся лишь для того, чтобы не пугать их. Обычное не существовало для него; все, чего он касался, он воодушевлял забавной внешне, но жутковатой глупостью, открывая во всем таинственно скрытое смешное; будильник в его руках пел петухом, а на циферблате будильника являлась зеленая рожа и щелкала зубами.

Все это отличалось от фальшивой игры обычных фокусников, и все Платон воспринимал как нечто исполненное серьезного значения, завидной свободы и власти над вещами. Лесли Мортон делал то, что хотел, так, как хотел, и никто иной не мог делать того, что он умел. Он жил по каким-то своим законам и дерзко показывал свое презрение ко всему, что Платону казалось непоколебимо установленным, законно и навсегда мертвым.

Уже идя домой, по улице, скупо освещенной сердито шипевшими огнями газовых фонарей, Платон шагал, вывернув колени и ставя подошвы косо, идти так было неудобно, а — приятно. Он снял шляпу пред фонарем, сказав ему:

— Алло, фонарь!

И ему показалось, что двуцветный веерок огня загорелся ярче, а окно дома усмехнулось. Взойдя на ступени церковной паперти, он скатил с нее свою соломенную шляпу, и ему было приятно видеть изумление члена окружного суда, Старостина, когда шляпа подкатилась под ноги старика, заставив его остановиться и придержать ее тростью.

— Мерси, — пискливо сказал Платон.

— Зачем это вы? — спросил старик. — Вы, кажется, трезвый.

— Мы не пьем и не курим, — сообщил Платон птичьим голосом, а человек, привыкший осуждать, уверенно сказал:

— Тогда это глупо!

Платон, взяв шляпу в зубы, поднял руки вверх и пошел задом наперед, а старый судья, стукнув палкой о панель и затем грозя ею, крикнул:

— Я знаю вас, часовщик!

«Обиделся, старый дурак, — с грустью сообразил Платон. — А на что обиделся? Не поступить ли мне в цирк?»

Он быстро убедился, что в этом нет надобности, можно очень интересно жить и в обычной обстановке, только следует делать все по-своему. Несравнимо забавнее переставить стул с места на место не так, как это делают все, а сначала перевернуть его в воздухе кверху ножками: после этого стул кажется более веселым. Приятно утром сказать самовару:

«Здравствуй, пожарный!»

Этого никто не говорит. Платон ловко научился завязывать галстух на носу у себя; накинув ленту галстуха на затылок и уши, он завязывал бант на носу и уже затем спускал его на шею, там затягивая узел. Входя в магазин, он, прежде чем сесть за работу, почтительно целовал английские часы в гробоподобном ящике. Иногда он проделывал нечто неожиданное для себя и скоро понял: чем меньше думаешь о том, что и как надо сделать, тем более забавным выходят эти невинные развлечения.

Игра увлекала. Все вещи постепенно принимали в его глазах иной вид, каждая из них казалась скрыто одушевленной; с ними можно было говорить, и хотя они не отвечали, но казалось, уже начинают понимать что-то. Они как будто теряли свою устойчивость, привычку к месту, просили о передвижении. Хрустальная вазочка на львиных бронзовых ножках, из которых одна погнута, была наиболее интересна; в этой вазе Платон держал различные мелкие части механизмов; он приучил ее наклоняться в его сторону, постукивая пальцем по столу, но не касаясь вазы.

Нередко в этой игре Платон уже ощущал страшок, испытанный им в цирке, задумывался и спрашивал себя:

«А не сойду я с ума от этого?»

Но опасение было мимолетно. Платон чувствовал, что темный камень в голове его становится легче, мягче, тает различными мыслями. Он окончательно убедился в своей способности делать необычное, прочитав наклеенное на

заборе объявление какой-то аптеки. «Если ваш желудок плохо варит», — говорило объявление; Платон вдруг выдумал и приписал карандашом, отчетливо:

«Берегитесь, это вас состарит».

Неожиданный проблеск новой способности приятно удивил его, и не без гордости он подумал:

«Вот, могу и стихи сочинять».

С вещами все шло хорошо; даже часы, надоевшие ему разнозвучным, но равнодушным чавканьем, стали как будто интересней; однообразные циферблаты ожили, каждый из них приобрел свое лицо, и хотя все часы, как раньше, считали время или забегая вперед, или отставая от старых, английских часов, теперь Платону казалось, что каждые из них имеют на это свою тайную причину. Одни шли быстрее зимой и отставали летом, другие торопились днем и замедляли ночью свой ход; те отбивали счет минутам устало, эти — с явной радостью, и вообще было ясно, что у каждых — свой характер. О причинах их разногласия Платону не хотелось думать, не только потому, что он не любил часов, но и потому, что не умел вовлечь их в свою игру.

С людями было хуже, люди не понимали его. Когда телефонистка Петрунина, стеклянно улыбаясь, сказала обычное:

— Алло, Еремин!

— Позвольте рекомендоваться: Платон Бочкинс! — ответил он ей. Нахмурясь, дернув головою, как лошадь, она спросила:

— Что такое?

— Бочкинс, екцентрик, это — я!

— Кажется, вы становитесь нахалом, — сообщила ему телефонистка.

«Глупая», — решил Платон.

Ананий терял зрение, у него тряслись руки, он стал больше пить, а выпив, мычал:

— М-да. Может быть. А впрочем, все равно.

Но и он сказал подмастерью:

— Ты как-то вывихнулся, отчего это, а? Это, брат, плохо!

Лютов тоже находил, что Платон кривляется.

— Аристократа гнешь из себя, — говорил он.

Непонимание обижало Платона, но все же было утешительно подмечать, что люди стали смотреть на него внимательнее, чем прежде, и говорят с ним осторожней, а Лютов явно завидовал его жестам и манерам.

Ананий все чаще, забывая смигнуть лупу из глаза, сидел, опустив руки на колена, и молча думал над чем-то полчаса, час.

— М-да-а, — мычал он и расплывался в кресле. Иногда он несколько минут гонял пальцем по столу часовое стекло или играл колесиками, как маленький; иногда, стоя пред умывальником, писал что-то пальцем по воде, в тазу. Платон ревниво наблюдал за ним, пытаясь понять, что это: подражает ли хозяин ему или же, хирея, становится слабоумен? Вторая догадка оказалась ближе к правде, Ананий окончательно ослабел, обмяк и, виновато улыбаясь, сказал:

— Вот и того, вообще... Напиши письмо сестре: умираю, приехала бы... Неприятнейшая баба.

— Хм, — сказал доктор, приглашенный Платоном, и, сунув руки в карманы, добавил: — Надо лежать, а мы посмотрим.

В магазине он спросил Платона:

— Вы — сын?

— Да, но — не его.

Доктор удивленно мигнул, взял рубль и ушел, сказав:

— Плоховато!

Ананий четыре дня молча лежал в постели, изредка улыбаясь слабенькой улыбкой. Приехали две старухи: одна — толстая, с палкой, с пучком седых волос на подбородке и тряпичным носом; другая — длинная, с маленькой, несогласно кивающей головою, в очках; она нюхала табак и чихала негромко, шипящим звуком, голос у нее тоже был шипучий, а на поясе позвякивало множество ключей. Они обе прочно уселись у постели Анания; очковая старуха, пренебрежительно назвав Платона молодым человеком, приказала ему вскипятить самовар. Самовар долго не закипал, потом начал незнакомо, недружелюбно посапывать и пищать, как бы требуя чего-то.

«Налью в воду уксуса, — вдруг решил Платон, — пусть эта чихотня попьет кислого чая».

Он взял с полки бутылку, но темное стекло ее отразилось в меди таким неприятным, грязным пятном, что Платон, отказавшись от своего намерения, мысленно сказал самовару:

«Не хочешь? Ну, и не надо».

Ему было приятно услышать ворчание старухи:

— Экая вода жесткая! Самовар-то, должно быть, гòда не лужен...

Тринадцать дней сидели старухи, ожидая, когда умрет Ананий, и очковая каждый день уговаривала его позвать попа.

— Успеем, — тихонько отвечал он, шевеля пальцами, и в десятый раз спрашивал, поводя глазами на старуху с бородой: — Тетка-то жива?

— Оглохла, а живет.

— У-у, — говорил Ананий, выливая тусклые глаза на морщины под ними.

— Смотри, умрешь без покаяния! Позову попа?

— Успеем.

Он умер тихонько, на закате солнца, так и ускользнув от покаяния. Ночью старухи бесстрашно легли спать в комнате на полу, а Платон ушел в магазин и, сидя там, слушал, как возится, брякает ключами и, шипя, чихает очковая; слушал и думал, что Ананий лежит выше старух и было бы хорошо, если б он свалился на них. Неугомонно чмокали и чавкали маятники, шуршали за отклеившимися обоями тараканы, было тоскливо и думалось о том, что надо искать другое место. Луна, тоже подобная маятнику часов, прыгала по синим ямам, среди облаков; дымные облака поспешно плыли на запад, и казалось, что тени их стремятся опрокинуть каланчу, столкнуть с нее пожарного. Платон вырвал из книги заказов лист бумаги и стал сочинять стихи, чтобы одолеть скуку. Сначала у него пошло хорошо:

Облаками окутана
Возвышается каланча.
И днем и ночью тут она,
И будто ангел без меча
Пожарный солдат на ней,
Сторож вредных огней...

— Чвак-чок, чмок-чок, — чавкали маятники, мешая сочинять.

Дальше стихи о пожарном не шли. Платон долго думал, что еще можно сказать о пожарном? Но, ничего не выдумав, зачеркнул написанное и стал сочинять другое.

По ночам, — сплю ли я, не сплю ли, —
Я знаю: изо всех щелей
Окружающих меня вещей
Вылетают, как пули,
Разные думы.
Например: стул
Производит некоторый гул,
И я понимаю его ропот...

На слово «ропот» подвертывалось, почему-то, неприличное слово. Платон усердно искал другие и не находил, а неприличное лезло все назойливее, казалось, что стул требует именно это пошлое словечко, не соглашаясь с другими. Платон задумался: вот и слова, даже самые простые, имеют, так же как все вещи, свой характер, свои упрямые требования. Все связано, спутано, и только Лесли Мортон умеет разрывать эти путы и связи.

Думать об этом было интересно, но не удалось; дверь за спиною Платона скрипнула, из черной щели высунулась маленькая, гладкая головка очковой сестры Анания; придерживая тело свое рукою, похожей на лапку ящерицы, сестра ядовито зашипела:

— Вы, молодой человек, напрасно сопите...

— Как? — спросил Платон.

— Так. Вы сопите совершенно напрасно: все сосчитано и записано.

— Что такое — записано? — спросил Платон сердито.

— Всё, все вещи и часы, да-с! Запись у меня. И, пожалуйста, не выдумывайте глупостей. Есть полиция и есть суд.

Платон повернулся к ней спиною, обиженно пробормотав:

— Я вас не касаюсь.

Очковая шипела:

— И не смеете, и не можете. Всем известно, что покойник был полуумный, есть свидетели.

Она чихнула, и на этот раз так грозно, что загудели боевые пружины всех стенных часов. А притворяя дверь, старуха напомнила:

— Есть суд!

Тихонько обругав ее, Платон посмотрел на стихи: они были написаны кривыми строчками, напоминали развалившийся забор, и было в них что-то неприятно рыжее, это, конечно, от чернил. На стихах о пожарном сидел таракан, поводя усами, казалось: он читает, и ему не нравятся стихи; Платон сшиб его щелчком и начал ставить крестик на каждую букву, буквы приняли сходство с мухами, тогда он стал приделывать буквам усики, и на бумаге явились ряды тараканов. Уничтожив стихи, Платон написал четко и твердо: «Таракан не вреден, а противный и ни к чему».

С утра началось нечто весьма обидное: пришел полицейский чиновник, жесткий, цинкового цвета, с острыми локтями; он привел гладко причесанного человека в мундире со светлыми пуговицами и ювелира Паламидина, прозванного Грек. Очковая старуха, наталкивая их всех, по очереди, на Платона, шипела:

— Он всю ночь сопел против моих прав. Он бумаги рвал, заметьте!

Полицейский и гладкий допрашивали Платона как жулика, а Грек нашел в книге заказов бумагу с тараканами, носом прочитал ее и подал гладкому:

— Тут какое-то соображение написано.

— Чепуха, — сказал гладкий человек.

А старуха насвистывала, шипела:

— Покойник был полуумный, он в бога не верил и даже отверг родных. Он семнадцать лет прятался от нас.

Грек водил масляными глазами по рожицам часов, шевелил бритой, синей губой и считал что-то на пальцах, тихонько, в такт маятникам, причмокивая. Платон знал, что об этом ювелире ходят по городу очень темные слухи, что «пробирная палата» * дважды привлекала его к суду; Платону казалось, что из голых глаз Грека вытягиваются темные, паутинные лучики и всё в магазине связывают, оплетают.

Полицейский и следователь ушли, Грек, затворясь в комнате с очковой старухой, говорил там с нею о чем-то вплоть до вечера, когда поп и дьячок явились служить

---

* Учреждение, которое следило за точностью процента лигатуры в золоте и серебре.

панихиду; за панихидой Грек, потный, растерянный, горячо шепнул Платону:

— Покупаю магазин со всей требухой, — остаешься?

— Я... позвольте подумать, — ответил Платон, наблюдая, как улыбается кадило, голубовато дымя, весело позвякивая и пресекая желтенький, пыльный луч солнца.

— Думать можно, но — не много! — разрешающе сказал Грек.

Было как-то странно и даже неловко видеть, что смерть Анания ничего не изменила, только остановились дешевенькие стенные часы, большой черный таракан залез в механизм, неудобно погиб там, и жалкий труп его остановил движение колес.

Платон равнодушно сел в кресло Анания, к столу, против окна, а для услуг ему и уборки магазина Грек втолкнул с улицы рябого, шершавого мальчика Коську, сказав ему:

— Помни, шельма: глух, слеп, нем.

Остроглазый Коська оказался человечком понятливым, ловким и усердным, а ювелир Паламидин был человек чем-то воспаленный; он дергался так, как будто у него одновременно и нестерпимо зудела вся кожа, он хватал себя руками за плечи, колена, шлепал ладонью по затылку, по усатому лбу, щипал пальцами адамово яблоко, заросшее колечками двуцветных волос, щипал грязные усы, похожие на щеточку для ногтей. Глаза его, быстрые, беспокойные, обливали все вокруг горячим маслом; даже когда Грек сидел, он качался, как в лодке, плывущей по бурной реке, а когда шел, земля как будто коробилась под его ступнями, длинными, как лыжи. Его тощенькое, темнокожее тело, закопченное в каком-то очень густом дыму, источало солоноватый запах ветчинной колбасы; он очень любил рахат-лукум и ел его за чаем, как хлеб. Он спрашивал Платона:

— Любовницу имеешь? В карты играешь? А — на бильярде?

И выслушав краткие «нет» Платона, щипал свой кадык, удивляясь:

— Как же ты живешь? Непохоже живешь. Ты скрываешь что-то, а? Врешь, а?

Он вскакивал в магазин всегда неожиданно и так, точно украл что-то, а за ним гнались; он являлся то рано

утром, когда улица еще только просыпалась, то стучал в окно со двора ночью, когда весь город еще спал и только в публичном доме Мелиты Исааковны Шварцман кривоногий тапер, похожий на рака, неутомимо выколачивал из рояля вальс «Дунайские волны».

Под звуки этого вальса Платон думал о какой-то неотразимо обаятельной и невероятно несчастной вдове, измученной любовью и ожидающей утешения за городом, над омутом, в котором Платон хотел утопиться; там стоит она в белом платье, с распущенными волосами, очень похожая на знаменитую укротительницу львов, девицу Зениду, которую львы съели; стоит, вычерчивает концом зонтика узоры на песке и прекрасными, добрыми глазами смотрит на огромный, черный блин омута и на масляную каплю луны посреди его.

Под звуки вальса «Дунайские волны» всегда хотелось сочинять жалобные стихи, и Платон усердно писал их, но проклятые, скользкие слова упрямо не укладывались в строки, не звучали в такт вальса, а расползались по белизне бумаги корявым узором мертвых, беззвучных знаков. Раздраженный бесплодным напряжением выразить нестерпимо волнующее, Платон видел, что эти черненькие знаки, сползая с конца пера, шевелятся на бумаге, растут, беспокойные и мохнатенькие, точно глаза Грека, шевелятся, как будто издеваясь над Платоном. Тогда он мстительно давил каждый знак крестом, и бумага густо покрывалась крестами, как тот угол кладбища, где зарывали нищих.

Ряды этих крестиков вызывали одуряющую скуку, и она, еще более обижая Платона, заставляла его приписывать крестикам ножки, усы, кружочки глаз, остренькие уши, пятипалые лапки, и вот с листа бумаги на него смотрел созданный им мир толстеньких уродцев, длинные ряды существ, которые безмолвно убеждали его, что он все-таки способен создавать нечто свое, тоже капризное, как слова, и утешительно не похожее на скучные колесики часов. И было как-то горестно приятно хоронить свои мыслишки под черными крестиками...

Скоро после смерти Анания в городе начался мятеж, по улице пошли люди с флагами и портретами царя, они сбивали кулаками шляпы с прохожих, ударили и Платона

палкой, отломив кусок поля его соломенной шляпы. Мятежниками командовал маляр Дерябин, в красной рубахе, толстый, он был удивительно и даже страшно похож на раздраженного снегиря, он неистово орал «Боже, царя храни», и Платону казалось, что язык у него так же черен, туп и толст, как у этой проклятой птицы.

Мятеж продолжался несколько дней и был прекращен пожаром на заводе спирта, но за эти дни Платон тоже почувствовал себя мятежником, оскорбленным человеком, которого безвинно бьют палкой по шляпе; было и еще что-то оскорбительное в этом мятеже маляра Дерябина, как будто маляр возвращал Платона к прошлому, под лестницу, навязчиво воскрешая воспоминания о ночном шорохе тараканов, свисте снегирей, побоях отца.

Вспомнив, как он уже дважды ловил тараканов и мух на портрет царя, Платон купил за десять копеек раскрашенное изображение голубоглазого человека с подписью под ним «Благоверный» и «Вождь народа», густо смазал его патокой, смешанной с гуммиарабиком, и прикрепил к стене комнаты. Тараканов погибло не много, но мухи покрыли портрет почти сплошь, так что Грек, видимо, даже не узнал, кто это изображен.

— Ага, сколько приклеилось, подлых, — сказал он, мельком взглянув на ловушку, и задумался, почесывая грудь против сердца. А за чаем он сказал:

— Ты, Еремин, соблюдай осторожность, чуть услышишь — идет это стадо, магазин запирай. Эти скандалы не для нас, будь человеком независимым, ни туда ни сюда. Это шум для дураков, а твое дело умное: поел, попил, полюбил да помер. На остальное — плюй с горы!

Обжигаясь, он торопливо хлебал чай, жевал черными зубами вязкий рахат-лукум, — он приносил его с собою в кармане рыжего, мохнатого пальто с перламутровыми пуговицами, потирал лицо так крепко, как будто хотел сломать свой копченый нос, и бормотал:

— Ты — помалкивай, да! Дни эти хорошо пахнут. Все обалдели. Картошку за яблоко съедят, а не то что... Да. Теперь — р-раз! И — готово. Хватит на все продолжение жизни. В Крым поеду. Даже на Кавказ, может быть. А — в Вену? И в Вену можно... Где Паламидин, Эраст? Каюк! Достань-ко его голой рукой!

Платон не чувствовал желания понять болтовню Грека, но Грек, забавный и не похожий на обыкновенных людей, нравился ему. Однажды Платон спросил его:

— Вы женаты, Эраст Константинович?

Грек удивился.

— Я? Еще бы! Я, брат, так был женат... У меня даже и дети были! О-у!

Он закрыл глаза, свистнул тихонько и горячо, с гордостью сказал:

— А теперь у меня любовница. Это все знают, чудак! Третья. Необыкновенная, по-французски говорит, в оперетке пела, у нее ножка сломана... Любовница, братец, дело дорогое! Одни ботинки — ого-го! Не говоря о шляпах. Ботинки, братец мой, это очень тащит рубль. Очень! Ну, однако — необходимая вещь: человек начинается с головы, а женщина — с ног. Запомни!

Иногда Грек, являясь ночью, со двора, приводил тоже очень интересного человека, бритого, как повар, красивого, как женщина, и ласкового, точно собака. Был он среднего роста, очень строен, ловок, подобно акробату, костюм сидел на нем, как трико. Был вежлив; серые глаза его ласково улыбались, всегда обещая сказать что-то необыкновенно милое, интересное, но говорил он с великой осторожностью, вполголоса и так бережно, как будто он отливал слова свои из тончайшего стекла. В нем было что-то приятно лениввенькое. Левую руку он всегда держал в кармане брюк, тихонько побрякивая, позванивая там монетами. Платон заметил, что иногда человек этот, раньше чем ответить на вопрос, вынимал из кармана золотой, крутил его на столе, внезапно накрывал ладонью, и, если монета ложилась орлом вверх, — он отвечал отрицательно, кратко:

— Нет.

Грек называл его Агатом, Агашей, порхал вокруг летучей мышью и уговаривал:

— Агаша, да — прими же в расчет дурость времени, обалдение людей.

— Не винтись, Грек, грешник, — ласково отвечал Агат, прихлебывая из чайного стакана темное вино, от которого исходил странный запах клопа и ладана.

— Ой, Агат, — вздыхал Грек.

— Не мешай судьбе, — говорил Агат.

Платону очень хотелось понять, чем занимается этот щеголь и красавец и чем еще, кроме своего мастерства, занят Грек? Почему он ходит с Агатом по ночам и становится все более беспокойным?

И вот, однажды утром, когда Грек, натрепав за что-то уши Коське, исчез, Платон подумал вслух:

— Что он делает?

— Фальшивые деньги, конечно...

— З-з-з, — процедил Платон сквозь зубы, испуганно повернувшись в кресле, глядя в угол, — там, в пыльном сумраке, пауком сидел на полу Коська, скрепляя порванные цепи гирь, щелкал плоскогубцами и качал бритой, медноволосой башкой.

— Зачем? — спросил Платон. — То есть...

— Н-ну, — ответил Коська тихо и сердито, — хочет хорошо жить!

— Врешь, — сказал Платон, уже зная почему-то, что Коська прав.

— Н-ну, — отозвался шершавый мальчик.

Платон, смигнув из глаза лупу на ладонь, как это делал Ананий, задумался:

«Такой тщедушный, живет без слов, как мышь, а — вот что знает! Фальшивые деньги, конечно, так и есть! Грек погубит меня, чорт его возьми! Надо искать другое место. Даже — уехать в другой город».

Темным, волнующим ручьем протекали быстрые минуты, полные тревоги. Коська, в углу, позвякивал цепями, напоминая о кандалах арестантов, которые ежемесячно проползали серой вереницей крыс по улице, из тюрьмы к вокзалу. Чувствуя себя развинченным, ослабевшим от испуга, Платон, искоса поглядывая на медный шар Коськиной головы, сказал:

— Болтаешь зря, ерунду...

— Я — только вам.

— Из твоей башки десяток маятников надо бы нарезать.

— Чать — голова внутри пустая, — удивленно напомнил Коська и прибавил:

— А вы — не деретесь.

«Нет, его не испугаешь, — снова задумался Платон. — И — не за что пугать, это хорошо, что он сказал».

До этих минут мальчишка ничем не удивлял его, он казался глупым, как все мальчишки, тараканов называл «ползуканами», а разбив чайный стакан, сказал:

— Какое стекло всегда бойкое.

Однажды, посланный Агатом в дом Мелиты Шварцман, Коська принес оттуда большой ворох разноцветных лоскутков.

— Это что? — спросил Платон.

— Лоскусочки.

— Надо говорить — лоскуточки...

— Почему?

Платон не знал — почему.

— А зачем тебе?

— Сестре.

Почему-то не верилось, что у такого пыльного человечка есть сестра.

Вспомнив все это о Коське, Платон подумал, что мальчишка, может быть, только притворяется глупым, а на самом деле он — хитрый и приставлен следить за Платоном.

«Уйду отсюда...»

Вечером, тревожно звякнув всеми стеклами и колокольчиком, распахнулась дверь с улицы, вторгся Грек, густо посоленный снегом, и начал ругаться:

— Погода, чорт, гадость...

Платон смигнул на ладонь лупу и сказал торопливо, но со всей твердостью, на какую был способен:

— Я не хочу больше работать у вас, рассчитайте меня.

Грек, снимавший пальто, развел руки, и пальто повисло за спиной его как огромные крылья. Он спросил:

— Это что еще?

И обвел Платона строгим, связавшим его взглядом.

— Дурак!

— Не ругайтесь, я не мальчик.

— Еще в морду дам, — обещал Грек и крикнул Коське: — Прими пальто, не видишь!

Он быстро прошел в комнату, толкнув Коську вперед себя; минуты через две шопота Коська взвизгнул:

— Дяденька, — ой! Вы сами велели...

Дверь отворилась, Коська стремглав бросился на улицу, загремел ставнями окна и двери, вогнал с улицы в магазин темноту. Платон, вздохнув, подумал:

«Не буду зажигать огонь и не пойду к нему».

Но Грек сам вошел в магазин, налил его светом электричества и сразу ожег Платона струею горячих слов.

— Так, значит, я делаю фальшивые деньги, да?

Он топнул ногою и, понизив голос, спросил:

— А кто царские портреты патокой мажет? А кого вешают за это? Кого в каторгу? Царь-то — где? Вот я покажу его так, как он есть, с мухами, — царь-то у меня спрятан! Ты, дурак, бабьи волосы, думаешь — это шутки?

Слова Грека не очень пугали Платона, но жутко было копченое, чернозубое лицо, и нехорошо сверкали грязно-масляные глаза. Грек говорил быстро, следить за его словами Платон не успевал, и ему казалось, что Грек играет им, подкидывает его, как мяч; угрожая, издеваясь, посмеиваясь и успокаивая, он не давал верить ни угрозам, ни утешениям. Было бы лучше, понятнее, если б он только грозил, но он насмехался:

— Орясина, я нарочно научил мальчишку испытать твою скромность, а ты ему поверил!

А вслед за этим он спрашивал:

— Деньги делает — кто? Царь. А царь тебе — кто?

— Не знаю, — сказал Платон, вспомнив побои отца, трепку ветеринара, угрожающее пение маляра Дерябина, свист снегирей.

— Не знаешь, а патокой мажешь? Врешь, у тебя тайное знакомство со студентами! Сибирь тебе!

Слова Грека брызгали, точно корка лимона, если ее крепко пожать; Грек трепетал, точно петух, бегущий против ветра.

— Царь живет на твои деньги, в каждом его рубле — девять гривен твои, даже девяносто три копейки, — можешь это понять? Даже Коська понимает, что царь живет на наши деньги...

Пришел Агат, вежливо поздоровался с Платоном, улыбаясь, выслушал рассказ Грека о том, как ловко Коська уличил Платона в легковерии, и сказал, вздохнув:

— Ерунда.

Потом, разглядывая черный ноготь пальца на левой руке своей, прибавил:

— Надо что-то делать решительно.

— Беспокоит? — осведомился Грек.

— Хоть отрубить.

Платона укусил страх, заставив подумать, что эти люди могут и его отрубить, как больной палец. Ясно, что Агат пришел не случайно. Грек посылал за ним Коську; вот — мальчик воротился и возится в комнате.

— Даже Коська, — повторил Грек, вскочив и надевая пальто, а Платон, почувствовав себя зажатым в тиски, сказал примирительно:

— Коська очень умный...

— То-то же, — проворчал Грек и, встряхнув с шапки растаявший снег, ушел. Агат, проводив его в комнату, ласково сказал там:

— Мальчик, теплой воды и тряпочку!

Он минут десять делал там что-то, вполголоса разговаривая с Коськой, потом, отворив дверь, кивнул Платону головою:

— До увидания!

— Чай пить, — позвал Коська.

За чаем Платон спросил мальчика:

— Какие деньги они делают?

— Никакие, конечно.

Подняв от блюдца корявую, источенную оспой рожицу, Коська сказал:

— Вы думаете — что? Эраст Константинович нарочно научил меня сказать про деньги, а денег-то и нет!

«Врет, жулик, а я пропал», — подумал Платон.

Когда мальчик лег спать, Платон, подавленный страхом, чувствуя себя птицей, попавшей в сеть, сел за работу в магазине, не зная, чему верить. Делает Грек деньги или нет? Наверное, Грек занимается темными делами, может быть, скупает краденое, но — деньги? Если донести на него полиции, он, конечно, скажет о портрете царя, а Платон знал, как много людей страдают за непочтение к царю; знал, что сын сумасшедшего почтмейстера, студент, посажен в тюрьму только за то, что написал на памятнике под словами «Александр III»: «И больше не надо».

«Да и что мог бы я сказать полиции о Греке?» — думал он и не заметил, как у него явилась утешительная мысль: не всякому человеку удастся попасть в шайку фальшивомонетчиков.

Он вынул из кармана две бумажки в три и в пять рублей. Пятирублевка была, несомненно, настоящая: грязная, измятая, с отрепанными краями, а зеленоватая трехрублевая — нова, чиста; она честно поскрипывала в пальцах, такая приятная, что ее хотелось сунуть в верхний карман пиджака так, чтобы уголок был виден, как пунцовый платочек в кармане Агата.

— Конечно — эта! — решил Платон, бережно сложив бумажку, отделил ее от грязной настоящей и задумался: как это чудесно, что вот маленькая бумажка, сделанная, вероятно, Агатом, дает место в цирке пред ложами, среди богатых людей, дает право пообедать в лучшем ресторане и даже посетить очень порядочный дом с веселыми девицами. Да, Агат замечательный человек, он, может быть, смелее даже Лесли Мортона...

«А что бы я сделал, если б у меня было много фальшивых денег?»

Он тотчас решил, что открыл бы солиднейшее увеселительное заведение, пригласив самых знаменитых эксцентриков и лучших музыкальных клоунов.

С этой мыслью он и лег спать, а рано утром, еще до чая, в дверь со двора ворвался Грек по колено в снегу, с красными ушами, обругал мороз, солнце, бога, вынул из кармана неизбежный рахат-лукум и сел к столу, ерзая, пощипывая беспокойное тело свое.

— Послушайте, Эраст Константинович, — сказал Платон, — я хотел бы серьезно поговорить о деньгах...

— Говорить можно обо всем, — неопределенно молвил Грек и, вынув бумажник, отсчитал Платону пять трехрублевок, потертых и явно настоящих.

— Вот деньги, получи! И — не пищи!

— Я не об этих...

— Деньги все одинаковы, — пробормотал Грек, разжевывая вязкое лакомство, затвердевшее на морозе.

— Вы знаете, — продолжал Платон, — я человек скромный и честный...

— Известный, интересный, а я — несносный, купоросный.

— И я не жадный, — упрямо продолжал Платон. — Я иду на это потому, что люблю все скрытое; я ведь понимаю, что все, — кроме часов, конечно, — скрывает

в себе свой секрет. И даже — деньги; деньги даже — особенно.

— Да, да? — вопросительно пробормотал Грек, слушая глазами. — Да, да, ну?

— Когда человек сам делает деньги, а не кто-то неизвестный, это, конечно, интереснее, тут сам делаешь ключи ко всему, так я думаю. Так?

Грек точно наскочил на что-то, минуту подумал и забормотал:

— Деньги — пустяки! Один — за целковый счастлив, а другой и при пятистах плачет, вот они, деньги! Деньги — дело куриное, а я — петух. Застежечку к брошке припаял? Давай.

Сунув брошь в карман, не допив чай, он выкатился на улицу, увлекая за собою Коську, а Платон, вынув из кармана трехрублевку, внимательно рассмотрел ее на свет и вздохнул: днем бумажка эта тоже казалась настоящей, и это как бы понижало чудесную силу, заключенную в ней. Конечно, и на три рубля, сделанные по заказу царя, тоже получишь те удовольствия, какие дает трешница работы Агата, и, конечно, это безопаснее, но — обыкновенно! И ведь ясно, что если б каждый человек сам для себя умел печатать деньги, не было бы жадных воров, нищих и девушек, которые любят только потому, что хотят одеваться нарядно.

Платон почувствовал себя в кругу очень важных мыслей, они удивительно просто распутывали все узлы и петли жизни, освобождая людей от зависимости друг пред другом, рисуя жизнь без хозяев, царей, полиции, жандармов, — жизнь, в которой каждый сам себе владыка и работает лишь тогда, когда хочет работать. Вероятно, тогда для работы избирались бы только дождливые дни осени, морозные и вьюжные дни зимы, а солнечные дни весны и лета считались бы праздниками. Тогда каждый человек приобрел бы необыкновенные способности Лесли Мортона, уменье делать все окружающее живым, все стало бы прозрачно и близко. Беседа с Греком оставила у него неприятное чувство и догадку, что Грек хитрит, боится говорить открыто.

«Нужно это сказать Агату», — возбужденно решил Платон.

В воскресенье, закрыв магазин, он пошел в ресторан Балакиной, заказал себе «гурьевскую кашу», полбутылки мадеры и, чувствуя, что у него от волнения дрожат руки, шевелятся волосы на висках, долго, без аппетита жевал сладкий рис, мармелад, пил горьковатое вино. Когда общедоступная племянница Балакиной, Софа, ласково сверкая угольками наянливых и всевидящих очей, взяв из его руки новенькую трехрублевку, небрежно сунула ее в карман белого передника, Платон испуганно привстал со стула, желая попросить девицу, чтоб она вернула ему эту бумажку, но Софа, ловко повернувшись на каблуках. исчезла в соседней комнате, где был буфет. И когда она проходила в дверь, какой-то нахал с черной бородкой встал и пошел за нею, насвистывая печальный марш Ендржиевского.

Софа долго не приносила сдачу; она пришла еще более ласковой и, поставив пред Платоном тарелочку, на которой лежал бумажный, судорожно скорчившийся рубль и два пятака, спросила:

— Почему это вас не видно?

— Как же не видно? Я — вот он!

— И похудели. Влюблены?

Платон взял с тарелки рубль, говоря:

— Я дал вам новенькую бумажку, а вы мне — вот какую дрянь!

— Бумажные рубли не популярны, — сказала Софа и ушла.

На улице зима хвасталась солнечным днем; солнце окрасило почти половину неба в необыкновенно нежный, розоватый тон; мохнатые провода телеграфа провисли, как плюшевые шнуры, с них осыпались на пальто Платона серебряные звезды инея; окна домов, затканные кружевами, отсвечивали алым золотом, и, хотя мороз больно щипал уши, все вокруг казалось теплым, даже горячим. Лица встречных людей тоже были розовые, красненькие, с белыми усами и бровями, снег под ногою скрипел, точно новая, еще не измятая кожа, и все вообще было заботливо, красиво обновлено.

«Да, — успокоенно думал Платон, — бумажка была, конечно, настоящая...» Но он чувствовал, что к его спокойствию присоединяется, как тень, легкая грусть, и ее все

усиливал звучавший в памяти марш Ендржиевского, — марш, который цирковой оркестр Жозефа всегда играл перед началом второго отделения программы.

«Может быть, они действительно не делают фальшивых денег», — размышлял Платон, чувствуя, как эта мысль убивает мечту о возможности интересной жизни, когда каждый человек, живя на свои деньги, был бы независим, как Лесли Мортон, и когда для всех людей самым серьезным делом были бы развлечения.

У выхода из улицы на площадь, Платона обогнал Коська в шапчонке поддельного барашка; сбоку шапка была разорвана, и над сафьяновым Коськиным ухом торчал седой клок пеньки. Рядом с Коськой важно шагала девочка в белом пальто, в голубом, шерстяном чепце, на ее тоненьких ножках высокие, суконные галоши, должно быть, тяжелые, точно утюги, руки она сунула в кукольно маленькую муфту и шла подняв нос, щурясь.

— Куда?

— В цирк, — ответил Коська.

— Это — сестра?

Утвердительно кивнув головою, Коська спросил:

— А кто еще?

— Как зовут?

— Она немоглухая.

— Говорится: глухонемая, — поправил Платон, но чья-то широкая спина, закрыв Коську, сказала басом:

— Хорошие погоды!

«Почему же — погоды? — задумался Платон, ощущая, как приятно мадера кружит голову. — Чепец, муфта и вообще весь костюм стоит денег. Откуда у Коськи деньги? Нет, нужно поговорить с Агатом; может быть, он делает деньги...»

В цирк идти не хотелось; в театр Платон не любил ходить: там было скучно, а знаменитый актер Стрельский, похожий на осетра, кричал, как полицейский пристав на базаре.

«Пойду домой и сочиню стихи».

Платон зашел в магазин, купил четверть фунта халвы, десяток сухарей, лимон и через полчаса был дома, в тепле, в привычном запахе меди и в тишине; спокойное течение ее отсчитывали маятники:

— Чмок-чок, чвак-чок!

Вскипятив самовар, он сел к столу с карандашом в руках, положив пред собою лист чистой бумаги и «Новейший модный песенник», книгу весьма полезную для начинающих поэтов, — в ней можно найти множество рифм. Прихлебывая чай, стукая пальцем по лбу, он жевал халву, зубы его вязли в крепком соединении конфектной муки, мела, сахара и рыбьего клея, а халва подсказывала: «Бова, слова, голова», все это, не укладываясь в строки, торчало в голове, точно гвозди в кармане. Но как-то внезапно, сразу он написал:

Сижу один, пью чай с халвой,
Так провожу я вечер свой.
И так, однажды поутру,
Наверно я, один, умру.

Он отрадно вздохнул, — это уж были настоящие стихи, потому что грустные. Больше он не успел ничего написать: в дверь, со двора, бойко постучали, явился Агат и с ним нахал из ресторана, остробородый, с усиками, точно стрелки часов в два рубля семьдесят пять.

— Покорский, — сказал он, протянув руку Платону. — Кароль Покорский.

Агат, не раздеваясь, взял со стола бумагу и удивленно мигнул:

— Ах, вот как — стихи? Смотри-ка — стихи!

Покорский провел по строчкам концом бородки и сказал решающим голосом:

— Это очень хорошо, понимаешь?

— Очень, очень...

Агат вынул из кармана пальто бутылку, овальную коробку рахат-лукума, сбросил пальто на постель Платона и сел к столу, оживленно, любезно говоря:

— Гуляли, гуляли, — дьявольски холодно! Покорский приглашает к девочкам, греться, — ба! думаю я, зайдем-ка за Ереминым, возьмем его, монаха; почему это так: мы — грешим, а он — не хочет? Это неправильно! Кстати, напьемся чаю, угостим его сладким, я заметил: вы любите рахат-лукум, у вас турецкий вкус — угощайтесь!

— Покорно благодарю, — сказал Платон, радостно увлеченный милой, дружеской болтовней Агата; эта болтовня тотчас убедила его, что Грек передал Агату его со-

гласие вступить в денежное дело, и вот Агат пришел, чтоб окончательно переговорить об этом. Разумеется, это — так!

Агат улыбался, казалось, что каждое слово его улыбается, а Покорский молча пил чай и посматривал колкими глазами в лицо Платона, в потолок, в угол, где печь разинула темную пасть. Глаза его были глубоко забиты в сухое лицо, как шляпки машинных гвоздей в мягкое дерево, например, в липу. Он искусно, тихонько отбивая пальцами левой руки такт, насвистывал трогательный марш Ендржиевского, и — странно! — грустная мелодия, провожавшая кого-то далеко и, может быть, навсегда, не мешала веселому журчанию речей милейшего Агата, он влюбленно смотрел на Платона и сеял легкие слова.

— Я тоже к стихам очень склонен, только сочинять нет времени. Сочинять — очень смешное занятие.

Платон, слушая, соображал:

«Покорский, конечно, главный. Очень серьезный, даже неприятный. Никогда еще Агат не был таким милым. С ним говорить о серьезном будет очень просто».

Но Агат не торопился заговорить о серьезном, он любезно спрашивал:

— Вы стихи Баркова знаете? Нет? Жаль. Это — замечательные стихи в откровенном роде. Рахат-лукум этот лучшего сорта, вы что же мало кушаете?

Платон вежливо улыбался и ел клейкое лакомство, густо осыпанное сахарной пудрой; Покорский, куря желтую папиросу, строго смотрел в потолок, казалось, он читает что-то неразборчивое или мелко написанное, веки его напряженно дрожали.

«Сейчас начнет о деле», — ждал Платон. Агат рассказывал о дружбе и ссорах Баркова с сочинителем Пушкиным, он говорил так, как будто сам присутствовал при этих ссорах.

— Однажды, знаете, Пушкин так рассердился, что хотел побить ему морду, уже плеснул в рыло чаем, а Барков убежал в соседнюю комнату, притворил за собою дверь и сейчас же запел, как в церкви:

Волною морскою
Скрылся Барков за доскою
От гонителя, мучителя,
Сашки Пушкина, сочинителя!

— Конечно, Пушкин расхохотался, помирился; удивительно ловок был этот негодяй, однако памятник поставили не ему, а Пушкину!

Агат засмеялся мягким смехом женщины, прижмурив глаза свои, с блестящей иголочкой в центре карего зрачка.

— Пора, — строго сказал Покорский; Платон вздрогнул, Агат же дернул цепочку часов на груди своей, часы, выскочив из кармана жилета, описали в воздухе золотую дугу и покорно легли на ладонь его.

— Да, пора, одевайтесь!

Платон был готов идти всюду, куда бы ни повел Агат, хоть в горящий дом. Он чувствовал, что от рыжего вина и рахат-лукума во рту его железисто горько, в голове мутно, а в животе бурчит, но зато на душе было легко, празднично прибрано и как бы присыпано сладкой, белоснежной пудрой.

Он заметил, что Покорский, свернув лист бумаги со стихами тонкой трубкой, сунул его в ручку самовара, это сделало самовар похожим на пожарного солдата с брандспойтом и несколько примирило Платона с молчаливым человеком; наверное, он не так суров, каким кажется.

— Вы любите девушек? — спрашивал Агат.

— Как сказать?..

— Никак не говорите, я сам знаю, не любить — нельзя, это — как детская болезнь, говорит Покорский, вроде скарлатины или кори, — так, Покорский?

Насвистывая свой марш, Покорский шагал твердо и мерно. Серебряный холод сковал землю, стеклянно хрустел под ногами, на голову и плечи давила металлическая тяжесть, дышать было так трудно, как будто воздух замерз, превратился в острые, злые колючки и они вонзались в кожу щек, в лоб и глаза. Но Агат, удивительный человек, шел распахнув пальто и хрустально звонкими словами спрашивал Платона:

— А каких девушек вы любите больше? Почему вас интересует бунт? Разве вы знакомы со студентами? Чем царь мешает вам?

От этих быстрых вопросов еще более мутилось в голове, Платон не успевал отвечать на них и только удивленно мычал, слушая Агата.

— Глуп, как двое.

Это сказал Покорский, негромко, равнодушно; трудно было понять, зачем он сказал это и о ком?

«Не про меня, конечно, он меня не знает, — подумал Платон. — Но разве можно сказать про Агата — глуп?»

Думать уже не было времени, остановились у крыльца двухэтажного скромного дома Мелиты Шварцман; красный фонарь накалил гладкую дубовую дверь без ручки; дверь нельзя было отворить с улицы, и это очень смутило Платона.

— Вот что, — сказал Агат, застегивая пальто, — вы, Еремин, идите и спросите Клаву, — вы знаете Клаву?

— Я тут никогда не был, это — дорогой дом...

— Ерунда! Мы съездим, пригласим еще одного парня, он очень смешной и хорошо поет песни; мы вернемся через десять минут. Помните — Клаву!

Он сам ткнул пальцем в кнопку звонка и, раньше чем открылась дверь, скользнул с Покорским прочь, точно по льду на коньках, а Платон оперся плечом о стену, вдруг чувствуя, что земля под ним вздувается горбом, сдвигая его куда-то. Ему показалось также, что свет фонаря стал более густо красен и качается кругами, хотя ночь была безветренна.

«Я выпил лишнее», — сообразил Платон.

Дверь открыл благообразный человек в синеватой поддевке, он ловко снял пальто с Платона, облупив его как яйцо, сдвинул ногою галоши его под вешалку и спрятал руки за спину.

— Мне — Клаву!

— В кармане не держу. Наверх, — сказал человек грубым голосом ветеринара Беневоленского.

Лестница, покрытая, как в Дворянском доме, красным ковром, то ложилась плоско, то вставала стеною, а сзади кто-то толкал Платона тупыми ударами в затылок.

«Голова кружится».

Он остановился, схватившись за перила, глядя вверх, на чьи-то черные ноги.

«Может быть, Агат потому и уехал, что я — пьяный, со мною нельзя говорить о серьезном?»

— Мне — Клаву, — сказал он толстой, черной женщине, с крупными янтарями на груди.

— Клавдия, — крикнула она так пронзительно, что Платон пошатнулся.

— Содовой воды тоже, — сказал он, икнув оттого, что много съел рахат-лукума, потом пробормотал, усмехаясь:

— Клава, халва...

Коричневая стена перед ним раздалась, распахнулась, как шуба, из нее обнажилась девица, подхватила Платона под руку и повела его куда-то, вкусно говоря:

— Какой беленький, мохнатенький. Выпил?

— Ух, — сказал Платон, чувствуя во рту вкус меди.

— Пересолил душу?

Платон засмеялся; забавно сказала она о пересоленной душе; душа — не рыба, а, наверное, похожа на херувима: головка с крыльями и — больше ничего.

— Душа — крылата, — напомнил он девице, а она, захохотав, сказала что-то про солдата, ведя его навстречу «Дунайским волнам»; волны раскачивали пол, выгибая и проваливая шашки паркета на полу, совсем как в Дворянском доме, качались разноцветные девицы, черные мужчины; по стене над пианино и лысой головой тапера прыгала желтая, голая женщина с бубном.

— Ой, его тошнит, — вскричала девица, оттолкнув Платона.

В маленькой комнате, похожей на магазин посуды, ему облили голову ледяной водою, дали выпить несколько капель нашатырного спирта, это разрядило густое, душное облако, вдруг окутавшее его.

— Пришли они?

— Кто? — ворчливо спросила женщина с янтарями.

— Агат и этот?

— Агат — камень! Какой Агат?

— С бородкой, черный? Пришел?

— Господи помилуй! — сердито вскричала женщина, размахивая полотенцем. — Клавдия, позови Ермолая!

Она стала толкать Платона в спину, приговаривая:

— Никаких с бородками мы не знаем, у нас заведение приличное, а вы — не в себе и неспособный, идите-ка домой...

Благообразный человек принял, обняв, Платона, бережно свел его с лестницы, одел, осторожно выставил за дверь в синий холод ночи и, ударив по затылку, сказал:

— Шантрапа.

Ударил он так сильно, что пальто Платона распахнулось и он побежал, размахивая руками, боясь оторваться от земли.

Обиженный и больной, он не понимал: что случилось? Ошибся Агат и проехал с Покорским не в тот дом, или он пошутил над ним, сунув его к Шварцман?

Платон долго шел мелкими, быстрыми шагами по тихим улицам, по синеватым теням домов и чем дальше уходил, тем пустыннее, тише становилось вокруг, только снег хрустел все сильнее. В спину холодно светила луна, тяжелая вязкая тень путалась под ногами, мешая идти, и все кружилось: дома, связанные заборами, ошмыганные ветром веники деревьев; стеною вставала огромная льдина неба в мелких трещинках звезд, Платон всползал на небо и, соскальзывая с него, как таракан со стекла, упирался руками, лбом в шаткие стены домов, покрытые инеем; судороги рвали живот, стискивали горло, тупо били в голову; мокрые волосы смерзались на висках, голова леденела, и в ней медленно вращались тяжелые, медные колеса. Бессвязно и горестно думалось, что вот он идет куда-то в морозе, до боли сжимающем тело, а красавец Агат, наверно, сидит где-то в тепле, забыв о нем. И вообще о нем некому помнить, в жизни его никого нет, как на этой сонной, слепой улице.

«А может быть, Агат нанял извозчика и, объезжая публичные дома города, ищет его? Он такой вежливый, Агат... Он — ловкий, часы у него летают, как летали бы у Лесли Мортона...»

Острая, рвущая боль в животе обожгла его и остановила, внезапно ударив страшной догадкой:

«Агат отравил меня рахат-лукумом!»

Каждое слово пошатывало его, усиливая страх до того, что боль стала тише, а в голове быстро, отчетливо рождались трезвые мысли:

«Отравили рахат-лукумом и вином, потому что испугались — донесу! Это Грек научил Агата. Я — донесу, сейчас же! Я — в полицию...»

Он побежал, задыхаясь, чувствуя, что его нахлестывает изнутри уже не боль, а страх; именно страх разрывает живот тупым ножом. Тихонько взвизгивая, жмурясь,

он с разбега наткнулся на широкие ворота в кирпичной стене, из деревянной конурки у ворот поднялось что-то мохнатое, большое и крикнуло:

— Куда лезешь?

— Это — какое здание?

— Это тебе не здание, а бойня!

— Спасибо, — пробормотал Платон, зная теперь, куда нужно идти; он даже хотел снять шапку, но шапка не снялась, больно дернув волосы на висках и затылке. Сунув в карманы оледеневшие руки, он пошел вдоль стены, а от ворот вслед ему сказали, должно быть — шутя:

— Завтра утром приходи, баран, — зарежем!

Платон остановился и ноющим голосом, обиженно, едва выговаривая слова, ответил:

— Меня рахат-лукумом отравили, а вы — эх!

Боль притихла, но терзал стальной холод, мучительно сжимая грудь, сдавливая виски ледяным обручем. А всетаки мельком Платон подумал, что, может быть, никогда еще ни одного человека не отравляли рахат-лукумом и что это было бы не так страшно, если бы не мороз.

Сейчас он добежит до полиции, там доктор даст ему лекарство против яда, и, если ему станет лучше, он скажет, что отравился сам; а завтра утром или через два-три дня Агат, узнав, что он не донес полиции и не хочет мстить, попросит у него прощения за то, что отравил, и тогда они будут друзьями на всю жизнь.

От этой мысли стало как будто не так горько, а впереди засверкал на земле бездымный, золотисто-красный костер; Платон бросился к нему, выбежал на площадь, очутился у огня, наступив в лужу растаявшего снега, и сунул одеревеневшую от холода ногу настолько близко к живому золоту огня, что рыжебородый извозчик предупредительно сказал:

— Зажаришь ножку, баринок!

От костра на площади было темнее, чем в улицах; две лошади дремали, косясь на огонь, на мордах их густо осел иней, один извозчик, стоя у огня, закуривал папиросу, другой, рыжебородый, поправлял концом кнутовища головни в костре.

Платон узнал краснокирпичное здание купеческого клуба, бронзовый монумент против него и в синем небе

золотую луковицу колокольни Варвары Великомученицы. Полицейский участок тут, за церковью, в переулке...

Вздрагивая от холода, он грел руки и ноги, простирая их над огнем, прислушивался к боли: становясь все тупее, она тягостно разливалась по всему телу, вызывая неодолимое желание лечь и заснуть.

«Сейчас пойду», — думал он и не шел, воображая испуг и удивление Агата, слушая сквозь дрему все более медленный, замерзавший разговор извозчиков.

— Все едино, — говорил рыжебородый, — и у штатского своя судьба, свои неудачи.

Извозчик с папиросой еще более медленно ответил:

— Верно. А все-таки — памятник, который для памяти, ставят на кладбище, а в городе памятники — для устрашения.

— Город не огород. Кого пугать?

— Не про то говорю, чтоб пугать, а — не зазнавайся, каков ты ни есть. Потому и ставят на площадях царям памятники, генералам...

Платон хотел сказать извозчикам, что отравился рахат-лукумом и чтоб его отвезли в полицию, но припадок рвоты согнул его и, покачнувшись, он едва не упал головою в костер; рыжебородый оттолкнул его, сердито крикнув:

— Эх — вы, туда же, пьете.

Платон, лежа на снегу, сказал:

— Вези...

— Где живешь?

Платон слышал, как другой извозчик говорил издали:

— Везти его нельзя, замерзнет, ему бежать надо!

Рыжебородый потрогал ногою ногу Платона:

— Слышишь — беги!

— Не могу, — сказал Платон, почти засыпая, обессиленный судорогами.

— Ну, едем!

— Гляди, заморозишь!

— Пьют, а не умеют...

Платона взяли под мышки, поставили на мягкие ноги, потом свалили в сани. Озябшая лошадь поскакала, Платон слышал удары ее копыт о передок саней, шлепки

кнута, а когда проезжали мимо монумента, монумент крикнул сердитым басом:

— Куда, дурак? Куда?

Это удивило Платона; уж если монумент может ругаться, так ругаться должен бы не этот, а другой, который стоит перед домом Дворянского собрания, тот, конечно, имеет право обругать за патоку и тараканов.

Ехать было мучительно, извне тело сжимали железные тиски холода, изнутри терзала боль, и в то же время хотелось спать. Особенно нестерпимо холодно было голове, все мысли в ней вымерзли, но от этого она стала еще тяжелее и падала куда-то, как птица, лишенная крыльев.

Лошадь бежала подпрыгивая, точно старая собака, извозчик не торопил ее, он посматривал в небо, поглядывал на синеватые льдины в окнах домов, оглядывался на седока, скорченного в санях; потом он, не останавливая бег лошади, перевалился с козел в сани, снял рукавицы с рук своих, обыскал карманы безмолвного, но еще мягкого седока, снял с него часы, хотел снять и шапку, но она не далась.

Тогда, приостановив лошадь, толкая седока руками и ногами, точно куль овса, он вывалил его из саней в сугроб и, хлестнув лошадь кнутом, поехал дальше между заборов и сугробов, под синий, жестоко холодный купол, прикрывший серебряную пустоту.

...Разумеется, вполне возможно, что «нездешний» человек, умерший «на ходу», — не тот, о котором я рассказал; что он не так жил, не так чувствовал и думал.

Но — все существует лишь для того, чтоб о нем было рассказано. И совершенно недопустимо, чтобы какой-то человек валялся мертвым ночью, у камня, на берегу лужи, и чтоб поэтому нельзя было ничего рассказать.



ПРИМЕЧАНИЯ

В пятнадцатый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1921—1924 годах. Все они, за исключением очерка «О Михайловском», входили в предыдущие собрания сочинений.

Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. В последний раз большинство из них редактировалось писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923—1927 годов.

«ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО»

Впервые в ранней редакции входило в произведение «В. Г. Короленко. Глава из воспоминаний», напечатанное в журнале «Летопись революции», 1922, книга I. Как самостоятельное произведение вошло первым рассказом в серию «Автобиографические рассказы», опубликованную в журнале «Красная новь», 1923, №№ 1—6, январь — ноябрь. В серию входили также произведения: «В. Г. Короленко», «О вреде философии», «Мои университеты», «Сторож», «О первой любви».

Рассказ «Время Короленко» связан с неосуществленным замыслом М. Горького написать книгу «Среди интеллигенции».

В отдельном издании, вышедшем под названием «Мои университеты» (издание «Книга», 1923), М. Горьким дана следующая последовательность составляющих сборник автобиографических произведений: «Мои университеты», «Сторож», «Время Короленко», «О вреде философии», «О первой любви», «В. Г. Короленко».

Начиная с 1923 года, рассказ «Время Короленко» включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту шестнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с авторизованными машинописью и корректурой указанного издания (Архив А. М. Горького) и с первопечатным текстом.

В. Г. КОРОЛЕНКО

Впервые напечатано как часть более обширного произведения «В. Г. Короленко. Глава из воспоминаний» в журнале «Летопись революции», 1922, книга I.

В письмах к И. П. Ладыжникову от 10 и 16 февраля 1922 года М. Горький сообщал, что написал произведение о В. Г. Короленко (Архив А. М. Горького). Повидимому, очерк по первоначальному замыслу М. Горького должен был войти в книгу «Среди интеллигенции» (см. примечания к рассказу «Время Короленко»).

В журнале «Красная новь», 1923, № 1, январь — февраль, очерк был напечатан со стилистическими поправками в серии «Автобиографические рассказы».

Подготавливая текст очерка для собрания сочинений в издании «Книга», М. Горький в 1923 году дописал заключительную часть (последние 12 абзацев).

Начиная с 1923 года, очерк «В. Г. Короленко» включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту шестнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с авторизованной корректурой этого издания (Архив А. М. Горького) и первопечатными текстами.

О ВРЕДЕ ФИЛОСОФИИ

Впервые напечатано в серии «Автобиографические рассказы» в журнале «Красная новь», 1923, № 1, январь — февраль.

Занятия М. Горького философией с Н. З. Васильевым и настроения, описанные в рассказе, относятся к 1893—1894 годам, о чем А. М. Горький сообщает в письмах И. Б. Галанту (Архив А. М. Горького). По свидетельству З. В. Васильевой, М. Горький в то время вел философский дневник. Тетрадь осталась у Васильевых и хранилась до 1916 года, когда была утрачена при переезде З. В. Васильевой из Нижнего-Новгорода в Самару (Архив А. М. Горького).

Начиная с 1923 года, рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту шестнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с авторизованными машинописью и корректурой указанного издания (Архив А. М. Горького) и с первопечатным текстом.

СТОРОЖ

Впервые напечатано в серии «Автобиографические рассказы» в журнале «Красная новь», 1923, № 5, август — сентябрь.

Части этого рассказа (об «ададуровцах» и писателе Старостине-Маненкове) первоначально входили в состав произведения «В. Г. Ко-

роленко. Глава из воспоминаний», напечатанного в журнале «Летопись революции», 1922, книга 1 (см. примечания к очерку «Время Короленко»).

Начиная с 1923 года, рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту шестнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с авторизованными машинописью и корректурой указанного издания (Архив А. М. Горького) и с первопечатным текстом.

О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Впервые напечатано в серии «Автобиографические рассказы» в журнале «Красная новь», 1923, № 6, октябрь — ноябрь.

Начиная с 1923 года, рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту шестнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с авторизованными машинописью и корректурой указанного издания (Архив А. М. Горького) и с первопечатным текстом.

О МИХАЙЛОВСКОМ

Впервые напечатано в книге «Архив А. М. Горького, том III, Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе», М., 1951.

Первоначально, в рукописи, воспоминания о В. Г. Короленко и Н. К. Михайловском составляли один очерк, датируемый концом 1921 — началом 1922 года. В дальнейшем страницы, относящиеся к В. Г. Короленко, были выделены автором в самостоятельный очерк «В. Г. Короленко», напечатанный в 1922 году; материалы о Михайловском остались незаконченными.

С Н. К. Михайловским М. Горький встретился впервые в Петербурге в 1899 году. Последняя встреча имела место там же в 1901 году.

Упоминаемое в очерке произведение М. Горького «Мужик», оставшееся незаконченным, было задумано в конце 1899 года (см. том 4 настоящего издания).

На стр. 124 в прямые скобки взято слово «день», введенное в текст редакцией.

В собрания сочинений очерк не включался.

Печатается по рукописи (Архив А. М. Горького).

Шестнадцать пронзведеиий этого цикла впервые напечатаны в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — нюнь, под общим заглавием «Заметки», н в № 2, нюль — август, под общим заглавием «Из диевника». Остальные произведения впервые опублнкованы в кннге М. Горького «Заметки из дневника. Воспомннання», нздание «Кннга», 1924 (набиралась в иоябре — декабре 1923 года), в которой цикл был напечатан полностью.

В основном работа М. Горького над циклом падает иа конец 1922 и на 1923 год (до среднны августа).

Начнная с 1923 года, весь цнкл включался в собрания сочниенний.

Печатается по отдельному изданию кннгн М. Горького «Заметки нз дневника. Воспоминання», издание «Кнпга», 1924, с сохраненнем авторского размещения пронзведений внутри цнкла. Текст исправлен по авторнзованным машннописи, гранкам н верстке (Архив А. М. Горького).

Городок. — Впервые напечатано в кннге «Заметки из дневника. Воспоминання», нздаиие «Кинга», 1924.

Пожары. — Впервые иапечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминаиия», нздание «Кнпга», 1924.

В одном из писем И. А. Груздеву М. Горький, упомнная рассказ «Пожары», датирует его 1922 годом (Архив А. М. Горького).

А. Н. Шмит. — Впервые напечатаио в кннге «Заметки нз дневинка. Воспоминання», нзданне «Кнпга», 1924.

Чужие люди. — Впервые без заглавия напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, в первом разделе произведений, объеднненных под названием «Из дневника». Под названнем «Чужне людн» вошло в книгу «Заметки из дневника. Воспомниания», изданне «Книга», 1924.

Знахарка. — Впервые напечатано в кннге «Заметки из дневннка. Воспомннання», издание «Кнпга», 1924.

Паук. — Впервые без заглавня напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, в числе пронзведений, объединенных под названнем «Заметки». Под иазваннем «Паук» вошло в книгу «Заметки нз дневиика. Воспоминания», издание «Кнпга», 1924.

Могильщик. — Впервые под заглавнем «Из дневннка» напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, в числе произведений, объединенных под названием «Заметки». При включении рассказа в книгу «Заметки из дневника. Воспомиания» М. Горьким дано рассказу заглавие «Могнльщик».

Н. А. Бугров. — Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

В 1919 году М. Горький задумал написать очерк о купце Бугрове. 18 мая 1919 года писатель просил одного из своих знакомых помочь ему в подготовке материалов для этой работы (Архив А. М. Горького). Вскоре замысел осложнился: автор задумал сопоставить в одном очерке двух различных представителей русской буржуазии. Один из черновиков имеет заглавие «Два купца. I. Николай Александрович Бугров», исправленное автором красным карандашом на: «Из воспоминаний. Купец Бугров». Второй частью должен был явиться литературный портрет С. Т. Морозова. 20 января 1923 года издательство З. И. Гржебина запрашивало М. Горького: «Как ваши воспоминания о Бугрове и Морозове? Скоро ли дадите?» (Архив А. М. Горького).

Первоначально, в феврале 1923 года, очерк «Два купца» был набран для книги М. Горького «Мои университеты», издание «Книга», 1923, но, по указанию автора, был изъят из верстки (Архив А. М. Горького). В ноябре того же года первая часть под заглавием «Н. А. Бугров» была включена автором в книгу «Заметки из дневника. Воспоминания»; вторая — о С. Т. Морозове — составила самостоятельное произведение.

В настоящем издании, на стр. 211, в прямые скобки взят предлог «в», введенный в текст редакцией.

Палач. — Впервые без заглавия напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, в числе произведений, объединенных под названием «Заметки». С названием «Палач» вошло в книгу «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Испытатели. — Первая часть (о банщике Прохорове) впервые без заглавия напечатана в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, в числе произведений, объединенных под названием «Заметки». Вторая часть (об извозчике Меркулове) — в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Учитель чистописания. — Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Неудавшийся писатель. — Впервые без заглавия напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, в третьем разделе произведений, объединенных под названием «Из дневника». Под заглавием «Неудавшийся писатель» вошло в книгу «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Ветеринар. — Впервые без заглавия напечатано в журнале «Бе-

седа», 1923, № 2, июль — август, в четвертом разделе произведений, объединенных под названием «Из дневника». При включении рассказа в книгу «Заметки из дневника. Воспоминания» М. Горький озаглавил его «Ветеринар».

Пастух. — Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Дора. — Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Люди наедине сами с собою. — Впервые без заглавия напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, в разделе «Смешное», в числе произведений, объединенных под названием «Заметки». Под заглавием «Люди наедине сами с собою» было включено в книгу «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Из дневника. — Впервые без заглавия напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, в первом разделе произведений, объединенных под названием «Из дневника». Под заглавием «Из дневника» было включено в книгу «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Первоначальная черновая запись произведения и набросок включенного в него стихотворения «Облаков изорванные клочья» относится, повидимому, к 1914—1916 годам (Архив А. М. Горького).

О войне и революции. — Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Садовник. — Впервые без заглавия напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, во втором разделе произведений, объединенных под названием «Из дневника». Под заглавием «Садовник» вошло в книгу «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Законник. — Впервые без заглавия напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, в шестом разделе произведений, объединенных под названием «Из дневника». При включении в книгу «Заметки из дневника. Воспоминания» рассказ был озаглавлен автором «Законник».

Монархист. — Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Петербургские типы. — Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Отработанный пар. — Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Быт. — Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Из письма. — Впервые напечатано в кннге «Заметки из дневнnка. Воспомннання», нздание «Кннга», 1924.

Митя Павлов. — Впервые напечатано в книге «Заметки нз дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

Павлов Дмитрий Александрович (1879—1920) — сормовский рабочий, большевик, член РСДРП с 1899 года. Революционная деятельность Д. А. Павлова началась в Нижнем-Новгороде. Там же в начале 900-х годов состоялось его знакомство с М. Горьким, продолжавшееся почти двадцать лет. Павлов умер 1 марта 1920 года в станице Раздорской, Донской области, на посту военкома 3-й бригады 14-й стрелковой дивизии.

А. А. Блок. — Первые три раздела воспоминаний без заглавия впервые были напечатаны в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, в числе произведений, объединенных под названием «Из дневника»; четвертый раздел — в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, в числе произведений, объединенных общим названием «Заметки», в разделе «Смешное».

Под названнем «А. А. Блок» произведение вошло в кннгу «Заметки нз дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

На основании дневниковой записи А. А. Блока от 26 марта 1919 года беседа М. Горького с А. А. Блоком датируется концом марта — началом апреля 1919 года.

Вместо послесловия. — Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», издание «Книга», 1924.

ПРОВОДНИК

Впервые напечатано, вместе с рассказом «Мамаша Кемских», в журнале «Молодая гвардия», 1925, книга десятая — одиннадцатая, октябрь — ноябрь, под общим заглавием «Записки нз дневника» (см. примечанне к рассказу «Убийцы»).

Начиная с 1927 года, включалось во все собрання сочинений.

Печатается по тексту девятнадцатого тома собрания сочинений в изданни «Книга», сверенному с рукописью (Архив А. М. Горького).

МАМАША КЕМСКИХ

Впервые напечатано, вместе с рассказом «Проводник», в журнале «Молодая гвардия», 1925, книга десятая — однннадцатая, октябрь — ноябрь, под общим заглавием «Записки из дневнnка» (см. примечание к рассказу «Убийцы»).

Начиная с 1927 года, включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту девятнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с рукописью (Архив А. М. Горького) и первопечатным текстом.

УБИЙЦЫ

Впервые, в неполном виде, напечатано в журнале «Сибирь», 1926, № 2, с примечанием редакции: «Очерк Максима Горького, прислан автором специально для «Сибири».

Полный текст опубликован в журнале «Молодая гвардия», 1926, книга восьмая, август, с примечанием редакции: «Неопубликованный очерк М. Горького, написанный до революции».

Точно установить время написания рассказа «Убийцы», как и рассказов «Проводник», «Мамаша Кемских», «Енблема», не представляется возможным.

10 декабря 1925 года, отвечая редакции журнала «Сибирь», М. Горький писал: «Посылаю вам для журнала небольшой очерк «Убийцы», — кроме этого ничего не нашел. Я теперь пишу большую книгу, рассказы перестал писать» (Архив А. М. Горького). Сохранившаяся в Архиве А. М. Горького рукопись «Убийц» относится к тому же времени, что и рукописи вышеупомянутых рассказов, объединенных общей нумерацией. На основании архивных материалов можно полагать, что все эти рассказы написаны в первой половине 20-х годов, не позднее осени 1924 года.

Начиная с 1927 года, очерк включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту девятнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с рукописью (Архив А. М. Горького) и первопечатными текстами.

ЕНБЛЕМА

Впервые, в неполном виде, напечатано в «Красной газете», 1926, № 198, 26 августа (вечерний выпуск). Полностью рассказ был напечатан в журнале «Огонек», 1926, № 35(179), 29 августа (см. примечание к рассказу «Убийцы»).

5 февраля 1928 года, отвечая на письмо С. Н. Сергеева-Ценского, посвященное девятнадцатому тому собрания сочинений в издании «Книга», М. Горький указал на реальное лицо, послужившее прототипом образа фабриканта Башкирова. «Там, в книжке у меня, есть рассказишко «Енблема», — писал М. Горький, — купец — туль-

ский фабрикант самоваров Баташов Сергей Николаевич; ей-богу, это блестящая идея: отправить богиню справедливости в сумасшедший дом! Оцените!» (Архив А. М. Горького).

Начиная с 1927 года, рассказ «Эмблема» включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту девятнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с машинописной копией (Архив А. М. Горького) и первопечатными текстами.

О ТАРАКАНАХ

Впервые напечатано в литературно-художественном альманахе «Ковш», 1926, книга 4.

Написано не позже осени 1925 года; 1 ноября 1925 года произведение было уже напечатано, в переводе на французский язык, в журнале «Mercure de France», под заглавием «Les cafards».

Начиная с 1927 года, включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту девятнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с рукописью (Архив А. М. Горького) и первопечатным текстом.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Подписано к печати 12/X 1951 г. А-07065. Бумага 84×108[1]/[32]=6,75 бум. л. 22,14 печ. л. 20,62 уч.-изд. л. Тираж 300 000. Цена 12 р. Заказ 1230.

2-я типография «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфиздата при Совете Министров СССР. Ленинград, Гатчинская, 26.






М. Горький
15